

Шимун Врочек



РИМ

Книга первая
ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГАТ

Автор идеи
Константин Рыков



ЭТНОГЕНЕЗ

Издательско-торговый дом
«Этногенез»
Москва, 2011



ПОПУЛЯРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Издательство
«Популярная литература»
Москва, 2011

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
В23

Книга издана при поддержке Newmedia Stars

Врочек, Ш.

В23 Рим. Книга первая: Последний легат / Шимун Врочек — М.: Издательско-торговый дом «Этногенез», 2011. — 288 с.

9 год н.э. Иисус Христос уже родился, но о нем еще мало кто слышал... Римская империя раскинулась от Британии до Черного моря. Период расцвета и силы римского оружия.

Германия, свежеиспеченная провинция, служит ареной столкновения цивилизации и варварства. Германские племена, погрязшие во взаимной вражде, вынуждены выяснять свои отношения не силой оружия, а в римских судах. В итоге чиновники жиреют, а недовольство растет.

От рук неизвестных убийц погибает легат Семнадцатого легиона Луций Деметрий Целест, старший брат молодого римского патриция Гая.

Теперь Гаю предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы найти и покарать убийц Луция, а заодно узнать, почему в пальцах брата в момент смерти оказалась зажата фигурка маленькой птички из серебристого металла...

Берегитесь, варвары! В Семнадцатом легионе появился новый легат.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
В23

ISBN 978-5-904454-45-6

© Рыков К., 2011
© Врочек Ш., 2011
© Издательско-торговый дом «Этногенез», 2011

Легат, я получил приказ идти с когортой в Рим,
По морю к порту Итию, а там — путем сухим;
Отряд мой отправления ждет, взойдя на корабли,
Но пусть мой меч другой возьмет. Остаться мне вели!
Редъярд Киплинг «Песня римского центуриона»

«Здесь будет цирк, — промолвил Ромул, —
Здесь будет дом наш, открытый всем».
«Но нужно поставить ближе к дому
Могильные склепы», — ответил Рем.
Николай Гумилев «Основатели»

ПРОЛОГ

СМЕРТЬ В ГЕРМАНИИ

Начало I века нашей эры. Римская империя раскинулась от Британии до берегов Черного моря. Период расцвета и славы римского оружия.

Германия — свежееиспеченная провинция, прошло всего четыре года с ее основания — служит ареной столкновения цивилизации и варварства. Германские племена, погрязшие в междоусобицах, вынуждены выяснять отношения не силой оружия, но в римских судах. В итоге чиновники жиреют, недовольство варваров растет. Порядка в провинции как не было, так и нет...

Божественный Август, приемный сын Гая Юлия Цезаря, ставший вторым императором, делает Публия Квинтилия Вара наместником в Германии, чтобы тот навел в провинции порядок, как

он уже проделал в Сирии и Иудее. Квинтилий Вар хвастливо утверждает, что разберется с варварами в два счета...

Прошло два года.

Провинция Германия, окрестности Ализона, 9 год н. э.

— Давай!

Смотреть — лучшее, на что Марк сейчас способен: он сидит в седле под углом к земле, пытаясь не сверзиться, что совсем не пристало бы декуриону Восемнадцатого Галльского; остальные всадники поставили коней вплотную к его Сомику, так что если декурион все-таки упадет — а он к этому близок, — то круп пегой лошади встретит его падение и, дай боги, остановит. Возможно, тогда всадники второй турмы обратят внимание на своего командира, потому что сейчас он точно не центр их внимания — всадники второй турмы устави́лись на то, как легионеры готовят пленного германца к распятию.

Тук, тук!

Удары молота звучат с оттяжкой; рябой легионер работает на совесть, молот поднимается и опускается, вгоняя квадратный гвоздь в запястье варвара. Тот скалит зубы и обзывает палачей — легионеров два десятка, с ними центурион — на своем лающем языке, от которого хочется прополоскать рот сначала водой, затем горячим вином с медом. В одном слове столько звуков, что они не помещаются; варвару приходится вдохнуть, прежде чем закончить ругательство. Марк против желания слушает: чего-то, чего-то и чего-то там — и заканчивается на «нен». Интересный язык, для выносливых и терпеливых людей. Сколько нужно сил, чтобы назвать кого-то дерьмом, — страшно представить. Точно, думает декурион и еще немного сползает влево.

Всадники пристрастились к местному пиву, оно дешевое и почти не воняет мочой. «Почти» здесь важно, потому что вода, которую пьют легионеры, по большей части мочой воняет. Болота, думает Марк Скавр. А потом думает: зато вся Германия для нас теперь благоухает выпивкой.

Молот взлетает и опускается. Тук, тук, тук — левая рука. Легионер промахивается и бьет по кисти варвара. Хруст кости. Все замирают в ожидании... Пауза. Германец смеется.

Солдаты смотрят на него. Варвар показывает характер, а они это уважают. У каждой лошади есть характер, если не поймешь этого, всадником тебе не быть.

Легионеров называют «мулы». Это справедливо. Стоит только увидеть, как они таскаются со своими рогатками. Ребята Марка считают себя лучше простых солдат — хотя бы потому, что выше ростом и ездят за пивом верхом. В некотором роде это подтверждает тезис философов о всеобщем неравенстве, заложенном еще до рождения человека.

С варваром закончили, крест можно поднимать. Рыжий германец делает вдох — и выдает еще одно ругательство, длиннее первого на пару миль.

Вся турма Марка разражается аплодисментами.

— Браво! — Мужество они ценят. — Браво!

«Мулы» раздраженно оглядываются; зрителям из второй турмы никто особо не рад. Странно. С легионеров градом льется пот — они распинают уже третьего или четвертого варвара за утро. И оно как бы уже не смешно. Здесь вам, Тифон побери, не театр! Гогочущие всадники достали бы кого угодно — делать им нечего, только смотреть, как другие работают. Турма в ожидании. Проводник из германцев должен вот-вот появиться, но это «вот-вот» никак не наступит.

Когда веселье достигает пика, центурион «мулов» — лет сорока, седой и коренастый, резко поворачивается на пятках и идет к всадникам.

— Девятнадцатый? — спрашивает он.

За его спиной слышатся удары — завершающие. Тук, тук — прибивают ноги. Германец замолкает, ему не до риторических построений.

Турма дружно поворачивается к Марку и наконец замечает, что командиру плохо. Угол его наклона почти достиг угла падения.

Всадники в последний момент подхватывают командира, выравнивают угол. Марк вздыхает. Центурион «мулов» смотрит на

происходящее с интересом, но ничего не говорит. Глаза у него желтовато-серые и веселые, в уголках — насмешливые морщины.

— Восемнадцатый Верный, — хрипло отвечает Марк. — Вторая турма. А вы?

— Семнадцатый Победоносный, вторая когорта, первая центурия.

Неловкая пауза. Всадники заметно смущены. Центурион — большая шишка, оказывается. По старшинству он третий из центурионов Семнадцатого легиона.

«Только с каких пор, интересно, крутые офицеры командуют отрядами палачей?» — думает Марк.

Но спросить не успевает — накатывает новый приступ. Холодно. Декурион вцепляется в гриву Сомика, чтобы не упасть.

— Что? — Центурион поднимает брови.

Марк хрипит, но сказать ничего не может. Его трясет. Зубы стучат с такой силой, что тут не до разговоров. Тут как бы язык не откусить...

— Вольно, — говорит седой центурион. — Что с ним?

— Болотная лихорадка, — отвечает вместо Марка его заместитель, оптион. — Он уже года три мучается, еще с похода Тиберия.

Марк благодарен оптиону, что хотя бы подробности тот опустил.

— А еще у него бывает... — Оптион не успевает рассказать, что бывает, так как за спиной центуриона раздается крик.

Пехотинец резко поворачивается. Всадники вытягивают шеи — Марк не видит того, что видят они, у него будто в глаза вставлены куски мутного кипрского стекла — все в искажении. Поэтому он слушает. Голоса звучат сквозь шерстяное одеяло, натянутое на голову.

Далекое выкрики на вульгарной латыни. Всхрап лошади.

Заместитель вдруг кричит:

— Нет-нет! Он наш!

И бьет пятками. Лошадь его срывается с места, миг — рука помощи исчезает, и декурион снова начинает крениться влево. Только там больше нет пегого, чтобы послужить подушкой.

Марка снова начинает колотить. Зубы стучат так, что вот-вот разобьются. Проклятье! Тогда Марк поднимает руку, всовывает

повод в рот и сжимает зубы. Кожа кислая и острая от конского пота. Декурион стискивает челюсти и молит богов, чтобы это поскорее закончилось.

Через мгновение боги промывают уши, и приступ заканчивается. Как всегда после, вокруг — холод и мрамор. Марк выплевывает повод, открывает глаза: мраморно застывший туман над Тибериевой дорогой, выложенной неровным, выбитым булыжником (скоро осень, надо поправить), ряды крестов нависают над дорогой и уходят в молочно-белую даль. За пределами дороги ничего нет — только туман. Вершины деревьев вырастают из него...

Прямо на булыжнике лежит крест с рыжим германцем. Варвар перестал ругаться, набирается сил. Остальные смертники ждут своей очереди — они лежат и сидят; руки привязаны к брусьям, которые станут перекладинами крестов. Рядом — часовой легионер, уставившийся туда же, куда и все.

«Мулы» сгрудились и схватились за мечи, блеск клинков; всадники что-то кричат, центурион невозмутим.

А виной всему — небольшой конь, ростом с Сомика, если отрубить тому ноги по колено. Полуконь вылез на дорогу. Он почти желтого цвета. Густая грива падает коню на глаза, пряди заплетены в косички, цветные ленточки свисают до мохнатых бабок — картинка, так что не сразу замечаешь, что на коне кто-то сидит. Человек. Худой, как жердь, с пучком светлых волос на затылке. Это, несомненно, германец. Ноги его почти касаются земли.

«Ого, — думает Марк. — Какой верзила».

Крик усиливается. Теперь орут и легионеры, и всадники. «Мулы» — понятно: новый германец равен одному кресту, трем гвоздям, двум веревкам, а также дополнительной работе. Оно им надо?

Марк думает: не надо. Но можно понять и всадников: это проводник, которого они ждали, а «мулы» явно сбрендили и хотят его прикончить, как будто им мало варваров, что сидят сейчас на дороге и ждут.

Декурион переводит взгляд на пленников и начинает смеяться. Пользуясь тем, что часовой отвлекся, один из варваров медленно

поднимается на ноги, с усилием взваливает на плечи брус, затем ныряет в туман. «Ищи его теперь», — думает Марк и смеется.

— Он с нами! — орут всадники и окружают полуконя.

«Мулы» что-то кричат в ответ, но уже без злости: распинать никого не надо. Тут к «мулам», опустившим мечи, подбегает часовой и... Новая забота. Часовой огребаёт по шее, несколько человек, подхватив оружие, убегают в туман — в погоню за германцем. Интересно, догонят?

Центурион, который все это время стоял рядом, поворачивается к Марку и говорит:

— Раздолбаи.

Декурион кивает. Тем временем всадники и «мулы» наконец разбираются, кто есть кто. Проводника ведут к Марку.

Центурион смотрит на командира всадников, кивает:

— Удачной охоты, — и возвращается к своим.

Марк наблюдает, как он идет — привычным упругим шагом пешехотинца. Калиги время от времени скрежещут — гвозди на подошвах сандалий набиты плотно, словно железный ковер. Марк видел, как один центурион перебежал мощный двор, поскользнулся на своих гвоздях и упал. Задница Волчицы! Было смешно. Действительно было смешно.

Старший центурион доходит до своих, ни разу не поскользнувшись. Марк даже чувствует некоторое разочарование.

Звучит команда. «Мулы» складывают оружие и берутся за дело. Пока всадники сопровождают проводника к Марку, основание креста вставляют в приготовленную яму.

Декурион смотрит. Крест медленно, рывками, поднимается. Кажется, иногда ему надо передохнуть, перевести дыхание, набрать побольше воздуха... «Мулы» давят плечами, хрипло кричат: «Еще! Еще! Еще!»

Германцы равнодушно смотрят на сородича, взлетающего в небеса. Это убийцы и мятежники, осужденные на позорную смерть. А они ведут себя так, словно казнь их не касается. Придурки.

Рыжий германец нависает над дорогой. Изрыгающий проклятья огненный сполох на белом фоне, среди влажной зелени и черного камня.

Марк и проводник некоторое время разглядывают друг друга, затем декурион говорит:

— Он убил римского солдата.

— Да, я понимаю, — говорит проводник с акцентом.

Глаза у него ярко-голубые, как у большинства германцев. Острые скулы, словно вытесанные топором; лицо в шрамах. Правая рука вместо кисти заканчивается култей. Он выглядит так, словно попал под нож боевой колесницы кельтов.

Марк кивает: понятно. Проводник больше не может быть воином, зато стать предателем никакое увечье не помешает...

— Меня зовут Тиуториг, — говорит варвар.

От слабости у Марка кружится голова.

— Как?

* * *

...И тут рыжий германец начинает кричать.

Он смотрит сверху на проводника, на всадников, едущих вереницей, на Марка, надевающего шлем, — и кричит. Тело германца с усилием поднимает свой вес, чтобы исторгнуть этот жуткий вопль. Глупо. Марк качает головой. Поберег бы силы. Худшей казни, чем распятие, даже трудно представить. Эта смерть медленная, мучительная и, главное, совершенно не героическая.

Очень просто: распятый человек, чтобы вдохнуть, должен поднять свой вес — на мышцах рук и ребер. Скоро варвар устанет, уже через несколько часов он едва сможет дышать, но он сильный и упрямый, поэтому продлит агонию до упора. Его ребра будут болеть так, словно их разmozжили кувалдой; с каждым вдохом боль будет становиться только сильнее...

Это казнь на измор. Упрямый и сильный человек протянет несколько дней. Упрямый и тощий — на день больше.

Но в итоге варвар сам себя задушит. Собственным весом, давящим на ребра. Через некоторое время в его легких скопится жидкость. При выдохе он будет пускать пузыри, которые запекутся на рассеченных губах. Стоит ткнуть такому человеку под ребра чем-нибудь острым, оттуда польется вода... При этом он будет умирать от жажды.

Если к тому времени у германца останутся глаза, он уже не сможет их открыть — без смазки колесо не крутится, веки не поднимаются. Впрочем, вороны или еще кто сделают это быстрее. «Птицы, — думает Марк. — Страшнее птиц для распятого никого нет. Разве что...»

«Верно», — думает он и толкает Сомика пятками. Когда декурион проезжает мимо столба, на изувеченные ноги варвара садятся комары.

...есть еще насекомые.

— Что он кричал? — спрашивает Марк у проводника, когда они отъезжают и крики германца стихают вдали.

Варвар пожимает плечами с полным равнодушием:

— Ерунду всякую. Не стоит внимания, господин...

— А все-таки? — спрашивает Марк.

Тиуториг улыбается.

— Что вы все умрете. Умрете. Умрете. Мы всех вас убьем. — Проводник оглядывает всадников, насупленных и помрачневших. — Я же говорил, не обращайтесь внимания.

* * *

Короткий привал. Всадники второй турмы наматывают головные повязки, надевают шлемы, затягивают узлы. У каждого всадника — кольчужная туника, у некоторых защитные наплечники, у Галлия в придачу — маника, «железная рука» из отдельных пластин, она идет от плеча до пальцев.

Вторая турма готовится к бою. Галлий сжимает и разжимает пальцы; скрежет металла.

Пулион, на полном серьезе:

— Такой рукой только самого себя любить. Потому тебя и назвали: сильномогучий Геракл, победитель стоглавого змея...

— Пошел ты, — бурчит Галлий.

— Ты его с первой-то попытки всегда находишь?

Всадники ржут. Пулион — штатный остряк второй турмы.

Марк предпочитает руки без доспехов — так ловчее убивать. У него на перевязи спата, кавалерийский меч; костяная рукоять с выемками под пальцы. Спата почти в два раза длиннее пехотного гладия.

Подходит опцион, спрашивает: снимать чехлы? Марк качает головой: нет. Зачем? В лесу синюю раскраску щитов видно издалика, обойдемся...

Всадники проверяют, как ходит оружие в ножнах. Подкалывают друг друга. Проводник чуть в стороне, наблюдает. Проклятый варвар. Марку он не нравится: тип явно что-то скрывает, проклятые голубые глаза. Германцы — «гемы», как зовут их всадники, — умом не блещут, но очень хитры. Это особая хитрость — варварская, жестокая, бессмысленная, — и декуриону снова не нравится выражение лица их проводника.

«Нельзя никому верить, — думает Марк, — особенно варварам».

* * *

Жеребец декуриона, Сомик, мерно вышагивает по тропе. Похоже, ею часто пользуются: набито, натоптано. Отсыревшая листва и мох вокруг. Сосны. Скрип кожи седла убаюкивает. Марк едет сразу за проводником. Назойливый писк комаров. Декурион отмахивается — влажно, болота, вот комарье и жрет всех.

Распятых — в том числе. «Надо будет на обратном пути переломать рыжему лодыжки», — думает Марк. Тело потеряет опору, придавит своим весом легкие — и варвар просто уснет. Рыжий заслужил быструю смерть...

Комары невыносимы. Марк шлепает по щеке и раздраженно чешет подбородок:

«Когда уже приедем?»

Тропа монотонно тянется через лес, проводник негромко напевает под нос.

От нечего делать Марк прислушивается. В песне какой-то своеобразный размеренный ритм. И хотя слова звучат совершенно по-варварски, даже хуже обычного, — мотив привязчивый. Декурион мог бы при желании его повторить.

— Кандагариум? — спрашивает Марк наконец. — Что это? Военный лагерь?

Кажется, вопрос декуриона немало забавляет варвара. Проводник хмыляется, мелькают неровные зубы.

— Рад, что тебе весело, — говорит Марк холодно.

— Прости, господин. На самом деле это один город... далеко отсюда, — отвечает Тиуториг. — Далеко на юге. Тебе бы там понравилось, римлянин, — говорит он серьезно. — Там много варваров, которых можно убить.

— Ты их тоже убивал?

Варвар улыбается.

— О да. Некоторых. Но там много осталось, не беспокойся.

Марку чудится в словах гема издевка. Но лицо варвара совершенно невозмутимо.

— Не бери в голову, друг, — говорит он.

За поворотом тропы Марк видит под деревом рыжие шляпки грибов. Яркие, как пламя...

В следующее мгновение Пулион на ходу соскакивает с лошади, бросается в атаку. Миг. Лезвие ножа. Грибы исчезают в седельной сумке. Пулион возвращается в седло, ухмыляясь так, словно переспал с царицей Египта — как минимум.

— Придурок, — говорит Марк хрипло.

Всадники смеются. Проводник хмыкает.

— Все, — Марк оглядывает своих. — Теперь идем тихо. Гемы рядом.

* * *

Шершавые стволы сосен медленно выплывают из тумана. Тропинка почти исчезла. Если бы не проводник, всадники бы давно потерялись: не видно ничего. Здесь туман еще гуще, чем возле дороги.

Неделю назад гемы напали на четверых «мулов» Восемнадцатого легиона — тех послали за водой. У берега Визургия водовозов окружили и забили насмерть. Марк был там после: кровь и кишки размазаны по всей поляне. Ур-роды. По тревоге подняли две когорты: римскую — она окружила рощу — и вспомогательную, что приписана к Семнадцатому. Галлов отправил лично Луций Деметрий Целест — отличный легат, они ему молятся, семнадцатые. Всадники прочесали лес мелким гребнем. Никого не нашли, конечно...

Гемы всегда исчезают как по волшебству. Это их лес.

Найти, сказала начальство Марку. Начальников волшебство не волнует...

Но два дня назад Марку наконец повезло. Один местный вывел его на проводника — германца по имени Тиу... как его там? Проводник пообещал сдать убийц «мулов». По его словам, это сделали свободные воины — таких сейчас много бродит по всей Германии. Может быть, думает Марк. С тех пор как споры между племенами разбирают римские судьи, а вооруженные стычки пресекаются легионерами, мало работы для таких бойцов. Вождям нет смысла держать большие дружины.

Только вот на дорогах стало небезопасно: скучающие воины грабят путников.

Декурион морщится: поскорей бы. Если только проводник не обманул...

Копыта глухо стучат. Звуки искажаются туманом.

В зависимости от места набора каждый легион обладает своим характером. Здесьние легионы набраны у моря, большая часть «мулов» Восемнадцатого раньше ходила на кораблях, как рыбаки и матросы. Поэтому синие щиты. Семнадцатый Морской — это вообще изначально морская пехота. Отборные, прекрасно обученные солдаты...

«Правда, кажется, кто-то перепутал болота с морем, — думает Марк, — иначе мы не оказались бы в Германии...»

Тишина. Позади кто-то громко хмыкает. Марк резко поворачивается в седле. Пулион опускает глаза. Паршивый сукин сын! «Ничего, — думает Марк, — вот вернемся в лагерь, я тебе... Тьфу-тьфу-тьфу. — Декурион спохватывается, делает жест от сглаза. — Дай боги, вернемся. Не каркай».

Убаюкивающий перестук копыт. Сосны, мох, еще сосны. Вдруг, когда уже кажется, что это будет длиться вечность, проводник поднимает руку...

* * *

Германец поднимает руку. Марк не сразу соображает, что это значит, — и с опозданием показывает своим: стоп. Приехали.

Туман плывет между соснами, как застывшее на холоде дыхание. Где-то вдалеке хрустнула ветка. Марк жестами приказывает своим: внимание. Мы на месте.

Германец поворачивает голову, Марк показывает пальцами на глаза: иди проверь.

Тиуториг мягко спрыгивает с лошади, ныряет в заросли — бесшумный, как большая кошка. Тишина. Всадники ждут.

Кажется, проходит полдня, не меньше. Через некоторое время проводник возвращается. Лицо у гема поцарапано, на дне голубых глаз плещется нехорошее веселье. Похоже, он еще тот сукин сын.

— Их там много, — говорит проводник одними губами. Показывает на пальцах: пять человек. Пять гемов.

Марк кивает.

* * *

Итак, поляна в лесу, костер. На поляне четверо — Марк зуб даст, что их должно быть больше: варвар показывал «пять человек», — но пятого пока не видно. Может быть, его действительно нет?

Декурион оглядывает своих людей. Их восемь. Они опытные солдаты, не раз были в деле. Марку кажется, что лица всадников светятся изнутри холодным мраморным светом...

Пора. Повинуясь его жестам, всадники расходятся веером. Отмашка. Пошли, пошли! И — тихо.

На поляне вокруг костра сидят люди. Варвары. На огне кипит котелок, один из германцев помешивает варево оловянной ложкой.

Декурион моргает. Нет, точно. На поясе у гема короткий кинжал в бронзовых ножнах...

У Марка ненависть подступает к горлу: это пугио, кинжал римского legionera. Вперед! Удар пятками в брюхо — Сомик срывается с места. Пошли, пошли! Давай! Марк слышит треск справа — пегая лошадь опциона в прыжке вылетает на поляну. Германцы вскакивают...

Ржание лошадей. Крики. Общий переполох.

Кто-то переворачивает котелок, из него выливается, пузырясь, горячее варево. Куски мяса падают в мокрую золу, дымятся...

— Тиваз! — ревет германец. Дошло, надо же.

Бей! Марк с оттяжкой опускает руку. Германец падает. В следующий миг тот гем, что стоял у костра, оказывается гораздо дальше, чем был. Ловкий: схватил копье (фрамея — вспоминает Марк варварское слово) и уже замахивается...

Марк видит неровное серое острие.

В следующее мгновение один из всадников сносит германцу голову спатой. Брызги крови...

* * *

На поляне дымится костер. Пулион, присев на корточки, вылавливает из золы куски мяса, ругается, дует на обожженные пальцы.

— Все? — спрашивает Марк.

— Да вроде. — Оптион чешет щеку.

Марк оглядывает мертвые тела — германцев сложили в ряд. Хорошо дрались, бродяги. Гемы вообще крутые — говорят, у самого принцепса личная охрана из двух тысяч германцев.

Раз, два, три... четыре трупа. Все гемы здесь, кроме одного. Марк встает. Как заметил проводник, должен быть пятый. Но где он? Может быть, последний гем отошел в кусты? И теперь удирает со спущенными штанами...

В кустах шум. Проклятье, а ведь действительно... Галлий кричит:

— Командир, еще один уходит!

Всадники бросаются в погоню. Пулион бежит с куском мяса в зубах, как собака. Последний гем не должен уйти. И все такое.

Опять ожидание. Декурион морщится, сплевывает густым и вязким. Сомик косит на него выпуклым черным глазом, поводит ушами. Лошади не любят запах крови, а сейчас от Марка, прямо скажем... хм... м... несет.

— Проводник где? — спрашивает он. Оглядывается... Проклятье. Стоит задуматься, как перед глазами мелькает оскаленное бородатое лицо. Декурион морщится. Не сейчас. Стоп, а где?

Проводник пропал. Его нигде нет.

— Искать!

— Марк, он там, — появляется из-за кустов Пулион. — И гем тоже...

Последний, пятый германец мертв — у него странно вывернута шея. Словно ее сломали. Над телом сидит на корточках проводник, Тиуториг. Он оглядывается на приближающегося Марка, выпрямляет спину, встает. В единственной руке мелькает что-то красное; декурион моргает. Показалось, нет?

Всадники стоят мрачные. Галлий выступает вперед.

— Я, значит, иду... А он тут сидит и жрет.

Марк молчит. Так... про людоедов среди варваров он слышал. Но видеть как-то не доводилось. Декурион всегда считал, что это байки.

— Сейчас я этого урода! — Галлий тянет меч из ножен.

Проводник криво улыбается. При приближении всадника он оскаливается, в голубых глазах загорается огонек.

Галлий делает шаг. Взмах мечом...

В следующий момент всадник — Марк не понимает, как это случилось, — летит через голову. Падает на землю так, что от удара выбивается глухой звук: хэк! Меч Галлия отлетает в сторону.

Короткое замешательство. В следующее мгновение всадники окружают проводника. Молча, сосредоточенно. Тот выпрямляется, оглядывает всех по очереди. Страх в нем нет, то есть — совсем. Это ненормально. Словно Тиу... — как его там? — это забавляет.

Галлию помогают встать. Он выдыхает, с руганью хватает спату, идет на обидчика — с обнаженным клинком. Видимо, собирается страшно отомстить — порезать на куски и все такое. Болван. Некоторых жизнь ничему не учит.

— Отставить! — командует Марк.

— Я его!..

— Стоять!! — Эхо крика спугивает птиц с дерева.

— Но... — Галлий останавливается. Растерянно смотрит на командира. «Как же так?» — написано у него на роже.

— Ты первый начал, — говорит Марк. — Так что все честно. Что до остального... — Декурион поворачивается к варвару: — Что там у тебя?

Проводник делает невинное лицо.

— Где, господин?

— Покажи мне, — говорит Марк, кладет ладонь на рукоять са-
ты. — Иначе...

Угроза заставляет проводника вздрогнуть. Он смотрит на Мар-
ка в упор — глаза ярко-голубые, жесткие, как конская упряжь. Де-
курион ждет. Ладонь на рукояти меча. Всадники тоже ждут.

— Смотри, — уступает варвар наконец. Усмехается, разжимает
ладонь...

Марк смотрит. Потом говорит:

— Твою мать. Придурок совсем. Мы же тебя чуть...

Всадники хохочут. Тиуториг усмехается. На единственной ла-
дони варвара лежит горстка малины. «Твою же мать, — думает
Марк снова, — любитель ягод».

Варвар подносит ладонь ко рту и собирает ягоды губами. Под-
мигивает декуриону. На губах у него красные потеки.

— Куда ведет эта тропа?

— В деревню, — отвечает проводник, словно это само собой ра-
зумеется.

— Куда?

* * *

— Декурион!

Марк открывает глаза, едва не стонет от разочарования. Он уже
забрался на жеребца — в седле уютно и спокойно, как дома. Сомик
вздрагивает и переступает. Сейчас бы в лагерь, думает Марк, ото-
спаться как следует... Какое там, разве эти дадут?

— Нашли? — Он поворачивается к всаднику.

Пулион чешет затылок. Лицо растерянное.

— Ну... как сказать. Там дальше по тропе хрень какая-то, коман-
дир... то есть там действительно деревня гемов. Этот, последний,
туда и бежал. Но какая-то она странная...

— То есть?

— Э-э... — У всадника вдруг не хватает слов. — Ну... ты лучше
сам посмотри.

Марк сплевывает — желтым и горьким. Проклятый шлем давит
на виски. Как я устал. Лечь бы сейчас на траву и закрыть глаза...

— Показывай. — Декурион толкает Сомика пятками.

Конь фыркает презрительно и идет высокомерным, обиженным шагом, высоко поднимая колени. Выражает недовольство. А мог бы и укусить — у жеребца характер.

«Как вы меня задрали со своими характерами, — думает Марк, — одно слово: за-дра-ли».

* * *

На первый взгляд кажется, что здесь все хорошо, только очень тихо. Слишком тихо. Марк оглядывается. Даже птиц не слышать.

Неровный, сбитый ногами мох. Декурион на мгновение свешивается с седла, смотрит — так и есть. Отпечаток подошвы с гвоздями. Здесь явно прошлись солдатские калиги. Легионеры. Что «мулы» делают в лесу? Мало им убитых водовозов?

След подковы. Еще один. Как интересно.

Он выпрямляется. Сомик тянется губами к веточке, декурион дергает повод. Не сейчас. Трогает бока жеребца пятками.

Обычно деревни гемов по форме напоминают круг. В центре — длинный дом, там живет глава семьи с домочадцами, в другой половине — коровник. Вокруг дома построены маленькие дома — амбары, мастерские, загоны для скота, иногда кузня.

Эта затерянная в лесу деревня мало отличается. Дом — довольно большой, на толстых сваях. Землянки вокруг. И всего один амбар — тоже на сваях, высоко, чтобы звери не добрались до припасов.

Пространство вокруг большого дома расчищено, трава примята копытами. Коровы, понятно. Чвирк! Марк поднимает голову. На крыше амбара — коричневые с серым пятнышки. Воробьи. Их много. Чвирк-чвирк. Чвирк-чвирк. А вот и птицы...

Всадники едут по деревне молча. Только проводник напевает под нос. Сейчас это раздражает. И еще этот звук...

Возвращается Галлий.

— Марк, там... — Всадник мнетя, потом говорит: — Ты... в общем, ты должен это видеть.

Судя по лицу всадника, видеть этого не стоит.

Тела «мулов» сложены за длинным домом. Изрубленные, изуродованные. Тошнотворная вонь крови. Целый рой мух вьется над убитыми. Жужжание. «Вот откуда звук, который я слышал», —

понимает Марк. От нахлынувшей слабости подкашиваются ноги. Декурион преодолевает себя, идет. Между лопаток катятся холодные капли.

— Это все? — спрашивает он.

Тел около двух десятков. Много. Очень много.

— Вот так как-то, — говорит Галлий невпопад.

Воздух застревает где-то внизу, под ребрами, с сипением выходит из горла. С тех пор как Марк заразился в походе Тиберия, ему нет покоя. Болотная лихорадка постоянно возвращается. Легионный медик посоветовал пить барсучий жир. Можно — собачий, добавил он тогда. Отлично. Просто отлично.

В скором будущем он будет выглядеть как скелет — бледный, худой, страшный.

Но сейчас Марка тошнит не от слабости, а от увиденного. Здесь была бойня. Это тебе не два мертвых лесоруба — тут почти два десятка «мулов».

На брови молодого паренька — с лицом таким юным и чистым, словно его только вчера записали в тироны, новобранцы, — сидит муха. В открытых глазах мертвеца мелькает движение ее лапок.

Говорят, в глазах убитого можно увидеть лицо убийцы.

Марк приседает на корточки. Проклятая муха перелетает чуть дальше, садится парнишке в уголок глаза. Лапки двигаются... Марк едва сдерживает тошноту.

Декурион машет ладонью, сгоняя ее. Наклоняется.

«Если бы мертвые могли говорить», — думает Марк.

Когда римлянин при смерти, к нему приходят родные. И самый близкий из них, старший сын, будущий глава семьи, наклоняется к умирающему, чтобы принять в себя последний выдох. Так продолжается род.

Этот пацан умер на чужбине, далеко от родной Италии. Или Греции? Кто его знает. На бледном, как пергамент, лбу, запеклась в бордово-черной крови темная прядь.

И никто не принял его последний вздох.

А где-то в зрачках паренька прячется крошечный убийца. Да что тут думать! Марк в сердцах дергает головой. Встает, выпрямляется.

Кто это был? Ну и вопрос. Наверняка это был длинноволосый гем с перемазанными глиной волосами. Варвар. Все они здесь одинаковые. В этот момент Марк мечтает уничтожить их всех до единого. Всех. Выжечь к Плутону всю проклятую Германию. Словно за Рением — Ахероном! — находится подземный мир. Душно здесь. Марк поднимает руку, с усилием оттягивает шейный платок. Тот мокрый от пота.

«Они не люди. Они звери». Великаны-людоеды.

Декурион с сипением втягивает воздух сквозь зубы.

— Как думаешь, кто их?

— Гемы. — Галлий пожимает плечами. Мол, что тут думать?

— Гемы. — Марк кивает. — А деревенские тогда куда делись?

Галлий тяжело задумывается. Этот вопрос ему в голову не приходил.

— Вот то-то. Всем — рассыпаться и проверить, — приказывает декурион. — Пискун и Габр, вы на страже.

Всадники кивают, разбегаются в разные стороны. Коней оставляют часовым. Марк закусывает губу.

Вокруг — мокрая, потоптанная десятками ног зелень. Взрытая трава и мох. Но убивали «мулов» не здесь. Марк огляделся. Ага, а где?

— Новий! — окликнул он оптиона, заместителя. — Проверьте дом.

Их убили быстро. Центуриона пригвоздили к стене первым же ударом, он даже не успел вынуть гладий, меч так и остался в ножнах. Марк видит костяное навершие рукояти, запачканное кровью.

Центуриона прикололи мечами солдат к стене. Рукояти расплющены, словно по ним били, чтобы сильнее вогнать клинки в дерево. Это напоминает пародию на распятие.

Вот что интересно: почему «гемы» не забрали мечи? Они всегда забирают оружие...

Марк встает. Оптион подходит, наклоняется.

— Посмотри на их одежду. Ткань какая, видишь?

Марк сначала не понимает, к чему он клонит. Потом понимает — кто-кто, а заместитель разбирается в этом, он тот еще щеголь.

Ткань дорогая, да. Ровный синий свет. Туники почти новые, краска отличная. Да и сшиты хорошо.

— И что?

— Это не обычные «мулы». — Оптион удивлен, что командир до сих пор этого не понимает. — Видишь? Это охрана какой-то шишки.

Пулион появляется на крыльце дома, машет рукой.

— Марк, сюда.

Судя по всему, здесь был бой. Короткий, но жестокий. Занавеси, которыми разделяется пространство на отдельные закутки, почти все сорваны. Перегородки разбиты. На деревянном полу, посыпанном соломой, следы крови. Перевернутые лавки. Разбитые, изрубленные шкафы.

И лишь в глубине дома стоит нетронутый деревянный стол. За столом... Декурион присвистывает. За столом сидит один человек. Марк протирает глаза. Нет, ему это не привиделось. Римлянин в белоснежной тоге.словно он, м-мать, в родном Риме, на заседании сената...

Тишина. Жужжание мух. В огромном доме римлянин — единственный обитатель. Перед ним на столешнице две чаши. Кувшин опрокинут, разлитое вино еще не засохло до конца... По крайней мере, римлянин умер не на трезвую голову.

Марк протягивает руку и трогает человека за плечо. Тело поддается неожиданно легко, словно не успело еще зачленеть. Под ладонью — теплое.

— Эй! — Марк отскакивает.

Голова мотается вперед и откидывается. В первый момент человек даже кажется живым...

Скульптурное лицо настоящего латинянина — резко очерченное, смуглое. Сквозь загорелую кожу еще отчетливее проступает смертельная бледность. Волосы темные, с вкраплениями седины. Глаза широко раскрыты, они серо-коричневые. «Странно, — думает Марк, — в первый момент они мне показались голубыми. В этих глазах тоже где-то спрятался крошечный убийца?»

Некоторое время всадники молча переглядываются. Никто не знает, что сказать. А что тут скажешь? Судя по тому, как человек одет, в этот раз гемы замочили не простого водовоза...

— Я его знаю, — говорит Пулион внезапно. — Вы будете смеяться... Это легат Семнадцатого.

— Шутишь? — Марк поднимает брови.

Декурион поводит головой, словно кольчуга натерла ему шею. Только этого сейчас не хватало. Мертвые «мулы», мертвый... Потом до него доходит.

— Вот ведь задница какая, — говорит Марк.

Мертвый римский легат. Это же почти объявление войны.

* * *

Пока всадники исследуют деревню, декурион остается в доме. На полу возле ног легата лежит нож — Марк садится на корточки, поднимает. Нож обычный, из плохого железа. Видимо, это осталось от хозяев. Марк отпускает нож и замечает краем глаза необычный блеск.

В пальцах мертвеца что-то зажато. Марку приходится приложить силу, чтобы расцепить их. Ага, попробуй. Пальцы мертвого легата стиснуты так, что фиг разогнешь. Словно от этой вещи зависела его жизнь...

Декурион и сам не знает, зачем это делает. Он поднимается, кладет вещицу на ладонь. Это фигурка. Холодная. Даже очень холодная. Она изображает маленькую птичку. Короткий клюв, нахохлившаяся... Воробей? Снегирь?

Марк наклоняет ладонь, свет играет на металле. Красиво. Надо передать эту вещицу его близким. Раз она была так важна...

Внезапно в Марка словно ударяет молния. Он поднимает голову. Пятый гем. Деревня. Засада. «Вы все умрете!» Конечно! Выходит, проводник с самого начала вел всадников сюда, к деревне?!

— А где Тиу... как его?

— Кто? — На лице Галлия недоумение.

— Проводник! — Марк оглядывается.

Проводник знал про деревню. Он их специально сюда вел. Зачем? Зачем?! Тифон стоглавый, задница Плутона, чрево Юноны...

Декурион выбегает из дома, едва не сбивая по пути Пулиона. Тот удивленно отшатывается, смотрит на командира.

— Марк, ты чего?..

Декурион не отвечает. Видит: полуконь стоит у привязи, уныло повесив морду. Все рассыпается на кусочки, как мозаика: повод намотан на столб, ленточки в длинной гриве, красные, синие, их шевелит ветер, грустная морда, седло — пустое...

— Где он?! — кричит Марк. — Где?!

Всадники бросаются на поиски. Марк почти рычит. Проводника нет. Только вдалеке, у кромки леса, качается ветка. Словно кто-то задел ее рукой, когда уходил. Кусочки мозаики медленно собираются в единое целое...

«Вы все умрете, римляне. Мы всех вас убьем».

Проводник исчез, словно его никогда и не было.

ГЛАВА 1

ВОЛЯ БОГОВ

Солнечный свет проникает сквозь окна, пронизывает комнату. Я лежу на кровати, мне двенадцать лет. В лучах солнца золотом вспыхивают пылинки.

Я слышу, как за окном поют птицы. Лето.

Входят двое. Один — постарше, почти юноша, темноволосый. Другой — совсем мальчишка, светлая шевелюра. У них такие лица, словно им только что дали триумф за победу над галлами. Торжественные.

— Смотри, Гай, — говорит старший и протягивает руку. В кулаке что-то зажато. Рядом младший чуть не подпрыгивает от нетерпения. Ну же, ну!

«Что там?» — думаю я.

Старший держит кулак и улыбается. Лицо у него уже резкое и станет еще жестче с возрастом.

Что они опять придумали?

За окном шумят деревья. Гомонят и переругиваются птицы. Я слышу «чвирк-чвирк-чвирк» и назойливый стрекот кузнечиков. Теплый сухой запах травы и лета. Пыль кружится над головами...

Это мои братья. В карих глазах старшего плавится солнечный свет. В синих глазах младшего плещет море.

— Смотри, Гай, — говорит старший. Пальцы медленно разжимаются...

Я моргаю.

На ладони Луция сидит кузнечик. Он потирает друг о друга задние ноги и вдруг исчезает... прыгнул! Я моргаю. Белобрысый

мальчишка кричит и срывается за ним в погоню. Пока он с воплями гоняется за кузнечиком по всей комнате, Луций смотрит на меня. И улыбается.

— Очень смешно, — говорю я слабым голосом. — Вы бы еще льва притащили. Или львы закончились?

— Брат, — кивает Луций серьезно, но глаза смеются.

— Брат, — говорю я.

По комнате с грохотом и возмущенными криками носится наш младший.

* * *

В синем плаще с белым подбоем, шаркающей от бессонной ночи походкой, ранним утром четвертого дня до начала августовских календ в закрытый сад своего дома на Палатинском холме выхожу я, сенатор Рима Гай Деметрий Целест. Двадцать восемь лет, холост.

Светает. В приятно пригревающих лучах утреннего солнца, в зябкой рассветной тишине просыпающегося города я иду, неторопливо ступая. Песок едва слышно скрипит под подошвами.

На мозаичном полу в беседке уже приготовлено кресло, я, стараясь не зевать, сажусь в него и протягиваю руку в сторону. Управитель дома тут же вкладывает в мою ладонь список расходов.

Я ежусь от предчувствия, растягиваю свиток и бегло просматриваю. Задерживаю взгляд на итоговой сумме. Однако...

— Так много? — Я поднимаю голову. — Нет ошибки?

Управитель заглядывает мне через плечо, разводит руками.

— Простите, господин. Я сделал все что мог, но...

«Но». Какое обидное слово. Я поднимаю руку: подожди.

Закрываю глаза и вижу, как сверху падают золотые ауреи — один за другим. Слышу звон, когда они падают в кучу таких же монет... Звяк, звяк, звяк. Горка золота растет на глазах. Это уже целая гора. Она сверкает, как солнце. Вдруг последняя из монет ударяется, скатывается с кучи, падает на ребро и катится... Очень медленно катится по мозаичному полу. Ударяется в стену. Звяк! Отлетев, золотой кружок дребезжит на мраморе... Пока не замирает неподвижно.

Я смотрю. На монете грубо вычеканен профиль молодого человека в лавровом венке. И надпись: Гай Юлий...

...Цезарь Октавиан...

.....АВГУСТ.

«Восемьсот тысяч сестерциев», — думаю я и открываю глаза. Примерно двадцать тысяч золотых монет с профилем молодого человека и надписью «Август».

Я поднимаю голову. Управитель смотрит на меня в упор. Заметив мой взгляд, он опускает глаза, затем протягивает мне калам для письма.

— Вам нужно поставить свою подпись... господин.

Я потираю лоб. Восемьсот тысяч сестерциев!

— Здесь? — Я нахожу и подписываю. Перо скрипит по пергаменту. Я вздыхаю и отдаю калам и пергамент обратно. — О, брат, как дорого ты мне обходишься!

— Господин? — Управитель явно шокирован. Я криво усмехаюсь — юмор, что мне еще остается?

— Шутка, Фомион. Шутка... Что еще скажешь?

Пауза. Управитель думает.

— Все готово, можем начинать, — роковые слова произнесены. Наконец-то. Управитель дома с явным облегчением кланяется — он это сделал. Ждет моих указаний.

— Вино и угощение? — говорю я, чтобы что-то сказать.

Фалернское — лучшее вино в этой богами благословенной дыре под названием Рим. Брат был почти равнодушен к винам, но фалернское даже он сможет оценить...

— Принесено и приготовлено. И учтено, — добавляет управитель торопливо. Я киваю. Теперь я становлюсь главой семьи Деметриев Целестов, хочется мне этого или нет. Поэтому все денежные дела — отныне моя забота. — Да, господин, вы просили доложить, когда придет мим.

— Отлично! Пусть войдет.

В атриум приводят худощавого человека с совершенно невыразительным лицом. За ним идет помощник с темным париком на палке. Мим кланяется.

— Можно начинать, сенатор? — спрашивает он.

— Начинайте, — говорю я.

Архимим — главный над мимами — кивает. У него очень гладкая кожа и седина в коротко остриженных — под парик — волосах. Он приглаживает их ладонями, затем аккуратно берет восковую маску и прижимает к своему лицу. Помощник помогает ему завязать узлы на затылке. Затем приходит очередь парика. Архимим расчесывает пряди, укладывает их руками. Готово. Поворачивается. Я отшатываюсь в первый момент.

На меня смотрит Луций, мой старший брат. Нет... не совсем.

С воскового лица брата смотрят на меня чужие глаза.

Смешно. Я встаю. Ну что за фарс, честное слово... А говорили, что этот мим — лучший в своем деле.

— И это все?

— Еще немного, господин, — поясняет помощник мима.

Архимим делает шаг, другой, поводит руками, словно ловит ускользящее нечто. И вдруг это случается. Я не понимаю как. Архимим как-то по-особому поворачивает голову — и это уже мой брат, Луций. У меня по спине бежит озноб... Проклятье. И дело тут не в маске, хотя она очень хорошая. Скульптор, грек из Коринфа, постарался на славу. Восковая маска, сделанная с живого еще Луция, выглядит прекрасно. Очень похоже. Высокий, львиный лоб с прядью волос, резкие скулы и характерная ироничная складка губ. Только глаза другие.

— Хороший день, — говорит он вдруг.

Мы с управителем вздрагиваем, переглядываемся. Голос и интонации брата — не путаешь.

Восковой Луций едва заметно улыбается, словно все происходящее его забавляет. Как это похоже на моего брата. Он даже после смерти найдет в происходящем что-нибудь смешное.

Он выглядит... живым.

— Начали, — говорю я не своим голосом. Управитель кивает. Теперь действительно начали.

* * *

— Луций Деметрий Целест скончался, — зычный голос глашатаев разлетается над Палатином, над Форумом, над улицами

Рима. — Если кто хочет быть на его похоронах, то уже пора. Луций Деметрий Целест...

Такие похороны называют объявленными.

— ...бывший легатом в Германии, скончался. Его безутешный наследник устраивает обед и гладиаторские бои в память любимого брата...

Мы выходим из ворот дома. Спускаемся по улице. Перед нами идут флейтисты и профессиональный зазывала.

— Луций Деметрий! — кричит он на фоне плачущих флейт. И так далее.

Архимим с лицом покойного шествует в центре процессии. Вот он идет — я поворачиваю голову и вздрагиваю — знакомой до боли походкой брата. Хороший все-таки мим, талантливый. Он чуть подволакивает правую ногу — Луций в детстве упал с лошади и повредил колено.

Жутковатое ощущение, если честно. Мертвец шагает во главе своих похорон. За ним следуют остальные мимы, изображая наших с Луцием предков — на каждом соответствующая маска. Они не так похожи, как архимим на брата, но что-то есть даже в этом фальшивом шествии. Хороним. Луция хороним.

— Рабы, вольноотпущенники и гладиаторы на торжественный обед не допускаются! — кричит зазывала.

За «предками» несут на носилках знаки их отличий. Консулов у нас в семье не было, но были квесторы, преторы, и даже один цензор затесался. И был один легат — Луций. Тоже в прошедшем времени — «был».

Синяя пенула на мне, синие одежды на ликторах. Коричневые и голубые плащи на женщинах. Синий — цвет смерти. За носилками отплясывают комический танец, я слышу смех. За комиками идет отряд плакальщиц — я слышу вой. Впереди играют флейты. В общем, все при деле.

— На гладиаторских боях будет сорок бойцов! — надывается зазывала. — Луций Деметрий Целест скончался... Луций Деметрий...

«Прощай, брат», — думаю я, шагая. Кажется, пора начинать ритуальный плач?

* * *

Луций! Вот ты идешь впереди всех, как при жизни, уверенный, что знаешь лучше, — но сейчас ты ведешь нас к погребальному костру. Чтобы доказать, насколько смертен бывает человек. Внезапно смертен...

Внезапно, очевидно, необыкновенно смертен.

Прощай.

Луций! Ты, при жизни бывший умнее всех, теперь глуп — как глупа мертвая, пустая плоть. Ты, при жизни чуть не ставший богом, теперь станешь прахом. Пусть твоя душа за Ахероном, пусть кровь твоя досталась псам...

Луций! После смерти отца, когда мы, потерянные и раздавленные, стояли у его гробницы, не зная, куда податься, когда из мира вынули самую главную ось — медную основу всего — и мир кружился и разваливался под нашими ногами, — что сделал ты? Вспомни, брат. Твоя бессмертная тень, напоенная жертвенной дымящейся кровью, должна знать...

Что ты сделал?

Ты занял место нашего отца. Стал центром Космоса — для нас, твоих младших братьев. Маленький Квинт затих на руках няньки, я рыдал, не помня себя, смешной, жалкий, — и лишь ты оставался умным и смелым. Самым умным и самым смелым из нас.

И вот ты лежишь, завернутый в саван. Как детская кукла. Загримированный, чтобы скрыть следы разложения, нарумяненный, подкрашенный, в самой лучшей тоге.

Луций!

Здравствуй, брат.

Тебя хороним... Ничего?

* * *

Когда великий Гай Юлий Цезарь — ради лучшей подготовки зрелищ, ублажающих народ и радующих сердца граждан Рима, — уговорил знатных патрициев принимать в дома и обучать воинскому искусству гладиаторов, в семью Деметриев Целестов попали некоторые из них. Нумидиец Фессал был одним из тех десяти бойцов, что обучались владению оружием в доме моего отца.

Ему было тогда лет шестнадцать. Крутой парень. Он учился у тех же учителей, что давали уроки меча нам, сыновьям Луция Деметрия Целеста-старшего, ел наш хлеб, жил с нами — нет, не в пристройке для рабов, ему выделили отдельную комнатку в большом доме. Мы выросли вместе. Он был ненамного старше меня и на два года младше Луция, а маленького Квинта искусству меча обучал уже он сам, Фессал, ставший из гладиаторов учителем гимнастики и фехтования, а позже — верным спутником Квинта, нашего младшего. Нашего балбеса, как мы его называем.

Ростом Квинт вымахал на голову выше меня. Верзила. В отличие от нас с Луцием, темноволосых и коренастых, младший уродился светлым и высоким — в нашу мачеху, ставшую женой отца через год после смерти моей матери. Законы, не позволяющие женам, потерявшим мужей, долго оставаться вдовами — все ради блага Рима! — теперь заставили отца принять новую жену. Молодую и красивую — это ли не жертва на алтарь родины?

Думаю, с матерью Квинта отец был почти счастлив — хотя и недолго... В этом мире все в воле богов. И судьбы. Над судьбой даже боги не властны. Три сестры, три Парки, плетущие нить, — в их ножницах заключена жизнь и смерть. И вот они сошлись, два бронзовых лезвия. Щелк! И не стало нашего отца. Щелк! И не стало брата.

Луций! Ладно... молчу.

* * *

Рим. Огромный город, изнемогающий от жары. Центр мира, залитый мрамором, окутанный дымкой томящегося воздуха. Раскаленная волна накрыла твои дворцы и виллы, форумы и цирки, трущобы и храмы, раздробила в мраморную крошку твои гладкие кости, охватила твои горделивые строения душными объятьями. Мало жить в тебе, Рим. В тебе надо умирать. Ты ревнив и требователен к людям, залит потными распаренными телами рабов и блестящими смуглыми телами нумидийских рабынь. Да, Рим, я не люблю тебя. А ты не любишь меня. Но сегодня мы хороним моего брата, твоего сына и гражданина — мы хороним ум

и доблесть, блеск глаз и остроту ума, мы хороним величие и честь. Мы хороним моего брата, Луция...

Так что терпи, Рим.

В путь по Фламиниевой дороге отправляется процессия. Мы спускаемся с Палатинского холма и выходим на Форум, рассекая толпы зевак. Они оборачиваются нам вслед. Идут за нами.

А мой брат шагает впереди. Вы знаете моего брата? Все знают моего старшего брата.

— Луций Деметрий Целест, — повторяет зазывала, — скончался!

Я слышу вой плакальщиц. В душном застывшем воздухе он висит, как нотка тошноты, как легкий запах помоев по утрам.

Они плачут по Луцию. А мне кажется, что это воют римские собаки.

...Когда тело брата привезли из Германии, забальзамированное и обложенное льдом для лучшей сохранности, я вызвал к себе лучшего мастера из тех, что делают тебя красивым после смерти.

— Речь, — напоминает зазывала вполголоса.

Я киваю. Я потратил на написание надгробной речи неделю и всю прошлую ночь. От недосыпа режет глаза, в животе растекается противная, липкая слабость. Распорядитель похорон поднимается на трибуну и дает сигнал флейтистам — ждите!

Тишина.

Пока я поднимаюсь по каменным ступеням, передо мной медленно вырастает тысячеликое лицо города. Форум, запруженный народом, — тысячи глаз смотрят на меня. Храмы и портики. Виллы и инсулы. Бани и таверны. Гордыня и мрамор.

Рим. Город, который не поддавался бесчисленным ордам Ганнибала. Город, который с легкостью завоюет осел, груженный золотом.

Где-то там, на Палатинском холме, стареющий принцепс сидит в своем доме. Август не любит дворцы. Он их даже не строит.

Август подвержен приступам гнева. Однажды он заподозрил некоего гражданина в том, что тот соглядатай, и приказал заколоть его у себя на глазах. И гражданина закололи.

Добрый, мудрый, справедливый принцепс. Нет, нам не нужна Республика... Нам нужно, чтобы у правителя всегда было хорошее настроение.

— Ты приглашен на прием к цезарю, — говорит голос.

— Что? — Я поднимаю голову.

Передо мной стоит молодой вольноотпущенник, обычно принцепс делает таких, как он, чиновниками или порученцами.

— Цезарь зовет тебя в гости, благородный Гай Деметрий Целест.

Обращается как положено — уважительно. По имени моего отца. Но я все равно вздрагиваю.

— Твоя просьба удовлетворена, Деметрий Целест, — говорит вольноотпущенник негромко. — Цезарь примет тебя за два дня до августовских календ, после полудня. — И, не дожидаясь ответа, уходит.

* * *

Я говорю речь. Люди слушают. Кто-то даже плачет. Приятно.

Когда я устаю говорить, вступают флейты. Это тоже очень трогательно. Потом флейты стихают, и я продолжаю говорить. Слезы текут.

— ...Умер мой брат дорогой, брат мой, навеки прощай! — заканчиваю я речь словами Гая Валерия Катулла, хорошего римского поэта, а не какого-нибудь изнеженного грека.

Все аплодируют.

После мы опять идем.

* * *

Ликторы в синих одеждах шествуют впереди процессии — их шестеро. Мой брат так и не стал консулом, не успел, но легатом... Легатом Семнадцатого легиона он был два года.

Синий — цвет смерти. Плечо болит от тяжести носилок. Ты и после смерти давишь на меня, брат.

Мы идем по улицам вслед за прихрамывающим архимимом — простите, он сейчас Луций, мой старший брат, и будет таким до момента, когда пламя взметнется над завернутым в саван телом и достигнет небес.

Факелы дрожат в руках рабов, пламя их едва заметно. Опаленные солнцем небеса плохо горят, думаю я. Даже пламени нечем дышать в этом проклятом городе. Сажа летит в стороны и медленно

поднимается над головами. Невесомые черные лоскуты. Мой брат Луций неторопливо бредет в Аид, где его ждут отец и наша мать... обе матери. Наша и Квинта. Надеюсь, хоть там они все поделили...

Я вспоминаю, как вкладывал медяки в рот брата, и плачу. В смерти все равны. И последний бедняк, и первый сенатор исчезают в пламени, держа в зубах по медной монете в треть асса — для оплаты перевозчику...

Я поднимаю голову и слышу вой плакальщиц. Жара. Глотаю пересошим ртом. Жажда. Когда я совсем готов упасть от изнеможения, я вижу Тарквиния, старого раба, несущего чашу. Я даже отсюда могу разглядеть ее запотевшие бока. Вода! Наконец-то. Не дойдя пары шагов, Тарквиний спотыкается и выплескивает воду к моим ногам.

Я смотрю, как влага впитывается в землю.

— Я отправлю тебя в пекарню, — говорю я. — Глупый никчемный старик!

В пекарню, где от мучной пыли слепнут глаза и нечем дышать. Тарквиний не протянет там и недели... Он поднимает седую голову, смотрит на меня. Я вижу слезы в его глазах. Даже так?

— Плачь, старик, — говорю я. Горло перехватывает. — Моего брата больше нет.

Проходит час. Мы стоим у погребального жертвенника. Огромная пирамида дров полита маслом и украшена свежими кипарисовыми ветвями. Высшей точкой — апогеем смерти — служит мой брат... Смешно.

— Пора, брат, — говорит Квинт.

Рядом с ним — Фессал, нумидиец, гибкая молния, учивший младшего владеть мечом. Бывший гладиатор, заслуживший свободу, сейчас — нянька, да продлят боги его время, чтобы он продлил время моего брата. Моему брату предсказано умереть молодым. А родственники — это люди, которые сделают все, чтобы такие предсказания не исполнялись. Поэтому мы наняли Фессала.

Квинт стоит передо мной — молодой, высокий, белобрысый. Красивый настолько, что хочется ткнуть пальцем, чтобы точно знать: эта застывшая глупость действительно мой брат.

У нас один отец, но разные матери.

Квинт смотрит на меня сверху вниз — глаза у него цвета неба, еще того, влажного, с шумящим за стенами дома дождем, а волосы светлые, словно выжженные солнцем колосья...

— Брат, — говорит Квинт.

— Брат, — говорю я.

Нам с Квинтом передают факелы. Я смотрю на пламя, едва видимое в такой жаре, и не могу понять, зачем мне дали эту штуку. Потом перевожу взгляд дальше — и вспоминаю. Я должен поджечь дрова.

Квинт говорит:

— Брат, давай.

Я киваю. Знаю, Луций бы этого хотел. Чтобы я держался достойно. Чтобы все мы держались достойно. Факел в моей руке дымится и потрескивает. Сильно пахнет маслом и благовониями, шафраном и ладаном. Легкий дым факела перетекает неровно в небо.

Либитинарий смотрит на меня и ждет. Предельная кристальная ясность взора. Могильщик устал от жары, он хочет закончить с похоронами и уйти в тень, пить там прохладное вино, закусывая обугленными кусками лепешек... Ему нет никакого дела до моего брата.

Либитинарий ловит мой взгляд, некоторое время думает, что сказать, потом отводит глаза.

Я думаю: глупо умирать в такую жару. Так, брат?

Либитинарий прячет глаза и убирается с моего пути. А я наконец вспоминаю, что должен сделать. Я держу факел перед собой и иду. И ничего не остается — кроме этой жары, сквозь которую я шагаю, стараясь не выронить факел. Ничего, кроме этих смутных людей вокруг, которым все равно.

Один из глупых людей вдруг кричит, я вздрагиваю и поворачиваю голову. Глупый человек — бывший легионер, отслуживший свое, — надрывно кричит, затем выхватывает кинжал и закалывает себя у подножия дровяной пирамиды. Черная густая кровь медленно струится в наполненном жаром воздухе, капает на дрова. Смешно.

Достойный поступок, говорит кто-то. Я не вижу кто.

Кажется, этот глупый полноватый человек с клочьями редких волос вокруг лысины был с братом в Паннонии. Кажется, он

убивал маркоманов. А теперь закололся, чтобы последовать за бывшим командиром в загробные поля.

Его укладывают рядом с братом на поленницу.

Умирать глупо, думаю я. И поднимаю факел...

* * *

На мгновение я закрываю глаза и слышу железную поступь легионов. Солдатские калиги, выбивающие пыль из военных дорог. Тысячи «мулов Мария», топчущих италийскую, иберийскую, галлийскую, фракийскую и прочие чужие земли... Легионы. Мощь Рима. Величие власти.

Палящий зной.

Я открываю глаза и подношу факел к поленнице. Рваное, неровное пламя хватается зубами за политые маслом поленья, взбегает наверх, миг — и уже жертвенник охвачен пламенем. Оно ревет и шепчет, в треске выплевывает щепки и пепел и возносится в раскаленное небо Рима — пламя, почти невидимое в свете солнца...

Я молчу. Квинт молчит. Я вижу, как на лице младшего пляшут отсветы костра — костра, в котором сгорает то, что было некогда нашим братом.

Прощай, Луций.

В воздухе висит густой аромат вина, свернувшейся крови — она, дымящаяся, лилась на землю, и молока — оно лилось вслед за ней.

Кровь, вино и молоко — вот что любят боги. Поэтому плакальщицы, воя так, что у меня сворачивается кровь в жилах, принимают к погребальному костру и царапают себе щеки. Кровь брызжет из-под ногтей, рваные царапины, вырванные с корнем волосы, красные полосы на бледных лицах — на это смотрят сенаторы, пришедшие проводить в последний путь Луция Деметрия Целеста, трибуны, один консул и восемь консуляров, сотни разных квиристов. А зевак, пришедших на похороны, никто не считал.

Я же отчетливо слышу, как падают друг на друга золотые ауреи, сверкающая куча их растет и растет — похороны стоят тысячи и тысячи сестерциев. Восемьсот тысяч сестерциев, если быть точным. Похороны дороги так, что лучше вообще не умирать...

Слышишь меня, брат? Твои похороны стоят нам изрядной доли твоего наследства.

Фигура в белом саване лежит, как неживая — я вздрагиваю. Разве не Луций только что шествовал во главе своих похорон?. Я уже вижу, как языки пламени поднимаются выше, еще, еще. Достигли неба и выплюнули темной дымкой вверх. Самое настоящее сокращение расходов.

Фигура в пламени шевелится от жара.

Я смотрю.

Когда костер догорает, мы с Квинтом собираем обгорелые кости. Отмываем их в молоке до блеска и складываем на чистую ткань. Затем сворачиваем покрывало и вместе отжимаем досуха.

Бронзовый колумбарий — урна для праха в форме голубя — стоит с открытым ртом. Мы перекладываем туда кости брата, ссыпаем пепел, выгребая его горстями, потом несем урну в темную прохладу подземной гробницы...

В это время душа брата летит на крыльях голубя в царство Плутона.

Гробница Деметриев на Фламиниевой дороге окружена зарослями кипарисов. Здесь похоронены все наши предки. Здесь хорошо. Мы ставим урну на место — теперь Луций покоится рядом с отцом, дедом и прадедом Деметриями. Затем молимся и пьем — наконец-то пьем! — прохладное вино. Кружится голова.

Я смотрю на Квинта — я не видел его уже больше года, с тех пор как Август выслал младшего из Рима. Завтра Квинт уезжает. Он вернется обратно в Испанию, он офицер флота, командует триремой... Мы пьем еще.

Все закончилось. Мы похоронили Луция.

Неожиданно я чувствую голод.

* * *

Жара. Солнце печет так, словно хочет выплавить из камня самый величественный город на земле.

— Вода! Вода!

— Мясо! Жареное мясо!

Крики уличных торговцев. Я протягиваю денарий, мне вручают ломоть овсяного хлеба, на него — прямо с огня — плюхают

дымящуюся котлету. Ешь, дорогой. Мне кидают монету в один асс — сдачу. Она липкая от пота.

Я киваю, благодаря. Впиваюсь зубами в горячее, как кусок солнца, рубленое мясо. Брызжет сок, я жмурюсь. Котлеты — еда черни. Вкусная и простая. И никаких тебе лукулловых пиров...

Я жую, обжигая нёбо. Глотаю. Это хорошо. Чтобы почувствовать себя живым, нет ничего лучше горячей, черной от сажи, пережаренной котлеты на куске грубого ячменного хлеба. Пища рабов и «мулов». Хлебом из ячменя кормят животных в военном походе, а свинина — чуть ли не единственное дешевое мясо в Риме. И лучше всего готовят котлеты здесь, в тесноте Субуры.

Субура — крикливая улица, гам ее может оглушить с непривычки. Здесь всегда кипит жизнь. Даже в полутьме, в желтом свете уличных фонарей — я вижу вигила, который ходит и зажигает сальные свечи под стеклянными колпаками, — жизнь эта не прекращается ни на мгновение.

Я жую котлету и думаю: к плутоновой матери все.

Из дверей таверны выглядывает девушка в чересчур короткой тунике. Она ярко накрашена. Продажная «волчица» манит меня за собой. Что ж... Я киваю. Это тоже один из способов почувствовать себя достаточно живым. Может быть, даже самый лучший из способов.

Я иду за ней. До встречи с Божественным Августом у меня есть сегодняшний вечер.

«Луций, Луций», — думаю я, входя в душное нутро дешевой таверны. Мой умный старший брат. Мой странный старший брат. И зачем тебе только понадобилось умирать?

* * *

Гай Юлий Цезарь Август Октавиан, император и Отец Народа

Иногда я вспоминаю свою сестру. Вот как сейчас, когда меня вынесли на кресле в этот холодный сад, и горят светильники, и проклятый рассвет скоро наступит — соблюдайте режим, говорит доктор, вам уже не пятнадцать лет: ешьте по часам, не ешьте после заката и пейте только холодную воду. Возможно, он прав, этот

докторишка, этот мудрец, втайне презиравший меня, но дающий нужные советы. Мне уже семьдесят два... неужели так много? Сколько бы ни было, доктор не понимает главного.

Если бы холодная вода могла согреть меня, я бы пил только ее. Но сейчас, в этой холодной одинокой ночи — что мне вода? Что мне даже самое лучшее вино?

Одиночество. Такая забавная штука.

Почему, что бы ты в жизни ни делал, как бы ни бился, все равно в итоге ты оказываешься одиноко сидящим на террасе, а вокруг темень и ночь, и светильники горят, и вьются вокруг них мошки, и где-то там суется рабы и слуги, и вольноотпущенники, и Ливия, и... Плевать! Зачем мне, старику, обманывать себя? Итог все равно один — в один прекрасный момент ты оказываешься на террасе, а твои сыновья мертвы, мои мальчики мертвы, а дочери глупы и развратны... какая, боги, херня... Может, мне просто нужны сыновья и не нужны дочери? И вот я сижу в темном саду, одинокий старик, ожидая рассвета, словно рассвет может что-то изменить.

Мне семьдесят два, я видел смерть своих врагов, бедный Марк Антоний, мне было его жаль... Нет, не было. Он умер счастливым — вот чему я завидую. Он умер в объятиях Клеопатры. Тысячи идиотов согласились бы прожить такую жизнь, как у него, и закончить так же. А не сидеть в старости, ожидая конца — от переохладения. Когда кровь перестает греть? Зависть, вот что осталось. Моя зависть к Антонию. Зависть к Клеопатре. Любил ли я Антония? Любил, куда деваться... Нет, не любил. Я все ищу в себе способность испытывать настоящие чувства — и не нахожу ее. Мне семьдесят два, а я так и не научился любить.

Зато желать я научился. И обуздывать желания — тоже.

Завтра придет этот мальчик... как его? Где мой номенклатор, раб-напоминаатель, когда он нужен? Все приходится делать самому. Даже жить. Мальчики мои, мальчики. Я оставляю свою власть Тиберию — уродцу с дурными манерами, лучшего не нашлось — нет, не нашлось, измелечали люди, нет уже тех, что вставали рядом с Цезарем. С Антонием. Со мной, наконец.

Гай его зовут, этого мальчика. Гай Деметрий Целест, сын Луция, брат Луция и Квинта.

Иногда приходится казнить своих врагов. А иногда приходится выбирать из своих друзей достаточно богатого и не слишком дорогого сердцу, чтобы назвать его врагом Рима, казнить и раздать имущество казненного остальным друзьям. Это замечательно повышает их верность. Просто замечательно.

И, сделав так один раз и другой, ты понимаешь, что вокруг тебя не осталось друзей. Одни шакалы. Псы. И ослы. Как их еще назвать?

А потом приходит сын казненного тобой друга и говорит: я хочу быть легатом. Легко и просто — и чувство вины пересиливает. Тебе одновременно хочется и убить его, и наградить чем-нибудь повесомее, потому что ты когда-то лишил мальчика и наследства, и родителей.

Возможно, это и называется справедливость. Я не знаю. Я давно забыл. Где мой раб-напоминаатель, когда он так нужен?!

Сейчас я сижу в кресле и смотрю в ночной сад, одинокий, усталый и никому не нужный старик, переживший врагов и друзей, и пытаюсь вспомнить...

Справедливость — что это такое? Эй! — зову я в темноту террасы. Эй! Кто-нибудь помнит?..

* * *

Август шмыгает носом. Громко — так, что я вздрагиваю. Сопливый старый принцепс. Об этом весь город судачит: когда жарко, первый сенатор и Отец Народа страдает насморком, когда холодно — чем-то другим. Несмотря на храмы, посвященные Божественному Августу по всем провинциям, принцепс с легкостью напоминает, что он всего лишь человек.

— Пришел, значит, — говорит Август вместо приветствия. Божественное «шмыг» — и божественная сопля возвращается в божественные недра в глубине божественного носа. Август достает платок и сморкается. Я вижу багровые полосы на светлой ткани — кажется, что в платок принцепс высмаркивает свои божественные внутренности.

— Славься, Август! — Я поднимаю руку. Так приветствуют императоров и диктаторов. Логично, если учесть, что передо мной они все в одном лице.

Принцепс щурится. Бледное старческое лицо в пятнах старости.
— Ты упорен, Гай Деметрий Целест.

За стенами дома Августа на Палатинском холме шумит жизнь. Преторианцы стоят у входа, неподвижные, как статуи. Половина из них — германцы, светловолосые варвары. Все правильно. После кровавых десятилетий гражданской войны я бы тоже меньше всего доверял собственным соотечественникам.

— Зачем ты хотел встретиться со мной?

— Мой брат Луций...

— Мне не нравится иметь дело с твоими братьями, — говорит Август сварливо.

От него идет легкий запах разложения и лечебных мазей.

Можно подумать, мне нравится. Один оболтус, другой вообще умер... и как тут быть дальше?

— Мне тоже... особенно когда один из них умирает.

— Сочувствую твоему горю, сенатор, — говорит принцепс другим тоном. — Кстати, ты же недавно стал им? Позволь тебя поздравить.

— Спасибо, Август.

Вообще-то я стал сенатором полгода назад, но в возрасте принцепса такие сроки считаются «буквально вчера».

— Чего ты хочешь? — говорит Август.

— Отправьте меня в Германию, принцепс.

— Зачем? — Седые брови Августа едва заметно поднимаются: удивление. Морщины на лбу. Старческие глаза изучают меня. — Что там хорошего, в этой Германии? Варвары и коровы, коровы и варвары. Что ты там забыл, Гай Деметрий? А? Что тебе Германия?

— Я хочу быть легатом. Хочу разобраться, кто виноват в смерти Луция.

— Зачем? — Он поднимает седые брови.

— Не так уж часто у меня умирают братья.

Удар в больное место. Августу не повезло с близкими. Его сыновья, на которых он возлагал надежды, умерли, дочь — распутница, внучка — тоже. А он сам — трясущийся старик, проживший на свете семьдесят два года... и, видимо, собирающийся прожить еще столько же.

Кто останется после него? Тиберий, нелюбимый племянник. И Германик — нелюбимый племянник нелюбимого племянника. Родные сыновья Августа не дожили до сегодняшнего дня. А единственного внука он сослал на отдаленный греческий остров. И придет время, того придушит какой-нибудь честолюбивый центурион... Так часто бывает.

Так кому оставить империю? Хороший вопрос. Поразительно хороший.

Некоторое время Август стоит без движения, размышляет.

— Годичная служба в качестве младшего трибуна в Мавританском легионе. Это весь твой военный опыт?

— Да, принцепс.

Говорят, Август знает и помнит все. Теперь он не даст мне назначения. Хотя... есть еще воля богов.

Август молчит. Старческие глаза слезятся.

— Ты хоть понимаешь, во что ввязываешься? Тебе будет трудно, — говорит он. — Тебя будут ненавидеть за твое положение, за мою доброту к тебе и презирать за твою неопытность. Ты собираешься положить голову в пасть льву и надеешься, что будешь хорошо при этом выглядеть.

— Я надеюсь, что льва хорошо перед этим покормили.

Дерзость. Август кривит губы. Темные старческие пятна идут по его лбу, щекам; на нижней губе — смазанная желтой мазью язвочка. Я не могу оторвать от нее глаз. Возможно, принцепс просто выжил из ума, думаю я. Со стариками это бывает... А со стариками, полвека держащими власть в Риме, тем более.

— Ты просто надеешься, Гай? Твой брат бы заранее об этом позаботился.

На мгновение я чувствую себя так, словно из-под ног у меня ушла земля. Землетрясение.

— У меня...

— А у тебя не было времени, — прерывает Август. — Понимаю. А ты не думал, Гай: может быть, даже самый сытый лев захочет убить тебя — скажем, для развлечения?

Ливийская пустыня. Красный закат, черный край земли, словно запекшаяся на лезвии ножа кровь. «Смотри, Гай».

— Думаю... лев в своем праве. Что тут скажешь.

— Ничего, — соглашается принцепс. — Но сказано хорошо.

В саду журчит фонтан и жужжат пчелы. Римская семейная идиллия. Особенно если забыть, что семьи у принцепса как таковой нет.

— Привилегия льва — брать, не спрашивая, — говорит Август задумчиво. — Это про нас, про Рим. Хорошо. Что ты знаешь о Германии, мальчик?

— Там холодно.

Август отворачивается от меня, шмыгает носом. Из перистиля — внутреннего сада дома — тянет запахом нагретой солнцем земли. Я жду.

— Разница между тобой и братьями очень проста, — говорит Август наконец. — Старший брат накормил бы льва заранее — и до отвала. Младший, Квинт, дурачок счастливый, положился бы на удачу и сунул голову. Боюсь, о возможности покормить льва он бы даже не вспомнил... И лев бы оказался сытым, как ни смешно. Или просто не захотел бы жрать... не знаю, его с утра бы тошнило или еще как... или он не ест высоких блондинов до завтрака... Но ты, Гай... — Он медлит. — Ты — сложный случай. Ты и льва не покормил, и голову суешь, не зная, голодный зверь или нет. Как это, по-твоему, называется?

Август молчит, смотрит на меня — странно, точно жалеет.

— В общем, не думаю, что это хорошая идея, мальчик. В Германии мне нужен мир, а не месть.

— Месть не в моих привычках.

— А что в твоих? — спрашивает принцепс с искренним интересом.

Ответ приготовлен заранее. Прав Луций: нужно накормить львов до отвала.

— Справедливость... и следование воле богов, — отвечаю я.

В следующее мгновение за моей спиной раздается хлопанье крыльев. Я оборачиваюсь — в проеме атриума, выходящем в сад, сплошное мельтешение. Крылья, крылья. Август тоже смотрит, подняв седые брови. Над домом принцепса пролетают птицы, много птиц. Белые, серые, пестрые. Это знак, посланный Юпитером... Ну, так должен подумать принцепс.

— Однако, — говорит Август задумчиво. — Как интересно.

...Знак, посланный Юпитером — и заранее оплаченный мной. Всего лишь еще пара тысяч золотых монет с профилем молодого человека в венке. Теперь Август должен убедить Августа. Смешно.

Несколько оборванцев из Субуры просто жаждали мне помочь, а птиц найти вообще не проблема. Чудеса нужно планировать — это говорил еще Цезарь.

— Одного не пойму, мальчик, — говорит принцепс после некоторого молчания. — Почему ты выбрал голубей? Орлы были бы гораздо... э-э, эффектнее. И ближе к военной теме. Впрочем... — Принцепс некоторое время молчит, глядя на меня. Глаза у него светлые и холодные. Я чувствую, как у меня застывает кровь в жилах. — Впрочем, это твое дело. Ладно, считай, твое знамение меня убедило. С сегодняшнего дня ты — легат Семнадцатого легиона. Отправляйся в Германию, легат. Удачи, Гай Деметрий Целест. Удачи.

Август подходит к столу, берет перо. Сморщенная, почти прозрачная кисть с синими венами. Принцепс пишет. Со скрипом бежит стеклянное острие по пергаменту — выводит буквы. Кривые и крупные. Принцепс пишет, не разделяя слов и не делая переносов.

— Да... — Август останавливает перо, поднимает голову, словно вспомнил какую-то мелочь. — Совсем забыл... Твоего брата подготавливали в том, что он берет взятки у варваров.

Я молчу. «Смотри, Гай». Что-о?!

— Что мы в действительности знаем о самых близких нам людях? — говорит Август с издевкой. Выводит подпись. Скрип, скрип. Ставит перо в чернильницу и протягивает мне пергамент...

Я вздрагиваю.

На тыльной стороне его ладони — чернильное пятно, похожее на кузнечика.

ГЛАВА 2

ГРАНИЦА МИРА

Аппиева дорога окружена зарослями акаций, пахнущих так, словно это их последний день и ничего нельзя оставлять на завтра. Я морщусь. Сердце тревожно стучит — как тогда, перед визитом к принцепсу. Акации правы. Мы слишком многое оставляем на потом и слишком мало живем здесь и сейчас, а когда завтра наступит, мы уже мертвы, и то, что не прожито и не прочувствовано вчера, не будет нами прожито и прочувствовано никогда... И канет в океан забвения.

Шестой час. Я приказываю вознице подождать. Повозка останавливается, мулы, украшенные цветами — в честь Меркурия, повелителя перекрестков, — мотают лохматыми головами, отгоняя мух. Запах олив плывет над дорогой, словно тонкая, едва заметная серебристая лента. Я вижу в отдалении, за плетеной оградой, серебристые кроны оливковых деревьев, увешанных мелкими зелеными плодами. Лучшее масло в Рим привозят из Испании, но местное, итальянское, тоже неплохое. Рядом с оливой неторопливо возится загоревший дочерна раб — почти голый, в одной набедренной повязке. У его ног стоит высокая плетеная корзина. Раб собирает оливки. Не торопясь, обрывает по одной — чтобы не повредить плотную зеленую кожуру — и бросает в корзину.

Это чье-то владение. Может быть, кого-то из моих многочисленных римских знакомых. А может быть, чем Тифон не шутит, и самого Божественного Августа...

Дорогу недавно обновляли, поэтому серые камни соседствуют с почти черными свежими, делая ее пятнистой, как человеческая жизнь.

Я еще немного стою так, чувствуя, как затылок нагревается под итальянским солнцем. Словно горячая ладонь лежит на нем. Я прощаюсь. Это чувство возникает перед дорогой — ты ждешь нового, но в то же время у тебя в животе — комок снега, сквозь который процеживают вино, чтобы охладить его перед трапезой. И красная тонкая струйка льется, протаявая розоватые ходы в снеговой массе. Запах вина. В триклинии шумят люди.

Еще маленьким я любил зайти на кухню — посмотреть, как кухонные рабы готовят обед.

Это было давно. Так давно, как никакому снегу не пролежать. Разве что на вершине Альп...

— Господин, надо ехать. Иначе мы не успеем в гостиницу до темноты.

Я киваю. Только очень смелый (или очень глупый) путник будет ночевать в открытом поле — разбойников еще никто не отменял. Впрочем, сейчас они стали потише — спасибо Августу. Гражданская война закончилась много лет назад, разоренная некогда Италия снова набирает вес, нагуливает жир, сброшенный (иногда вместе с мясом и кровью) в те смутные времена, когда Август и Марк Антоний делили наследство Республики.

И кровавые псы шли по Италии, глядя в списки проскрипций. Пока однажды в них не оказалось имя моего отца...

Молчаливые глумящиеся люди в туниках вольноотпущенников вошли в наш дом, вонзили в Луция Деметрия Целеста мечи, бросили его тело в саду, изнасиловали рабынь, переломали мебель и ушли — в жутковатой тишине всеобщего молчания. Никто не посмел поднять голос.

Благородный Август, как обычно, благороден.

Я молчу. Ветерок обдувает сзади мою шею. Возможно, когда-нибудь я вспомню, как мечтал вонзить меч в тощее тело Августа, как сделали когда-то убийцы Гая Юлия. Плащ с алым подбоем, закрывающий лицо, — и клинок, входящий в плотную белую ткань — легко, почти без сопротивления. Коли, коли, коли! — учит легионеров центурион. Не маши мечом, коли — так надежней.

— Господин? Господин Гай, надо ехать, — говорит старик Тарквиний.

Он стареет, особенно заметно в последний год. Думаю, у него почти не осталось зубов. Дорога тяжела для него гораздо больше, чем для меня — молодого, но он раб, а рабу не положено жаловаться.

Надо ехать. Я киваю. Нужно до семи добраться до гостиницы и пробыть там, в тени и прохладе, до десяти часов. Три смертельных часа — убийственная жара, только плохой хозяин выгонит в это время раба на работу. Наступает мертвый сезон — в августе в это время скот будет падать от жары; сейчас июльские календы, так что еще можно дышать. Но путешествовать в это время — увольте.

От раскаленных камней дороги тянет жаром, как от кухонной печи. Воздух плавится и изгибается, словно танцовщица, исполняющая нуди-пантомиму. Вульгарное зрелище. Мне нравится.

Я возвращаюсь к повозке. Мулы дергают ушами и стоят, лениво опустив морды. Возница в широкополой шляпе растекся по сиденью так, словно в спине у него нет костей.

Один из рабов подает мне руку. Я игнорирую и сам забираюсь внутрь — я не старик, чтобы меня водили под руки. Не зря над такими квиритами издевался Катон Старший — нет ничего смешнее здорового человека, что ведет себя как больной. Потомки Ромула — завоеватели и господа половины мира! И под руки? Галлам на смех.

Я сажусь на подушки. Откидываюсь назад. Тарквиний командует: поехали! Раб без хребта в спине вдруг выпрямляется, взмахивает кнутом... щелк! Вперед, в Германию. К моей судьбе.

За окнами повозки тянется тонкий серебристый аромат оливковых рощ. Прощай, Италия. Если судьбе будет угодно, мы еще увидимся.

* * *

Здравствуй, Германия. Мы подъезжаем к мосту, связывающему берега Рения. Я вижу правильно устроенные бревенчатые укрепления, высокий вал, который уже начал местами зарастать травой (недосмотр!), деревянный частокол и часовых на башенках в коротких плащах. Загорается утро. Еще засветло мы выехали из гостиницы в Могунтиакуме.

Я вижу надпись на каменном постаменте: «Провинция Германия, первый год Луция Валерия Мессалы Волеза и Гнея Корнелия Цинны Магнуса». Это консулы того времени, когда провинция была создана официально.

Я зеваю. От недосыпа болят глаза, в животе легкая слабость — ком снега, протаиваемый красным вином. Фалернское. Вчера я думал, что мы никогда не доедем. Прошло уже около недели, как я выехал из Рима — и отстоял посвящение в храме Януса. Ворота храма были открыты. Обычное дело. Их закрывают только в мирное время. Это случается настолько редко, что многие помнят лишь один год в консульство Августа...

Гусиная кровь и кровь быка застыли на моих щеках и лбу, стянули кожу. Я легат.

Я? Легат? Будь жив Луций, он бы оценил юмор ситуации.

Ворота еще закрыты. Я сижу, откинувшись на сиденье, зависнув на границе дремы и бодрствования. Наш маленький караван останавливается на границе между цивилизацией и варварством. Деревянные ворота, окованные позеленевшей бронзой, потемнели от времени — возможно, они стоят здесь с тех пор, как Друз Германик готовился к вторжению за Рений.

Один из рабов идет и стучит в деревянное било, подвешенное у ворот.

Спят, что ли? Долго не открывают. Наконец из боковой двери появляется декурион, заспанный, с опухшей рожей — судя по бледно-зеленому цвету туники, ауксиларий, из вспомогательной когорты. Широкий, белобрысый. Галл? Возможно. Он идет ко мне, едва волоча ноги. В прозрачном утреннем воздухе далеко разносится щебет птиц и далекое мычание коров, которых гонят на выпас.

Кажется, проходит год. Я дремлю, декурион идет...

— Куда следуете? — спрашивает декурион на плохой латыни.

Он даже не надел панцирь, ладно хоть подпоясался... В глазах у него скука, а туника съехала на левое плечо. Ткань плохо прокрашена, разводы, швы взлохмачены.

— Как стоишь, — говорю я равнодушно, — перед легатом?

В глазах декуриона появляется огонек.

Когда-то Друз Германик выстроил вдоль всего римского берега Рения цепь укреплений и навел повсюду мосты. Друз вообще основательно подготовился к захвату Германии — настоящий полководец. Вдоль линии крепостей по его приказу построили военную дорогу. Теперь в самое краткое время войска могли прибыть туда, где требовалась помощь. С тех пор прошло пятнадцать лет. Германцы не стали спокойнее, я все чаще слышу это слово — фери. То есть дикари, варвары, которым никогда не принять римскую культуру и не войти в состав Республики... вернее, владений Рима.

Думаю, это преувеличение. Квинтилий Вар уже второй год доказывает, что германцы вполне могут жить по «римскому праву» — и следовать законам. Мы не трогаем их священные рощи, не трогаем их вождей. Мы требуем немногого: налоги и рекруты. Германские вспомогательные когорты служат на рубежах Рима. У самого Августа две тысячи германских телохранителей — в составе преторианских когорт.

Все это я обдумывал во время долгого пути через Галлию и Бельгику. Сейчас же я смотрю на вальяжного декуриона вспомогательной когорты и говорю:

— Как стоишь перед легатом?

Декурион выпрямляется — скорее, от удивления. В глазах мелькает огонек, тут же гаснет. Затем он видит мою легатскую перевязь: белые шнуры, золотые кисточки — она висит за моей спиной на стене повозки. И тут в голове декуриона что-то щелкает. Как щелкают игральные кости, когда на них выпадает шесть, шесть и шесть (не самое лучшее сочетание, но тоже ничего).

— Легат? — говорит он. Светлые брови поднимаются. — Легат Семнадцатого легиона? — уточняет он. Кулак к сердцу, и затем раскрытая ладонь летит вперед. Он вскидывает руку — воинское приветствие.

— Гай Деметрий Целест? — говорит он почтительно. — Вас тут третий день ждут.

И тут приходит моя очередь удивляться.

* * *

— Вас тут уже давно ждут, — повторяет декурион.

— Кто?

— Разрешите? — Он поворачивает голову и что-то кричит солдату, выглянувшему из башенки у ворот, по-галльски. Потом еще немного кричит и поворачивается ко мне.

Солдат кивает и исчезает в дверях. Декурион вытягивается.

— Вольно, — говорю я.

Декурион делает вольно. На его плохо выбритом лице, рассеченном морщинами на сектора, как круг в геометрической задаче, отражена вся история Галлии. Когда-то дикие галлы едва не взяли Рим, потом еще раз — уже взяли, затем их окончательно покорил Гай Юлий Цезарь. Сейчас галлы — наши цивилизованные подданные. Из них набирают солдат вспомогательных когорт.

Этот охраняет берег Рения. Раздолбай.

Через короткое время из того же проема, откуда вышел декурион, появляется чудо. Оно так же отличается от заспанного декуриона, как Рим отличается от зачуханной галльской деревушки.

Я вижу начищенный панцирь, украшенный фалерами. Наград столько, что они создают второй защитный слой на его груди. Бронзовые браслеты на руках блестят. Поножи сияют начищенным серебром. Туника под панцирем — темно-синяя, такого же цвета поперечный гребень на шлеме: центурион. Венок «За спасение товарища в бою» дополняет картину. Высохшие дубовые листья обрамляют сияющий шлем. Ровный блеск глаз. Спокойное, выдубленное непогодой лицо. Центурион чеканным шагом идет ко мне. Резко и четко салютует.

— Легат! Тит Волтумий, старший центурион. Первый манипул второй когорты Семнадцатого легиона. Ждали вашего прибытия, легат. Со мной две декурии Семнадцатого Победоносного.

Вытягивается. Потрясающе! Настоящий солдат, не то что этот размякший декурион-ауксиларий.

— Вольно, центурион, — говорю я. — Что вы здесь делаете?

— Мне приказано проводить вас в расположение легиона. И обеспечить вашу безопасность.

— От кого? — спрашиваю я, хотя уже знаю ответ.

— От проклятых германцев. От, мать их так, германцев, легат.

Едем по Германии. Пейзаж уныл и однообразен: мокрая зелень, туман, из которого тут и там торчат стволы деревьев. Это сосны, они уродливы. Иногда встречаются маленькие деревеньки — они жалкие, дома-землянки. Люди в шкурах, заросшие и грубые, смотрят с каким-то неясным вызовом. Фери, снова вспоминаю я слово, выбранное Августом, — варвары, которых невозможно приручить, сделать цивилизованными. Мужчины-германцы все большого роста, крепкие и с наглыми глазами. В отличие от того, что я представлял по рассказам, бороды далеко не у всех, многие лица бреют.

По дороге останавливаемся в мансио — путевых станциях. Пока мулов кормят и поят, солдаты Волтумия едят и пьют — с виду разница невелика, разве что мулы ведут себя гораздо приличнее. Легионеры ржут без перерыва, подкалывают друг друга, громко кричат и ругаются. Центурион им не мешает, только иногда появляется — и тогда все затихает. Иногда Тит Волтумий устраивает учения. Встать, развернуться, поднять щиты. «Тестудо!» — орет он. Щиты с грохотом смыкаются в черепаху. Я смотрю.

Двигаемся дальше. Рогатки возвышаются над головами легионеров, как знамена. Когда идет дождь, солдаты натягивают пенулы, шерстяные плащи с капюшонами, шагают мокрые — шлемы, подвешенные на груди, блестят мокрым железом. Тит Волтумий топает вместе со всеми.

Шлепанье калиг по лужам.

В здешних местах дожди — обычное дело. Военная дорога, ведущая в Ализон, местами вытравлена водой до камней основы, поэтому гвозди на подошвах начинают звонко клацать по голому булыжнику. Клац. Клац. Клац!

Временами я думаю, что это происходит не со мной. Что это Луций, мой старший брат, едет в легион, чтобы сражаться с варварами. Что пламя, которое я вижу, когда закрываю глаза, пламя, сдирающее крышу с огромного здания, мне привиделось. Чернота вечера разорвана красным. Рев такой, что хочется закрыть уши. Огненные искры взлетают в небо. Пожар! Какие-то люди бегут с ведрами, пытаются заливать огонь. Мне хочется проснуться,

но я не могу. Я чувствую, как жар опалает мне лицо и ресницы. Я стою, и ветер, дергающий пламя за волосы, бросает мне в глаза клочья сажки.

Я просыпаюсь. Мерно скрипит повозка, сопит Тарквиний, прислонившись к стене, лицо его выглядит помятым, как древний пергамент, завитки бороды редкие и примяты. Старый раб Тарквиний был со мной с самого детства, значит, он должен помнить тот пожар. А я не помню. Я даже толком не помню, что именно горело — чей дом? — но помню бегущих людей, победно ревущее пламя... и рыжую кошку, кричащую с высоты чердака. Она не успела выбраться, а огонь вот-вот собирался оторвать крышу.

Иногда я чувствую себя той самой кошкой.

Я закрываю глаза. Повозка покачивается и скрипит на ходу. Глухо стучат солдатские калиги. Капли дождя барабанят по крыше над моей головой. Сырость такая, что, кажется, воздух можно пить. Он прохладный, медленно стекает по глотке и собирается в животе.

Стоит мне закрыть глаза, я вижу падающие балки, стены, разрушающиеся под своим весом. Огонь ревет, словно отец богов Кронос, проедающий себе путь сквозь время и собственных детей. Грохот. Я вздрагиваю. Последним усилием огонь, пляшущий рыжий великан — огромный непристойный мим, обнаженный в своем пламени, вздымает над головой балку и швыряет в черное небо. Она летит. Она совсем рядом. В последний момент я поднимаю голову и вижу, как кусок тлеющего по краям неба — красные угольки вспыхивают — падает на меня сверху...

Все. Темнота. И боль.

Я просыпаюсь. Тарквиний напротив меня совсем сполз с сиденья, из приоткрытого рта — несколько оставшихся зубов — свисает ниточка слюны. Он жалок. И трогателен, что странно. Именно он тогда, во время пожара... нет, не он.

Сырость. Я ежусь и плотнее натягиваю на себя шерстяное одеяло.

Воспоминания спутаны и дрожат, как отражение в темной воде. Вот бежит водомерка, оставляя за собой тонкие круги. Когда я открываю глаза, все становится белым. Потолок, свет вокруг,

солнечное пятно на одеяле и на стене. Кувшин, стоящий возле кровати, на которой я лежу... Мне нравится его изогнутый глиняный бок. Бронзовая чашка... нет. Кувшин глиняный, правильно. А чашка — стеклянная. Из двери тянет свежестью, я чувствую дуновение ветерка на своем лице...

Но ничего не слышу. Меня пробирает озноб. Это словно холодная вода, в которую тебя окунают с головой. Я оглох. Заходит раб, видит, что я не сплю, и спешит скорее дать воды, наклоняет кувшин. Я смотрю, как льется прозрачная струя, дергается иногда и дрожит.

Беззвучно.

Мои руки забинтованы, запах вонючей желтой мази. Ожоги...

Идет июль.

Раб наливает воды и дает выпить. У него мягкие незагорелые руки домашнего раба. Чашка касается моих губ, гладкий край — я начинаю пить. Прохладная полутвердая вода с привкусом кипрского стекла. Она льется внутрь, заполняет пустоту и сухость, успокаивает меня. Я выглатываю воду — жадно, как теленок; кадык ходит вверх-вниз, словно рукоять насоса, которым качают воду вигилы — «бодрствующие», пожарные. Откидываюсь на подушки. И вдруг понимаю: я не слышал ничего, когда пил.

Не слышал стука, когда кувшин наклонялся и задевал стеклянный край чашки. Не слышал плеска льющейся воды, когда струя вздрагивала и наполняла чашку... Не слышал удара собственных зубов о край.

Я оглох. И тогда я закричал на раба — не слыша сам себя, не слыша ничего, кроме вот этого рокота внутри, нарастающего давления. Раб поднял глаза — синие — и выронил кувшин.

Он медленно падает. Я смыкаю веки, слышу, как барабанят капли по крыше повозки, — и вижу падающий кувшин. Воздух почти белый, пронизан солнечным светом. На боку кувшина — геометрический узор, я вижу насечки крест-накрест, с застывшей глиной по краям бороздок. Кувшин падает целую вечность...

Пока он падает, я открываю глаза и моргаю, веки слиплись. Дождь перестал, только с крыши повозки срываются отдельные капли, иногда — целые потоки капель. Топот солдатских калиг,

шлепанье по мокрым камням. Военная дорога ведет от границы Белгики, от Могунтиакума, главной военной базы, тянется по просторам Германии, а дальше... дальше — город Ализон, резиденция Вара, и глухая варварская глушь, там стоят летним лагерем три германских легиона. В том числе Семнадцатый Морской.

Зябко. Сыро. Я кутаюсь в плащ, выглядываю из окна — мокрые камни, на обочине блестят лужи, слышу отдаленный смех и болтовню — легионеры развлекаются на ходу. Слышу чей-то резковатый насмешливый голос, опять хохот — кто-то взял на себя труд дать «мулам» если не хлеба, то хотя бы зрелищ. Какой молодец.

Тарквиний напротив меня совсем сполз на сиденье, глаза закрыты, старческая шея обнажена. Остальные рабы сидят в задней части повозки — только старику позволено ехать в комфорте.

Катон Старший писал: квирит, избавься от лишнего. Продай излишки зерна, масла; продай вино, что сделали твои рабы... Продай старого раба. Марк Порций Катон Старший — пример для настоящего римлянина. Марк Порций Катон Старший добродетелен и умерен, он бы продал Тарквиния давным-давно — когда у того только начали выпадать зубы. И плевать, что старик был со мной с детства — это все ерунда по сравнению с настоящей римской умеренностью. Старый раб — лишнее имущество, обременение, роскошь, а не что-то другое.

Воспоминания — тоже лишняя роскошь, по Катону Старшему. Впрочем, что-то подобное сейчас начинает говорить принцепс...

Дорога идет в окружении сырой зелени, между склонов, поросших вереском — я вижу фиолетово-розовые мелкие цветки, целый лиловый ковер, выставивший землю от обочины до леса. Иногда вижу пашни — они словно врезаны между лесом и клиньями болот. Камыш качается под ветром. В зеленовато-бурых, заросших ряской озерцах плавают лягушки — вот одна, подергивая лапами, срывается с листа и, разгребая лапками ряску, уходит в глубину. Кажется, ее спугнул скрип колес и хохот легионеров.

Выходит солнце. Звучит команда — я узнаю хриловатый голос Тита Волтумия, старшего центуриона, — и легионеры начинают петь. Это простая, веселая и весьма похабная песня. Про то, как по Галлии, по Галлии идем мы... и так далее. И что-то там про

несчастных девушек, которых всегда готов приласкать и пожалеть отзывчивый легионер. А припев солдаты Волтумия орут так, что в окрестных деревеньках оповещаются все девушки, желающие стать отзывчивыми и несчастными. Запевает тот неунывающий тип, что балагурил всю дорогу. Не то чтобы он пел как соловей, чаще он «дает жара» мимо мелодии, но всегда задорно и с душой. Большого от запевалы и не требуется.

Солнце вышло — оно блеклое и плохо умытое, но лужи на дороге блестят.

Изредка мы видим знатных варваров-германцев. Они едут верхом — рослые, длинноволосые блондины, иногда рыжие, — и от их вида словно веет: «Отвали». Или даже: «Совсем отвали». Как-то в этом я совершенно не сомневаюсь. Чудовищно светлые глаза. Германцы в кожаных штанах, в рубахах с длинными рукавами — иногда ярких, но чаще цвета некрашеного полотна. Кроме длинных копий, другого оружия не видно. «Фрамеи», — поясняет Тит Волтумий. Чтобы заслужить право носить оружие, германские юноши должны пройти испытание — на мужество, силу и сноровку. Мечей, кстати, почти ни у кого нет.

Ночуем на постоялом дворе. Почтовая служба налажена уже и в Германии, хотя по сравнению с Галлией — все как-то местечково и мелко. Станцию охраняют ауксиларии-галлы и несколько германцев. Когда я выхожу из повозки, я снова слышу того балагура из легионеров. И наконец могу его разглядеть. Высокий, ростом на голову выше Волтумия, очень крепкий, лет тридцати — почти ветеран, судя по возрасту. Имя легионера — Секст, но все называют его Виктор, то есть Победитель, и при этом посмеиваются. Интересно почему? Я не понимаю.

Победитель — кого и чего? И почему в этом всегда чувствуется подвох?

Тит Волтумий стоит, широко расставив ноги, склонив голову набок, как делают большие пастушеские собаки. Пасет свое стадо. Иногда мне кажется, что почти все в отряде происходит без его прямого участия. Тит большую часть времени молчит, взгляд внимательный, а «мулы» точно повинуются его мысленным командам. И лишь в особых случаях центурион роняет пару слов. Их сразу

подхватывает опцион, заместитель, и тогда уже легионеры начинают бегать как ошпаренные.

Размещаемся на ночевку.

Засветло трогаемся. Управитель станции — императорский вольноотпущенник — предупреждает, что в окрестностях города бродят шайки германцев и галлы, дезертировавшие из вспомогательной когорты, стоящей в Ализоне. Пару дней назад они разграбили и сожгли деревню германцев-марсов.

— Будьте осторожнее, лучше добраться до темноты, — говорит управитель.

Я киваю.

На очередном мильном камне я читаю, что до Ализона осталось всего двадцать миль. Немного — по сравнению с тем, сколько мы уже проехали и прошли. Половина дневного перехода легионеров.

— Шагом марш! — приказывает Тит Волтумий. — Подтянись, сукины дети!

В Ализоне они отдохнут. Легионеры повеселели. Победитель Секст сыплет шутками и, судя по характеру смеха вокруг него, рассказывает очередную похабную историю.

Тит Волтумий шагает впереди. Синий гребень его шлема возвышается над колонной солдат. Я с удивлением вспоминаю, что ни разу не видел в руках Тита жезла из виноградной лозы — символа власти центуриона. Чудовищный авторитет Волтумия среди подчиненных должен на чем-то держаться? Он что, даже солдат не бьет?

Навстречу нам едет всадник. Это гонец-фракиец с важными бумагами. Его непокрытая голова светлым пятном выделяется на фоне сырой зелени. Я слышу щебет птиц. Воробьи. Гонец обменивается со мной приветствиями, склоняет голову.

— Легат, — говорит он с резким акцентом.

Впереди звучит команда. Колонна останавливается, легионеры падают прямо на дорогу. Отдых. К нам подходит Тит Волтумий.

— Центурион, — кивает гонец.

Узнаем новости. Гонец послан из лагеря пропретора Вара, был проездом в Ализоне. Фракиец подтверждает слухи о галльских дезертирах — они разграбили пару деревень в окрестностях города, убили торговца стеклом из Капуи, ехавшего домой. Римские

власти выслали отряд для их поисков и поимки, но пока галлы ускользают от погони.

— Спасибо, — говорю я. — Счастливой дороги. Да помогут тебе боги.

Мы трогаемся.

Мы все дальше.

Примерно через час дорогу перебегают заяц. Легионеры свистят ему вслед. Серый нагло петляет у нас на глазах, пока не скрывается в роще недалеко от дороги. Ветви деревьев увешаны ленточками и амулетами. Один из легионеров (кажется, его зовут Марций) порывается было пойти туда, но Тит Волтумий резко приказывает ему вернуться в строй. Я выпрыгиваю из повозки, иду рядом с мулами, качающими головами. От долгой дороги ноги занемели и двигаются с трудом.

Останавливаюсь. Центурион идет ко мне, пропуская легионеров мимо себя.

— Это священная роща германцев, — поясняет он. — Лучший способ покончить с жизнью — со всеми нашими жизнями — это подойти к этим деревьям.

Я киваю. Мы некоторое время стоим, разглядывая рощу. Она почти ничем не отличается от леса, что тянулся вдоль дороги прежде. Разве что здесь другие деревья — в основном бук и ясень, сосен почти нет. На ветках деревьев — кривых, старых, с корой толстой и сморщенной, как кожа титанов, — качаются от ветра колокольчики (динь, динь) и десятки цветных лент и амулетов.

— Кому она посвящена? — говорю я.

Повозка уже грохочет дальше по дороге, замыкающие караван два легионера — караул — проходят мимо нас. Через некоторое время один из них оглядывается. Мы с Волтумием остаемся одни. Центурион невозмутим. Солнечный свет лежит на траве и листьях, легкий ветерок пробегает по их верхушкам, как волна. Шелест крон напоминает голос, шепчущий что-то — свою германскую тайну, может быть. Где-то высоко над нами летают птицы.

Тит Волтумий говорит:

— Тивазу, думаю.

— Кому? — О таком божестве я не слышал.

Некоторое время он размышляет.

— Местному Юпитеру, наверное, легат. Не знаю, как объяснить лучше. Я солдат, а не жрец. Тиваз — у него молнии.

Я киваю. Логика — это прекрасно. Любой бог, у которого есть молнии, считается Юпитером.

— Что ты думаешь о моем брате? — спрашиваю внезапно.

Долгая пауза. В гудении насекомых слышится некоторое умиротворяющее раздражение.

— Легат? — Тит смотрит на меня.

— Центурион, — говорю я. — Не делайте вид, что не понимаете, о чем я. Мой брат мертв. Я хочу знать, кто это сделал, — и я узнаю. Клянусь Юпитером и духами предков!

— Легат. — Тит Волтумий кивает. Лицо спокойное и непроницаемое. В уголках глаз — морщинки.

— Сколько ты служишь в Семнадцатом, Тит?

— Шесть лет.

— То есть...

— Да, — говорит он. — Я перевелся в Семнадцатый еще до вашего брата.

Стрекот кузнечиков. Луций, Луций. Ладонь, накрывающая... смотри, поймал, Гай! Смотри.

Я хочу спросить, кто виноват в смерти Луция и брал ли он у варваров проклятые приношения, но вместо этого говорю:

— Какой он был командир?

Вдалеке грохочет повозка, и идут походным шагом легионеры. Здесь с нами остается тишина. Голубое небо над головами высокое и прозрачное, как эмаль на коринфской мозаике.

— Хороший, — говорит Тит Волтумий. — Даже очень хороший. Один из лучших командиров на моей памяти. А я повидал всяких уро... простите, легат. Можем мы пойти? Не хочу оставлять ребят без присмотра.

— Он дарил воинам подарки?

Брови Волтумия изгибаются.

— Нет, легат. Никогда такого не слышал. Он не подкупал воинов, если вы об этом. Но он был... настоящим командиром. С таким идти в бой страшно и весело.

Я киваю. Это о моем брате. Луций, рожденный для великой судьбы. Думаю, примерно таким человеком был Цезарь, победитель Галлии, триумфатор, сокрушивший Республику, — командир, за которым хочется идти хоть в Преисподнюю.

— Простите, легат. Могу я говорить прямо?

Я едва сдерживаю улыбку. Теперь понятно, почему Тита Волтумия, третьего по рангу среди центурионов Семнадцатого, отправили меня встречать — во главе всего лишь горстки солдат. Обычный конвой. Такую задачу обычно поручают командиру последней центурии последней когорты — самому младшему в легионе...

Тит — прямой и честный. Думаю, начальство его не слишком любит.

— Да, центурион. Я даже настаиваю на этом.

Тит Волтумий смотрит на меня в упор. Глаза его от солнца кажутся ярко-золотыми.

— Вы уверены, что справитесь?

Прекрасно. Вот и прозвучало то, о чем я боялся спросить сам себя. Молодец, Тит Волтумий. Если мне суждено стать настоящим легатом, ты будешь моим лучшим центурионом.

— Я надеюсь, Тит. По крайней мере, я сделаю все возможное.

— Вашего брата уважали, легат. В походах он спал на голой земле, как простой «мул». Когда становилось трудно и ребята падали духом, он отказывался от коня и шел вместе с нами на марше. У нашего легиона всегда хватало припасов. Он всегда был прост и в то же время всегда был выше и знал больше любого из нас. Он был настоящим командир.

Тит Волтумий замолкает. Ну же, договаривай, центурион!

— Вам будет... трудно. Особенно потому что вы — его брат.

Спасибо за откровенность, Тит. Кажется, я начинаю понимать, во что ввязался...

— Это все, центурион? — Ветер шевелит волосы у меня на виске и лбу.

— Да, легат. Нет, легат. Еще одно: я сожалею о смерти вашего брата. Если бы у меня был такой брат, я ни за что не хотел бы его потерять.

На мгновение земля уходит у меня из-под ног. Возвращается. Я снова стою на обочине военной дороги, передо мной —

священная роща варваров, а рядом — центурион, который говорит только правду. И тут я вспоминаю о словах Августа: «... Брал взятки у варваров...» Проклятье. Мало мне одного Квинта — оболтуса, которого принцепс личным приказом выслал из Рима!

— А если бы твой брат оказался вором или продажным человеком? — говорю я. — Убийцей или того хуже — изменником?

Тит Волтумий думает, вертикальная морщина прорезает лоб. Долго думает. Потом говорит:

— Я бы не хотел потерять любого брата, легат.

...Пламя вгрызается в доски. Ладонь, на которой сидит пойманный кузнечик. «Гай, смотри».

Луций Деметрий Целест. Мой умный старший брат. Мой мертвый старший брат.

— Я тоже, Тит. Я тоже... Кстати, — говорю я самым обычным тоном, словно никакого разговора между нами не было, — не пора ли нам догнать повозку, старший центурион?

Тит Волтумий кивает. Я впервые вижу его улыбку.

— Да, легат. Думаю, ребята уже соскучились.

ГЛАВА 3

ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ

Стук колес — повозка качается и скрипит порой так, словно вот-вот развалится. Дороги в Германии все-таки гораздо хуже итальянских. Видимо, из-за климата. Погода меняется мгновенно. Только пару мгновений назад было солнце, сейчас — уже небо закрыли тучи, собирается дождь. Издалека доносятся глухие раскаты грома. Я выглядываю из окна повозки: на горизонте, за рядами деревьев, проколовших его серую линию, — чернота, низкие тучи нависли и надвинулись. Дорога здесь делает крутой поворот, обходя озеро, заросшее камышом и кувшинками. Лягушки молчат, чуя надвигающуюся грозу.

В мою щеку что-то впивается. Я хлопаю по щеке — комары здесь дикие. На ладони раздавленный черный комочек и след крови — успел, сукин сын. Смазанная красная полоса пересекает линию жизни и заходит на холм Марса. Ничего себе. Был бы я авгуром или фламингом, я бы решил, что это предзнаменование.

Вместо этого я зеваю. Широко, с рычанием. До города осталось всего ничего, мили три, но я уже вымотался. Надо бы выйти, размяться, разогнать кровь. Возможно, прав Волтумий — мне стоит взять пример с брата, который шагал в походах вместе с «мулами». Правда, в отличие от брата, я не собираюсь делать военную карьеру. Нет, спасибо. Я здесь за другим.

Снова вдалеке звучат раскаты грома. Поднимается ветер, шорох листьев нарастает, как волна. По деревьям проходит волнение, они начинают гнуться, плавно поводят ветвями, словно в воде. Затем все стихает. Легионеры шагают молча, они устали.

Слыша раскаты, мулы начинают нервничать, замедляют ход. Возница — пожилой некрасивый раб — взмахивает бичом, щелкает над ушами мулов, еще раз. Те снова начинают идти быстрее.

Рядом с городом появляются воробьи. Я поднимаю голову — и вижу, как целая стая воробьев, полсотни, если не больше, взлетает и оккупирует огромный ясень. Чириканье. Чвирк, чвирк, чвирк. В перекличке воробьев мне чудится непонятная угроза. Смешно.

У эллинов воробьи — птицы-психопомпы, переносчики душ умерших. У нас, римлян, этим обычно занимаются голуби. То ли души у нас тяжелее, то ли нам нужна птица поглупее и потолще... не знаю. Но, похоже, до нашего римского подземного мира лететь гораздо дальше, чем до греческого.

— Господин, — говорит Тарквиний неожиданно. Я даже вздрагиваю.

— Чего тебе?

— Вам нужно поесть, господин Гай. Послушайте старика...

Я снова раздражаюсь. Забота Тарквиния настойчива и неловка, как старая родственница...

— Я не хочу пить, и я не хочу есть. Все?! — говорю я.

От собственной резкости мне становится чуть-чуть неловко. Но я устал от общества Тарквиния за время поездки так, словно мы с ним — муж и жена, надоевшие друг другу много лет назад, еще во время свадебного обряда.

Тарквиний обиженно молчит. Вот ведь упрямый старый пень...

— Знаешь что, — говорю. Хорошо, что я об этом вспомнил. — Дай-ка мне шкатулку с той вещью... с вещами Луция.

Их немного. Железное кольцо — знак сенатора, почерневшее, с точками ржавчины. Золотое кольцо с зеленым гладким камнем — семейное, досталось от отца. И десяток амулетов для хорошего здоровья — даже настоящий амулет Асклепия, видимо, из храма в Греции. Все, что осталось мне от брата.

И еще одна вещь. Не то чтобы странная, но загадочная. Какой-то германский амулет, видимо. Впрочем, брат мог привезти его и из Паннонии, где долгое время воевал с мятежниками. Говорят, эта вещь была зажата у Луция в пальцах — с такой силой, что их не сразу удалось разжать.

Я беру ее и кладу на ладонь. Маленькая птица, сделанная из... нет, это не серебро. Ощутимо тяжелый, очень холодный металл с серебристым оттенком. Скорее ртуть, из которой делают кинovarь — фиолетовую краску. Но ртуть никогда не застывает, а здесь — словно застыла.

Фигурка изображает маленькую птицу, почти круглую, нахохлившуюся. Какой-то местный, северный воробей — в Риме они поджарые, вытянутые, словно бы беговые. Им в Италии жарко.

Значит, северный воробей. Когда фигурка лежит на моей ладони, я вдруг чувствую неприятное, пугающее чувство — словно все это уже со мной было. Эта фигурка Воробья, сделанная из неизвестного металла, эта дорога в раскачивающейся и скрипящей на ходу повозке, этот топот солдатских калиг.

Вещь мертвеца. Слово я осквернен и мне нужно очиститься — хотя я и не понтифик.

...что-то важное. Мерзкое чувство. Что было Луцию в этой фигурке? В этом воробье — что брат схватился за него в последние мгновения своей жизни? Надеюсь, я это узнаю.

Протягиваю фигурку Тарквинию. Старик смотрит на меня водянистыми, по-старчески светлыми глазами, моргает.

— Спрячь, — говорю я.

— Да, господин. Как прикажете, господин, — тон нарочито подхалимский.

Фигурка исчезает в шкатулке — у Тарквиния их много. На этой нарисованы бегущие лошади. Они бегут по желтой африканской равнине. Шкатулка, видимо, один из сувениров времен моей службы в Мавритании.

Повозка катится, колеса скрипят. Солдатские калиги все так же выбивают мерный ритм из военной дороги. Где-то недалеко слышится мычание коров. Все так же, как и предыдущие несколько часов поездки...

За исключением одного. Мимо проплывают столбы. Я вижу грубо стесанное дерево, обрубленные, иногда не до конца, сучья — столб возвышается над дорогой, он вкопан в землю у обочины. Дальше вижу горизонтальную планку, на ней — ободранные, в синяках ноги, прибитые гвоздями.

Запах разложения и смерти становится сильнее, обступает меня. Мухи вьются облаком, жужжание...

Я поднимаю взгляд. Распятый обвис на перекладине, ребра выступили так, что проткнули кожу. Это мертвый германец. Остатки светлых волос, тело покрыто слоем грязи — от пыли и дождей. На табличке над его головой надпись... я не успеваю прочитать, мы проезжаем мимо. Следующий крест. Этот германец еще жив, он вяло шевелится, когда слышит стук колес.

Лицо распухшее и синее. Правосудие по-римски. Надпись на табличке гласит: «УБИЙЦА» — и еще цифры и буквы.

Теперь я понимаю, что мы пришли в Германию навсегда. Потому что цифры означают дату казни, а буквы — это «ВАР». Публий Квинтилий Вар, наместник, — по его приказу казнен этот человек. Возрадуемся, квиристы! Римское право пришло в Германию.

Ряды крестов все тянутся и тянутся. Их десятки. Сколько приговоров уже вынес Вар?

Где-то вдалеке грохочет гроза. Мычание коров становится громким и тягучим — почти невыносимым. Оно разносится в воздухе, откуда-то пахнуло горячим навозом, запахом коровника... затем запахом дождя, смешанным с вонью мертвечины.

Вересковые пустоши, фиолетово-розовые, тянутся вдоль дороги. Становится все темнее. Видимо, скоро гроза доберется и до нас. Лес местами подступает к дороге, карабкается по склону — деревья гнутся под налетающими порывами ветра, громко шелестят. Сорванные ветром листья кувыркаются в воздухе...

Сверкает молния. Вспышка запечатлевается на внутренней стороне моих век. Когда я закрываю глаза, под веками змеится отпечаток молнии.

Открываю глаза, моргаю. Коровы мычат — в этом звуке все больше тревоги. Наконец я вижу их — высунув голову из повозки. Темный поток перекрыл дорогу, они куда-то идут, и их сотня, не меньше. Я слышу резкий приказ Волтумия: «Стой!» Повозка, проехав еще немного, тоже останавливается. Тревога разлита в воздухе, напряженном перед грозой, натянутом, как полотно над амфитеатром, как парус перед штормом.

Местные коровы — мелкие и без рогов, но их достаточно много, чтобы перекрыть нам дорогу. И они бредут, задирая морды,

чувствуя грозу, — и мычат. Над пятнистыми спинами нависают мертвые германцы на крестах. Жуткая в своей нелепости картина. Легионеры ругаются: коровы перекрыли дорогу, они через коров протолкаются, а как быть с повозкой? Повозка не пройдет.

Плотная масса коров медленно перетекает через дорогу, затапливает луг справа от дороги. Но где хотя бы один пастух?

* * *

Коровы мычат. Они толкаются и медленно бредут через дорогу, одни пытаются пройти дальше, мотают мордами, другие, наоборот, застыли как изваяния. Смешные варварские коровы — без рогов. Я вижу их мохнатые морды — коричные и пестрые; черные ноздри, шумно втягивающие воздух. В какой-то момент мне начинает казаться, что это единая слитная масса, единый многоногий, тысячеглазый зверь, Гидра-Корова, с сотнями хвостов и жаждой в брюхе, с сотнями втягивающих грозовой воздух ноздрей... И Гидра-Корова явно в тревоге.

Я слышу резкие крики впереди — это легионеры и Тит Волтухий пытаются расчистить дорогу повозке. Но куда там. Гидра-Корова уходить не хочет. Она смотрит на лежащую под ногами плоскую каменную змею — дорогу и перетаптывается бессчетным количеством ног. Гидра-Корова растеряна, она не знает, где пастух.

Я вылезаю из повозки, стою рядом, глядя, как над лесом сгущается темень. Вдалеке вновь сверкает молния. Когда далекие раскаты грома доходят до Гидры-Коровы, она дергается и мычит. Жалобно, будто предчувствуя что-то.

Я поворачиваюсь и вижу, как из задней, открытой части повозки на меня смотрят рабы. Они испуганы — чужая страна, чужие дороги, чужой бог гневается. Я говорю:

— Выходите. Идите, помогите солдатам.

Они молчат. Молчат и смотрят на меня — как овцы. Проклятая рабская натура. А говорят, Август как-то набрал из рабов два легиона. Интересно, как они сражались?

— Выходите и помогите солдатам, — приказываю я. — Быстро! — Я повышаю голос: — Корнетир, спишь?!

Старший над рабами тут же просыпается и выгоняет всех из повозки — едва ли не пинками. Они бегут к стаду.

Отрывисто щелкает кнут. Это возница пытается испугать корову, сунувшуюся к повозке, но та только дергает ухом и жалобно мычит, с дороги не уходит.

Проклятые варварские коровы. Уродливые и мелкие, как будто их где-то украли и выкормили тайком. Проклятая страна. Проклятые варвары. Еще немного помедлим — и разразится гроза.

Рабы руками пытаются оттащить коров. Или столкнуть, но те равнодушны к их усилиям, как мраморные статуи. Где, Тифон их побери, пастухи?

— Господин Гай, там... там пастухи! — Ко мне подбегает один из рабов, грек, кажется.

— Наконец-то! Где?

Я поднимаю голову, смотрю влево, вправо, выше... А, вот они где! По склону холма из-под защиты деревьев спускаются по песчаному склону несколько человек — рослые, как все местные. Их человек шесть. Двое в шкурах, один, что повыше, — явно в римской тунике и кольчуге... Странно, думаю я.

Вспышка молнии на мгновение заливает вересковую пустошь синим светом. Грохочет гром. Что?! Тит Волтумий впереди перестает кричать. Затем вдруг — резкое:

— К оружию!

Я поворачиваю голову: мир плавно движется, словно отражение в стеклянной посуде, беззвучный — как тогда, когда на меня упала горящая балка, едва не искалечив. Тогда я несколько дней не слышал ничего. Мать рассказывала, а затем и брат: мы боялись, что ты вообще лишился слуха. Или стал дурачком, добавляет Луций и смеется. Вместе с ним смеется маленький Квинт, которому лет семь, он здоровый и белобрысый, выше сверстников на голову. Он не понимает шуток, но слово «дурачок» — этого слова Квинту достаточно, он заливается так, что слышно на улице. Оболтус, думаю я привычно. И тут мир снова начинает звучать.

— Надеть шлемы! — кричит Тит Волтумий. Голос его грохочет над стадом, над испуганными коровами, над вереском. Над легионерами — заставляя их очнуться и не вести себя подобно коровам.

Затем я поднимаю голову и вижу, как летят камни. Одна из коров падает, камень попадает ей в голову. Глухой стук. Другой камень ударяет в стену повозки. Один из рабов бежит — пытается растолкать коров, одна из них сбивает его с ног. Идиот.

Я вижу, как камни летят в легионеров. «Мулы» успевают закрыться щитами. Бух! Какие тут, к Плутону, пастухи!

Камни стучат по щитам. Раз! — звучит команда центуриона, легионеры разом опускают щиты и бросают дротики... Они летят. Мычание коров перемешано, как в хорошем соусе, когда мешают мед с гарумом, со свистящим звуком летящих дротиков и криками боли — один из камней попал в моего возницу. Он сидит на земле и подвыывает, зажимая рукой рану на голове. Камень пришелся по касательной. Багровое стекает из-под пальцев.

Я поворачиваю голову и вижу нападающих. Их все больше — уже человек двадцать спускаются со склона и бегут к нам; из леса появляются еще люди — в римских кольчугах, в шлемах и с круглыми щитами — зелеными! Это те дезертиры, из Алисона.

Галлы все еще выглядят как ауксиларии. Поэтому, когда дротики долетают, они привычно вскидывают щиты — и пилумы застревают в них, не причиняя вреда. Почти не причиняя... Я смотрю. Один из галлов падает, дротик пронзил ему бедро.

Галлы отбрасывают щиты, в которых застряли дротики, бегут вперед. От их крика дрожит и прогибается воздух. Испуганная Гидра-Корова перебирает сотнями ног, пытаясь убраться с дороги — но куда там. Стадо медленно движется, один из легионеров падает, подмятый копытами. Проклятые галлы. Они рассчитывали, что стадо не даст «мулам» построиться, — и это так.

От рева Тита Волтумия, кажется, прогибается весь мир:

— Стройся! Ко мне!

Огненно-красная вексилла реет над стадом, легионеры пытаются пробиться к ней. Резкий звук боевой трубы. Легионеры пробиваются сквозь тело Гидры к центуриону, там образовался островок щитов, который обтекают коровы.

Но галлов все больше, я вижу, как из леса появляются все новые фигурки. Они бегут и кричат — боевой клич варваров, для них главное — напугать, кто кричит громче и страшнее, тот, считай,

выиграл. Один из галлов — в волчьей шкуре сигнифера, знаменосца, — похоже, он у них командир, огромный и с виду крутой, как мильный камень, — вскидывает руку с мечом.

— Р-р-ра-а-а! — ревут варвары.

Еще несколько человек показываются из леса, бегут легко и свободно — германцы! Они почти голые, в руках только копья, кое у кого пращи.

В последний момент я уклоняюсь. Бум! — камень ударяет в стену повозки.

— Тестудо! — звучит команда.

Легионеры смыкаются в «черепаху». Под градом камней они двигаются обратно к повозке — к нам. Я вижу, как одна из коров, обезумев, бежит, подергивая задом и качаясь на ходу, и ударяется в «черепаху». Проклятье! Корова падает вместе с легионерами, ломает безупречный строй...

Не знаю, как чертовы варвары до этого додумались, но трюк с коровами вполне сойдет за тактические маневры Цезаря. Хуже всего то, что мы — я и рабы, повозка — отделены от легионеров потоком коров, медленно текущим и опасным. Варвары бегут к нам, они все ближе. Я вижу бусы из красного стекла на шее того, кто впереди. Его лицо заросло рыжей щетиной, рот распялен в крике. Галл замахивается коротким копьем — железный наконечник окрашен черным и липким.

Да уж. Хорошо начинается моя легатская служба.

— Гай, сюда! — кричат сзади.

Я поворачиваю голову и не сразу узнаю голос Тарквиния. Старик выглядывает из повозки, тянет руку... синие извивы вен, как русла рек. Только зачем мне в повозку? Впрочем... В руке у старика — меч в деревянных ножнах, отделанных бронзой. Я вижу белую костяную рукоять гладия. Поворачиваю голову.

Одна из коров заступает варвару дорогу. До него шагов десять. В следующее мгновение галл быстро ударяет копьем и отдергивает — корова делает два шага, покачиваясь, как пьяная, заваливается набок. Галл перепрыгивает тушу, приземляется. Бусы на шее вздрагивают, вспышка молнии. Синее, черное. Он бежит. Он почти рядом.

Я вижу его усмешку. Занесенное копьё — с острия срывается капля крови, начинает падать... падает.

Галл прыгает.

...Смешно.

В следующее мгновение я выдергиваю меч из ножен — легкий скрежет, вес клинка, рукоять под пальцами плотная и надежная, — доворачиваю корпус и с силой посылаю меч — раз! делай, как я! — в грудь варвара.

— Ха! — выдыхаю я.

Выдергиваю клинок. Улыбка галла застывает. Он все еще не понимает, что произошло. Копьё занесено над его головой. Ноги варвара подгибаются... Я снова бью — р-раз! Клинок входит варвару под ключицу, выходит, оставляя едва заметный разрез. В следующее мгновение разрез наполняется багровым, кровь выплескивается толчками, заливая голую грудь. Бусы, случайно задетые клинком, рассыпаются, красные стеклянные бусины летят вниз... одна несильно ударяет меня в бедро.

Глаза галла еще живут, но сам он уже мертв. Я отступаю на шаг, на два. Варвар идет за мной, ноги подгибаются, как у коровы, которую он убил, — это смешно, он теперь сам похож на корову... Опускается на колени. Галл выдыхает, вдыхает... странный хриплый звук, и застывает. Он мертв.

Это всегда можно понять — когда они умирают. Галл валится лицом вниз. От бешеного прилива сил меня трясет, все подергивается дымкой. Я едва могу держать меч. Но я держу. Чему-чему, а этому меня научили.

— Рим, — говорю я. — Честь и слава.

Я поднимаю голову. Дело плохо. Галлов и германцев все больше — около полусотни примерно. Они спускаются со склона, бегут ко мне, к повозке. Справа раздается крик — это Тит Волтумий со своими легионерами. Он пытается пробиться сквозь поток коров. Животные в испуге мычат, бегут прочь от варваров — разбойников! — и отрезают Тита от меня. «Черепаша» медленно ползет, пробиваясь сквозь поток.

— Господин!

Я поворачиваю голову. Тарквиний вылезает из повозки и становится рядом со мной. В руках у него — вот штука — меч, второй

из тех, что я взял с собой. В морщинистых руках спата кажется ненужной игрушкой.

Он ведь и драться не умеет. И — старик.

Я оглядываюсь. С той стороны, откуда мы приехали, дорога пу-ста, а над ней — небо почти чистое, голубая полоска просвечивает. Где-то там, далеко — Италия, Рим. Там хорошо.

Старик остался. А эти молодые оболтусы разбежались. Одно слово — рабы.

— Гай! — крик Тарквиния.

Я успеваю повернуть голову и увидеть летящее в меня копье...

Кровь вскипает так, что мир подергивается красным туманом — в ушах гул, в груди — нарастающий стук сердца, который заполняет собой все пространство вокруг. Бум, бум, бум. Я вскидываю меч и отбиваю копье в сторону. Оно ударяется в спицы колеса и отлетает.

Варвары бегут ко мне. Их много. Жаль, что мне выпала такая судьба: умереть, еще не доехав до своего легиона. И жаль Волту-мия, которому достанутся все шишки.

Но все-таки откуда их столько — и почему именно я?

До города осталась пара миль, не больше. Глупо, да.

Варвары бегут. Мы с Тарквинием стоим. Меня учили драться настоящие мастера — но одиночного поединка. Гладиаторы. В бою один на один или против двух-трех противников у меня есть все шансы, но против пятидесяти...

Что ж, покажем, как умирают римские граждане. Я смотрю на плешивую макушку Тарквиния. Вернее, один гражданин и один раб гражданина.

Следующий варвар добегают до меня через пару мгновений. Это германец с голым торсом, огромный, рыжий, как вспышка факела в ночи, в жестких голубых глазах светится безумие — увидев это, я замираю. Голова кружится. Я видел такое раньше, когда Квинта однажды переклинило и он начал драться всерьез — глаза у него стали такими же. Мой младший брат на несколько мгновений превратился в убийцу, одержимого. Когда это случилось, только Фес-сал, гладиатор-телохранитель Квинта, — только он помешал нам поубивать друг друга.

Тогда я не мог ударить, я держался из последних сил, отражая чудовищные удары. Меч звенел и гнулся. У меня потом ладонь распухла — отбитая. А ведь мечи наши были в защитных кожухах, чтобы не ранить друг друга. Но я понял: еще чуть-чуть — и мне придется убить Квинта, пока он не убил меня.

Больше я с младшим не фехтовал никогда. Нет, спасибо. У меня не так много братьев, чтобы рисковать потерять их — так. Впрочем, зато я понял, что могу выстоять, сохраняя хладнокровие.

Германец оскаливается, это смех — он смеется, смерть другого варвара ничему его не научила... Замах, удар... Копье летит в меня.

Боги, почему у меня нет щита?! Я отбиваю — ладонь сразу ноет от чудовищной силы германца. Он выше меня на голову и тяжелее раза в полтора. Делаю выпад (коли, коли!), он в последний момент уворачивается — клинок только задевает его плечо, царапина. Быстрый, сука.

Тяжелое небо нависает надо мной, над нами, над дорогой, над бегущими коровами. Где же Волтумий?!

Германец отскакивает на несколько шагов, смеется. Из длинной царапины на его левом плече — меч прошел по касательной — вытекают капли крови. Он пригибается, потом идет вокруг нас с Тарквинием, поигрывая копьем, а за его спиной бегут другие германцы. Скоро здесь будет жарко. У меня по спине — ледяные мурашки.

Хорошо начинается моя служба. Прямо по-гладиаторски. Сенаторам вообще-то запрещено выходить на арену...

Удар! Германец бьет. Я едва успеваю уклониться. Железный наконечник с легким, но каким-то смертельным свистом прорезает воздух над моим плечом, тут же уходит назад. Тарквиний шумно сопит.

— Господин! — Он взмахивает мечом, делает шаг к варвару... идиот.

Сейчас его убьют, думаю я. И прыгаю следом.

Замахиваюсь мечом на колющий удар — я вижу, как капля пота стекает по лбу варвара, медленно, как во сне; как на наконечнике копья — сером, со следами заточки — вспыхивает отсвет молнии...

Как Тарквиний, глупый никчемный старик — надо было отобрать у него меч! — что-то кричит, рот раскрыт в крике, седая макушка в синеватом венце, — и в это пространство величиной с ладонь между макушкой раба и подбородком варвара я врезаю ярость, тоску по брату (Луций, Луций) и себя с клинком заодно.

Н-на!

Руку дергает. Погнувшийся клинок входит в грудь варвара, пробивает кость. И застревает там. Я отпускаю руку. Тарквиний продолжает кричать и взмахивает мечом. Варвар заваливается назад, глаза его все еще живут... нет. Мой меч торчит у него из груди. Тарквиний наконец бьет. Это неловкое, неумелое движение — и на лице варвара, покрытом шрамами, с перебитым носом, возникает новый след удара.

Варвар падает. Лицо его пересекает красная полоса. Меч Тарквиния от удара о лобную кость германца отлетает и, кувыркаясь, падает на землю где-то за моей спиной. Ладно, хоть в глаз не прилетело.

Мир сдвигается, и я опять слышу крики. Бар-р-ра-а! Дикие вопли варваров, утробный, яростный клич легионеров. Черепаха Волтумия пробила наконец сквозь стадо, за ее спиной остаются убитые ударами гладиев (коли, коли, коли!) коровы — темные туши на земле. Звучит новая команда. Легионеры мгновенно перестраиваются в клин, их мало для правильного строя, но это ничего. Тит Волтумий встает справа от своих. Синий гребень его шлема возвышается над полем.

Он поднимает руку. Варвары уже бегут не к нам, они поворачиваются к легионерам, выстроившим ряд щитов — skutумы синего цвета, некоторые из легионеров не успели снять чехлы, поэтому в морском ряду рыжие пятна. Тит Волтумий поднимает руку.

— Шагом! — голос его разлетается над полем. — Марш!

Строй дрогнул и двинулся на варваров.

Германцы смешались. После того как Друз Германик прошелся по всей Германии, а затем совсем недавно то же самое проделал Тиберий, им, наверное, совсем не хочется проверять на себе силу римского оружия.

Но варваров много больше. Полсотни минимум против полутора десятков легионеров.

— Дротики! — закричал Тит Волтумий.

В следующее мгновение щиты опустились, дротики полетели... летят... летят...

Некоторые варвары побежали, другие закрылись щитами, несколько человек было убито на месте. Застонали раненые. Один германец, которому дротик пробил бицепс насквозь, попытался вырвать его, но только обломал древко. Длинный железный наколечник загнулся и застрял. Германец заорал. Подхватил с земли копье одной рукой — и побежал на строй.

Вспышка молнии. Далекие раскаты.

Раз! Слитным ударом щитов германца отбросило на землю, назад. Снова команда — и легионеры делают шаг вперед, наступают. Два! Германец, лежащий на земле, скрылся под ногами солдат. Звук клинка, входящего в тело.

— У-у-у-а-а-а!

Варвары кричат все разом. Дикий нарастающий крик, некоторые прижимают ко рту края щитов — я сначала не понимаю зачем. Затем понимаю. Звук получается искаженный, пугающий — и у меня холодеет затылок. Столкновение цивилизации и варварства — вот что это такое. В чистом виде, никаких условностей. И сейчас настоящая римская пехота разомнет их к плутоновой матери.

Галльские дезертиры выстраивают строй. Германцы вокруг насмеются над римлянами, кричат что-то обидное — возможно, если бы я знал их язык, я бы понял, что именно, но сейчас, чувствую, можно обойтись и так.

Какие смелые, однако, в Германии разбойники. Дерзкие. Они собираются драться. Они думают, что бессмертны.

И тут звучит трубный звук трубуны. Римский военный сигнал к построению для атаки.

Я поворачиваю голову. Наконец-то!

На дороге, выходящей из леса, выстраивается конница. Лошади переступают, дергают головами. Знамя турмы, вексилла — огненно-красная — реет над строем...

* * *

Легионеры разражаются радостными криками. Наши! Наши! Кажется, они узнали значки...

Варвары, только что готовые сражаться с легионерами, теперь в растерянности. Они между двух огней — и их раздавят с легкостью. Я вижу, что конница явно из вспомогательной алы — зеленые щиты. На черном коне выезжает командир всадников — в римском панцире, рослый, он сидит на лошади с изяществом, доступным редкому римлянину.

Командир оглядывает варваров, словно скот, приготовленный на убой. Те начинают пятиться обратно к лесу, некоторые уже бегут...

— Вперед! — следует команда на чистой латыни.

Конная цепь срывается с места, мчится на разбойников. Германцы, легконогие и подвижные, без доспехов, несутся к лесу — и кто-то успевает добежать... Тех, кто не успел, рубят всадники, пробивают копьями. Дезертиры-галлы, в тяжелых доспехах, изначально обречены, их окружают со всех сторон. Это похоже не на бой, а на избивание. Конница — страшная сила, если использовать ее правильно.

— Бар-ра-а-а! — кричат легионеры Тита.

Тела валяются направо и налево.

* * *

С варварами покончено. И только тогда начинает идти дождь. Я чувствую, как по коже барабанят капли, текут, смывая пот и грязь. И кровь.

Всадник осаживает коня передо мной, смотрит сверху.

— Вы ранены? — Голос низкий и приятный, с едва заметным варварским акцентом.

Раскат грома заглушает следующие слова. Струи дождя обтекают его шлем греческого образца с витым узором. Черный гребень на шлеме воинственно топорщится. Лошадь переступает с ноги на ногу, поводит ушами. Капли стекают по темной лоснящейся шкуре, по изогнутой, как у африканских лошадей, изящной морде.

Я поднимаю голову. Дождь заливает глаза, я не могу толком разглядеть всадника. Это декурион или префект, судя по всему. Именно этот голос я слышал перед тем, как конница пошла в атаку...

— Нет, — говорю я. — Я не ранен. Это не моя кровь.

Всадник — я вижу его лицо, белую кожу, прямой нос — поднимает руку и развязывает узлы под подбородком. Снимает шлем, подставляет лицо дождю. Красивый. Лет двадцать с чем-то, подбородок чисто выбрит. Глаза, неожиданно знакомые, странно. Всадник похож на Квинта — будь тот поумней. И пожестче. Волосы светлые и примятые. Подшлемная повязка в пятнах пота. Дождь тут же начинает покрывать ее мелкими темными точками.

Светловолосый смотрит сначала на одного мертвого варвара, затем — на другого.

— Это вы?

Я киваю.

— Прекрасная работа, квирит, — говорит всадник. Латынь его изящна и благородна, акцент едва заметен — да есть ли он вообще? Есть.

Я смотрю на его лицо, по которому стекают капли дождя и говорю:

— Спасибо, вы появились вовремя...

— Меня зовут Арминий, — говорит светловолосый. — Префект германской вспомогательной когорты.

Он медлит, рассматривая меня — с интересом. Ярко-голубые глаза.

— Я — царь херусков.

ГЛАВА 4

АРМИНИЙ И ВАР

Когда мы едем, дождь все еще идет. Капли барабанят по крыше повозки.

Впереди шествуют легионеры Волтумия, позади шагом едут всадники Арминия.

К моменту, когда повозка въезжает в Ализон, мне кажется, что я знаю Арминия очень давно. Он германец из племени херусков, наших союзников, служил в армии, командовал конной алой во время восстания в Паннонии, получил венок и браслеты за храбрость, римское гражданство и титул «всадника». Он имеет право носить золотое кольцо — я вижу это кольцо на его пальце.

Все-таки мужество до сих пор ценится в Риме выше наследных прав.

Арминий с двумя турмами шел по следу дезертиров, разграбивших деревню германцев-марсов. Нам повезло, что всадники добрались сюда вовремя, иначе неизвестно, чем бы все это кончилось.

Ализон — один из старых наших городов по эту сторону Рения. Он выстроен по образцу римского военного лагеря с вкраплениями варварской архитектуры.

В жуткую грозу, под хлещущими потоками дождя наш маленький караван вошел в город. Мощенная камнем улица ведет к главной площади. Мы проезжаем дома, не слишком отличающиеся от домов Рима, — разве что здесь не нужно строить многоэтажных инсул для бедняков. Чего-чего, а места в Германии пока хватает. Дождь льет так, что из окна повозки город виден словно сквозь

толстое стекло — это как взять критскую чашку и приставить к глазам.

Арминий поднимает голову, смотрит на меня. Взгляд острый, голос мягкий, обволакивающий, интонация задумчивая.

— Конец этой войны видели только мертвые, — говорит он.

Я киваю. Это цитата из трудов Платона. Не знаю, что имел в виду философ: то ли война никогда не заканчивается, пока люди живы, то ли мертвым лучше знать. Что-то в этом духе... Но самое интересное — в другом: варвар, дикарь, «фери» — цитирует греческого философа. Дожили.

— По мне лучше «Тимей», — говорю я. — Там Платон не так мрачен.

Арминий усмехается. Через светлую бровь идет старый, едва заметный шрам.

— Пожалуй, — говорит германец. — Идеальное государство, война Афин с Атлантидой. Один из самых интересных диалогов, на мой вкус.

Варвар, разбирающийся в диалогах Платона. Кто ты, царь херусков?

— Но меня всегда больше интересовал второй диалог с Тимеем, — говорит Арминий. — «Критий». Там, где Атлантида...

Атлантида — государство, которым правили сыновья Посейдона.

— ...где Атлантида исчезает под бушующими волнами. Платон рассказывает, что некоторые атланты спаслись тогда, а именно — среди выживших оказались несколько сыновей Посейдона. Правители Атлантиды, что интересно. Спаслись — и, самое главное, вынесли знаки из орихалка.

Я киваю: правильный выбор, атланты. Орихалк — это небесный металл, который можно ковать раз в семь лет и который, что интересно, нельзя разрушить. В древности он ценился гораздо выше золота. Говорят, орихалк похож одновременно на застывшую ртуть и на серебро с медным отливом. Хотелось бы мне это увидеть.

— Я не думаю, что Платон прав, — говорю я. Дождь почти перестает, мы проезжаем мимо колоннады — чей-то частный дом, по отделке — совершенно столичный. Колонны поддерживают

фронтон. Мокрый мрамор блестит. — Он был все-таки не великим оптимистом. Помните, что он говорит? Сыновья Посейдона. Бывшие правители Атлантиды несут с собой разрушение, как смертельную болезнь.

При слове «болезнь» Арминий морщится.

— Возможно, они несут с собой знание. Я не слишком верю в людей, — говорю я. — Так что, возможно, опасно именно это знание, а не то, что Платон понимает под «разрушением». Когда мы говорим «онагр», мы же не виним в убийственной силе его стрелы и вола, из чьих жил свиты веревки, дающие онагру мощь?

— Хороший пример, легат, — говорит Арминий и улыбается.

И снова его лицо кажется мне знакомым. Странно.

Перед главной площадью Алисона мы прощаемся с Арминием. Ему дальше в казармы. К дворцу пропретора я еду один — если не считать Тарквиния, который сидит напротив. Старик кашляет, он простыл в пути. Иногда мне кажется, что старость — это такой способ надоесть всем, никому специально не надоедая. Почему нет? Август этим прекрасно пользуется...

Лестница ведет в приемную Вара, часовые — в шлемах с гребнями, парадных — застыли у входа.

Я поднимаюсь, чувствуя дорожную усталость. Рабыня у входа подносит чашу, предлагая омыть руки и лицо, что я с удовольствием делаю. Вода освежает. Она пахнет розами, в чаше плавают розовые лепестки. В трепещущей поверхности отражается мое изломанное лицо.

Пол атриума отделан разноцветной мозаикой, фрески на стенах изображают пир, который никогда не закончится.

— Пропретор? — говорю я.

В атриуме пусто, вечереет, светильники отбрасывают вытянутые тени. Вольноотпущенник в тунике, расшитой красно-синим орнаментом, появляется как из-под земли. Он почти лысый, нос круглый, выражение лица — серьезное и слегка плутовское, на груди — бронзовая табличка, гласящая, что Квинтилион является распорядителем дома.

— Легат, мой господин сейчас выйдет. — Квинтилион сдержанно нагл. — Не угодно ли вина?

— Угодно, — говорю я.

Вино льется в серебряную чашу, темно-красное, как кровь из вены, слегка пенится у краев. Вольноотпущенник процеживает вино через сито — опять же серебряное, добавляет воды, подает чашу мне. Забавно. У нее круглое дно — уловка хозяина, не желающего, чтобы гости мало пили. Пока не выпьешь вино до дна, чашу на стол не поставишь. Смешно.

Квинтилион бесстрастно ждет. Серебро прохладное под пальцами. Я подношу чашу к губам, делаю глоток. Запах фалернского — нет, не фалернского — какого-то другого, но очень похожего на него вина, кружит голову. Вино в меру прохладное и слегка кислит.

— Я видел по дороге виноградники, — говорю я. Я их действительно их видел — около самой границы с Галлией, в долине Рения. — Здесь делают местное вино?

Квинтилион улыбается.

— Не очень хорошее. Варвары в основном предпочитают напиток, сваренный из забродившего зерна, — они называют его «пивом».

Напиток из зерна? Что-то подобное хлещет римская чернь. Я как-то пробовал — не слишком приятное пойло. Вернее сказать, омерзительное.

Чтобы смыть отвратительный привкус воспоминаний с языка, я делаю второй глоток. Хорошее вино. Почти фалернское, только чуть кислее, с легким привкусом меда и фруктов.

— Испанское, — говорит Квинтилион.

Я киваю. Где же пропретор? Ночь на дворе, а я еще не ужинал. В желудке — тонкая нить голода.

Германия. Я почти на месте. Но почему мне все вокруг кажется нереальным, словно меня здесь вообще нет?

Наконец я слышу шаги. Они мягкие, слегка даже шаркающие. Появляется Публий Квинтилий Вар. Мы знакомы еще по сенату — хотя, в сущности, никогда не были близкими друзьями. Вар старше и опытнее, я моложе. Сейчас я в дорожной одежде, а пропретор в белой тоге с широкой пурпурной полосой, словно только что вышел из здания сената. Он что, и дома ее носит?

— Гай Деметрий!

Он протягивает руки для объятий. У него крупное, слегка округлившееся лицо, капризная складка губ — и мягкость, которая словно проступает сквозь его черты. Но это мягкость скорее безволия, чем доброты.

Мы ритуально обнимаемся. Его объятия энергичны, как дохлая рыба.

— Легат, — говорит Квинтилий Вар. — Будьте как дома. Сочувствую вашей утрате.

Луций. «Смотри, Гай! Кузнечик». И ладонь открывается...

— Пропретор, — отвечаю. — Спасибо за ваше участие. Надеюсь приступить к своим обязанностям легата уже завтра.

Вар смеется.

— Молодость, молодость, — говорит пропретор. — Все торопятся жить. Похвально ваше стремление к службе, Гай Деметрий. Но к чему торопиться? Отдохните, привыкните, разберитесь, что у нас происходит. К слову, как дорога? Хорошо добрались?

Если не считать встречи с дезертирами-галлами, то прекрасно.

— Прекрасно, — говорю я. — Хочу, кстати, сообщить...

Я рассказываю о заслугах германца Арминия, который со своими всадниками выручил меня из засады разбойников. А также прошу представить к награде старшего центуриона Тита Волтумия, выполнившего свой долг честно и достойно. Пропретор рассеянно слушает, кивает, словно все это ему давно известно.

— Германия, — говорит Вар. — Это будущее Рима...

И начинает рассказывать, с каким энтузиазмом германцы учат латынь и перенимают римские обычаи. Как просят помощи и суда от наших чиновников...

«Интересно, предложит он мне поужинать?» — думаю я, слушая разглагольствования пропретора. Особого уважения к Вару у меня нет: Публий Квинтилий стал управителем Германии не из-за особых талантов, а скорее из-за чиновничьей способности хватать быстро и прятать надежнее, а главное — быть лояльным. Слепая верность ценится принцепсом. Квинтилий Вар может быть слепым там, где это необходимо, и видеть происходящее только взглядом, совпадающим со взглядом принцепса. Недаром Август отдал Вару в жены свою племянницу — Клавдию Пульхру.

Есть хочется невыносимо. Я продолжаю вежливо слушать Квинтилия Вара — человека с крупным носом и маленьким подбородком. У легионеров я видел монеты с профилем пропретора и оттиском VAR. Такими монетами — их имеет право печатать наместник Августа в провинции — выдают солдатам жалованье. Оттиск на монете и этот человек передо мной похожи, только на монете Вар посуше и помоложе. Сейчас ему пятьдесят семь лет. Он был правителем Сирии, затем подавлял мятеж в Иудее...

— Здесь все сложнее... эти варвары, им нужна твердая римская рука, — говорит Вар.

Я киваю. Светильники горят. Я вижу: вокруг одного из них летает мотылек, тень его мечется по стене — пш-ш-ш, мотылек влетает в пламя и сгорает. Обугленный комочек падает на мозаичный пол. Смешно. Говорят, в Иудее Вар приказал распять две тысячи человек. Мятежников.

— После гибели твоего брата мне пришлось показать, насколько моя рука тверда.

Я вспоминаю ряды крестов, стоящие вдоль военной дороги. Германцы, казненные за... что?

— Это было необходимо, — говорит Вар. — Но варвары, надо признать, делают успехи. Германцы все чаще обращаются к нашему суду, чтобы разбирать свои дела по цивилизованным, культурным законам, а не по ужасным варварским обычаям. Римский мир и римское право — вот что мы несем народам Германии...

Он напыщен и невыносим. А еще, говорят, Квинтилий Вар приехал бедным в богатую провинцию, а уехал — богатым из бедной. Сирию, конечно, нелегко разорить, но... Для настоящего римского чиновника нет ничего невозможного. Проверено.

Я смотрю на Вара и вижу то, что всегда презирал мой брат в людях: недалекость и самоуверенность. Пугающее сочетание. Луций, Луций, как ты уживался с этим болтуном?

Голод становится невыносимым. Покормят меня здесь или нет?!

Я вспоминаю виденных мной германцев — с яростными светлыми глазами убийц. Я вспоминаю Арминия — умного, храброго и прекрасно образованного царя херусков. Я вспоминаю мертвый

взгляд варвара, распятого над дорогой. Неужели они все терпят над собой — вот этого?

— ...германцы все чаще просят римского суда. У меня порой столько дел, что некогда заниматься личными делами. У меня почти нет отдыха, увы, такова доля ответственного правителя... Слава священному Августу и Риму, что варвары уже совершенно готовы принять нашу руку... я напишу принцепсу...

Август умен и повидал на своем веку болтунов — всяких. Сомневаюсь, что Вару удалось запудрить принцепсу мозги. Тогда почему Вар здесь? Неужели и умные люди начинают ценить в людях подобострастную верность?

Я слушаю и молчу.

В глубине таблиния — кабинета Вара — я наконец замечаю бронзовую статую молодого человека с тонким красивым лицом. Заметное сходство с принцепсом... стоп, это же алтарь! Култ божественного Августа (и Рима, как стыдливо добавляют) сейчас распространен по всем провинциям. Легионы, кроме своих орлов, имеют в качестве священных символов изображение принцепса. Имаго — вот как это называется. Имагифер носит его на древке, солдаты приносят жертвы и молятся Августу, как одному из богов. Почему нет? Бог, который платит жалованье. Да, такому стоит молиться!

— ...вот так обстоят дела, молодой Гай, — говорит Вар и некоторое время ждет.

Неловкая пауза. Я чуть запоздало понимаю, что нужно выразить восхищение.

— Прекрасно сказано, пропретор, — говорю я. Хотя ради той чепухи, что я сейчас услышал, можно было бы вообще не покидать Рим. — Могу ли я...

— Будь как дома, любезный Гай, — говорит Вар. — Квинтилион проводит тебя в комнату для гостей. Можешь оставаться здесь столько, сколько пожелаешь. Ты — мой гость.

Я склоняю голову. По крайней мере, спать я буду не на улице. Но, представив, как завтра мне снова предстоит слушать пространные речи Вара, я уже не так рад. Э-э... Далеко не так.

— Благодарю, пропретор. Вы очень любезны.

— Зачем же так официально, любезный Гай? — говорит Квинтилий Вар. — Оставайся сколько хочешь. А теперь, если позволишь, я тебя покину...

Жду не дождусь.

— ...ты, наверное, устал?

Не без этого.

— Но если желаешь, можем еще немного побеседовать. Как дела в Риме? Как здоровье Божественного Августа?

В этот момент мне хочется приложить Вара чем-нибудь тяжелым — вроде той статуи принцепса, что стоит в глубине атриума...

Когда эта пытка, названная беседой, наконец заканчивается, я иду за Квинтилионом по полутемным коридорам в комнату для гостей. Вернее, в одну из комнат для гостей. Дворец Вара огромен. Август не строит дворцов, а вот его наместники — запросто.

В проем арки я вижу внутренний сад, окруженный колоннадой, — перистиль. Светильники горят, тени пляшут. Темные ветви деревьев сплетаются в замысловатый узор — мне в какой-то момент кажется, что это сотни рук утонувших в болоте переплелись в последней мольбе о помощи.

Мы здесь, Гай. Мы здесь. Помоги, брат. Я почти слышу голос Луция.

Я моргаю и просыпаюсь. Кожа моя усыпана ледяными мурашками, словно покрылась инеем. Я стряхиваю наваждение, передегиваю плечами. Правая рука все еще болит — видимо, я слегка потянул мышцы, когда убивал германцев. Я разминаю плечо пальцами и иду за вольноотпущенником Вара. Зябко.

Из открытого сада тянет холодом. Я чувствую, как замерзают ноги.

Если мертвые могут говорить... Пламя светильника передо мной дергается и на миг почти гаснет. Луций, Луций. Мой бестолковый старший брат. Мой умный старший брат. Мой мертвый старший брат.

Комната. Кровать. Уже почти засыпая, я смотрю в потолок спальни. Темный и далекий, он слегка покачивается. От усталости у меня кружится все тело, я вытягиваю ноги — блаженство!

Спать под крышей — это особое удовольствие. На чистом. На постели, усыпанной лепестками лаванды — от клопов. Пряный запах лезет в нос. Белье кажется слегка влажным и прохладным — германская сырость.

«Луций, — думаю я, засыпая. — Я найду твоего убийцу. Обещаю».

* * *

Всю ночь снилось что-то белое и беззвучное, словно я оглох.

Я открываю глаза. Надо мной — тент из белого полотна, светло. Легкий ветерок из окна заставляет трепетать веточки лаванды, вставленные в столбики кровати. Я некоторое время лежу, глядя на веточки и их трепетание, — лежу, ни о чем не думая и наслаждаясь покоем. Я в чужом доме — пожалуй, если бы не это, я бы остался и поспал еще. Но надо вставать. Сейчас, наверное, уже третий час — кажется, в дреме я слышал надорванное «пение» местных, германских петухов на рассвете...

Правое плечо побаливает, занемело со сна. Я разминаю его пальцами — под кожей словно колют мелкие острые иголки, это почти мучительно. Затем откидываю одеяло. Мочевой пузырь по ощущениям большой и твердый, как слиток золота. Теперь надо бы донести слиток до латерны¹, не расплескав.

Я ставлю ноги на пол — он неожиданно теплый, застелен мохнатым толстым ковром. Цвет оранжево-багровый, восточного типа орнамент намекает, что ковер, скорее всего, приехал сюда из Сирии или Мавритании... А может быть, даже из самой Парфии. Римские владения раскинулись на половину мира. Хотя Парфия, конечно, не наша...

И мятеж в Паннонии, который сейчас подавляет Тиберий, пасынок Августа, — все это показывает, как все хрупко в нашем римском мире. Еще несколько месяцев назад Рим жил в ожидании того, что мятежники, которых набралось почти восемьдесят тысяч, вторгнутся в Италию. В городе царил тревога на грани паники. Словно козлоногий и мохнатый бог Пан где-то рядом, может быть, даже в толпе римской черни, всегда готовый затопать ногами

¹ Туалет

и заулюкать, — и темная, нерассуждающая волна покатится по улицам, вымывая с лиц людей все человеческое, оставляя только животное...

Люди — нелетающие птицы с плоскими когтями. Кто это сказал? Платон? А кто еще, он, родимый.

Возвращаюсь из латерны — налегке.

Рядом с кроватью стоит на табурете таз с теплой водой. Я умываюсь, фыркаю. Мне нужно в настоящую баню — как следует распарить тело и отмыться, за время дороги я зарос грязью, как последний раб. Но сейчас и так сойдет. Плескаясь, я слышу чье-то кряхтение, поднимаю голову — капли стекают по лицу, капают с бровей. Передо мной Тарквиний. Старик держит полотенце.

— Привет, старик, — говорю я. Протягиваю руку, он вкладывает в нее полотенце.

Тарквиний что-то ворчит.

— Что? — говорю я. Не дожидаясь ответа, растираю лицо, шею, за ушами. Ф-фух. Хорошо.

— Завтрак принесут сюда, господин Гай. Местный управитель говорит, что пропретор не сможет позавтракать с вами, но просил располагать всем, что есть в доме.

Завтрак без нудных речей Вара? Прекрасно!

— Да, хорошо.

Тарквиний не трогается с места.

— Что еще? — Я бросаю ему полотенце. Он неловко ловит, я вижу бледное запястье в синих извивах вен, старческие пятна на коже. Как он все-таки стар, мой Тарквиний.

— Вас ждет тот центурион, — говорит старик. — Волтиний...

— Тит Волтумий, — поправляю я. — Подай мне чистую одежду и попроси центуриона позавтракать со мной.

Тарквиний кивает. Но не уходит.

— Что еще?

Я слышу в своем голосе нотки раздражения, усилием воли подавляю. Ты слишком импульсивный, резкий, говорил мне Луций. Прежде чем ты начинаешь думать, ты совершаешь кучу ненужных движений. Остановись, подумай. Досчитай до пяти. И только потом действуй. В бою такое не пройдет, конечно, — там нужно бить

сразу, иначе тебя десять раз проткнут насквозь, но в политике — в политике такое работает. Луций понимал, что говорит. Мой умный старший брат. Мой мертвый старший брат.

— Что еще, Тарквиний? — говорю я, досчитав до пяти. Медленно, спокойным тоном.

— Сегодня будут игры, — говорит старик. — Этот их... как его? управитель сказал, чтобы я вас предупредил, господин Гай.

— Игры? Э-э... в честь чего?

Вроде бы не сезон. Вертумналии уже закончились, а до консуалий — когда начнутся гонки на колесницах и конские бега — еще пять дней. В этот день наши предки украли сабинянок. Ну, что поделывать. Наши предки всегда умели брать то, что плохо лежит. Или что лежит хорошо, но выглядит плохо лежащим. Наши предки были те еще хищники.

— Мне-то откуда знать?

Тарквиний забирает у меня таз и уходит, ворча что-то про глупого хозяина. Главное, не разберешь, что именно он там бормочет, но общий смысл понятен. Домашние рабы вообще часто считают себя умнее хозяев и относятся к нам с некоторым... как бы это назвать? — снисхождением. Вот, удачное слово.

В общем, мне остается только развести руками. А что делать?

* * *

Когда я иду в триклиний, мне навстречу попадается Квинтилион, местный управитель.

— Легат? — Он склоняет голову.

Я киваю, останавливаюсь.

Квинтилион быстро поднимает взгляд, лицо хитрое, словно он его тоже где-то украл.

— Вы слышали новости, господин?

И замолкает. Словно я должен прямо здесь помереть от любопытства. Или вытягивать из него слова пыточными клещами.

— Ну! — говорю я.

Квинтилион снисходительно улыбается — как-то чересчур похоже на Квинтилия Вара. Я часто замечал: рабы, слишком долго живущие у одних хозяев, становятся чем-то на них похожи. Даже

если они потом получили свободу, это не меняется. Впрочем, то же самое можно сказать про собак.

— Могу ли я... — начинает Квинтилион.

— Можешь.

Вольноотпущенник выпрямляется. В проплешине на голове, смазанной маслом, отражается свет.

— Завтра будут гладиаторские игры. Вы прибыли вовремя, господин.

Я поднимаю брови: правда? Квинтилион продолжает:

— Пропретор в честь вашего назначения легатом Семнадцатого Победоносного легиона устраивает праздничные игры.

— А здесь есть...

— Хорошие гладиаторы? — понимает мое сомнение вольноотпущенник. — Конечно, здесь не Рим... и не Италия... Это особые игры. Так сказать, местная особенность. Германцы, как вы, возможно, слышали, легат, очень воинственны. Они превосходные бойцы. Поэтому в играх будут сражаться — кроме осужденных на смерть преступников, конечно, — все желающие. Кажется, в Риме иногда тоже так делают?

«А то ты не знаешь», — думаю я.

— Делают.

— Вы увидите, господин. Это будет незабываемое, великолепное зрелище!

Он что, издевается? Я только что из Рима. Какое провинциальное зрелище может сравниться с большими играми в столице обитаемого мира? Проклятье! Только игр мне и не хватало.

* * *

Когда-то наши соседи по Италии называли нас «кашеедами» — за любовь предков к каше, сваренной из пшеницы. Сейчас простой кашей завтракают только бедняки.

Повар Квинтилия Вара подает на стол фрукты и свежий сыр нескольких видов, вино с корицей и черносливом, подслащенное медом, разбавленное горячей водой, — от него в носу приятное тепло. Круглый пшеничный хлеб, такой мягкий, что кажется: сожми его как следует — он превратится в блин не толще медного

обола, — раб нарежает его крупными кусками. Серебряные ножи и разнообразные ложки лежат на столе рядами, словно у нас впереди десять перемен блюд (а это всего лишь завтрак!), горы чернослива и изюма с орехами — в общем, кормят у Квинтилия Вара на славу. Еще нашего с Волтумием внимания дожидаются медовый пирог, завитки из сдобного теста, посыпанные сахаром, и сладкий творог.

Я пью воду из серебряной чаши и жую изюм — желтый, солнечный. По утрам я почти ничего не ем: не хочу.

Центурион смотрит на меня и говорит:

— Легат?

На его обветренном, загорелом лице отражается вся римская история. Такие, как Тит Волтумий, завоевали для таких, как я, полмира.

Старший центурион смотрит на меня своими ярко-золотистыми глазами.

— Легат?

— Центурион, — говорю я. — Как ваши люди?

Он улыбается одними глазами.

— Спасибо, легат, все хорошо. Мои люди отдыхают. Раненые...

Во время стычки с галльскими дезертирами Волтумий потерял одного солдата убитым, двое были помяты копытами, еще двое — легко ранены. То есть из двух десятков солдат, что он привел с собой, выбыло по разным причинам пять человек.

Из моих пострадали два раба — вознице пробили голову камнем, но он вроде должен отлежаться, а вот второго задавили коровы. Неизвестно, будет он жить или умрет — сейчас рабы разместились в пристройке, в комнатах для рабов.

Я говорю:

— Позовите для них врача, я оплачу расходы на лечение. Позже я хотел бы навестить их.

Центурион кивает.

— Это было бы хорошо, легат.

В воздухе — запах утренней свежести. Я слышу обычную утреннюю суету большого римского дома: голоса рабов и рабынь звучат неразличимым гулом, звон посуды, звуки уборки — шлепанье

тряпок и шелест веников, приказы старшего над рабами — их даже можно разобрать иногда, если внимательно прислушаться.

Я смотрю на Тита Волтумия. Передо мной загадка, которую трудно разгадать. Ветеран, прошедший десятки сражений, умный и сдержанный — по невозмутимой физиономии трудно (вернее: невозможно!) прочесть, что он думает обо мне или о моих решениях. Эдакий упрямый камешек — хоть и обработанный морем, но все еще угловатый. И очень тяжелый. Таким можно и висок пробить.

— Также я хочу наградить солдат, — говорю я. — Прошу вас выбрать наиболее отличившихся. Кроме того, каждый из ваших легионеров получит по пять денариев.

Центурион кивает: понятно. Он доволен.

— Спасибо, легат.

— И еще... — говорю. — Я бы хотел узнать... — Волтумий поднимает взгляд — внимательный. — Скажите, Тит, откуда вы родом?

Пауза. Когда я обучался в греческой гимназии ораторскому мастерству, такую паузу называли «драматической».

— Я родился на Скиросе, — говорит Волтумий наконец. — Это было... давно.

Скирос — это островок где-то в Греции. Давно — видимо, лет сорок назад.

— А почему уехали?

В его глазах я вижу тени воспоминаний. Все-таки зацепил я центуриона, камушек сдвинулся — волна делает свое дело. Его лицо невозмутимо и спокойно, но что-то изменилось. Самые яркие воспоминания обычно связаны с детством. По себе знаю.

...Когда я лежал в постели после пожара и ничего вокруг не слышал, пришел Луций. Сначала я не хотел его даже видеть — забурчал и отвернулся, накрывался с головой одеялом... Смешно. Гудящая тишина и ветерок, теплый и белый, долетающий из двери, — и мой старший брат, стоящий возле кровати. Я не видел Луция, я сидел в душной красноватой темноте сброшенного на голову шерстяного одеяла, но знал, что брат стоит рядом. Почему я злился? Не знаю. Я ничего не слышал, я оглох — и в этом был виноват весь мир. И мать, и отец. И даже раб, наливающий воду

из кувшина, — я ударил его по руке, чашка выпала — я видел, как она падает — всплеск воды! — она ударилась об пол и с неслышным мне звоном укатилась под кровать.

А потом я снял одеяло и осторожно выглянул. От яркого света после темноты одеяла вокруг сияли цветные полосы. Луций — почти взрослый, спокойный. Он улыбнулся одними глазами и протянул ладонь, закрытую другой ладонью. «Смотри, Гай». Его губы не шевелились, но я помню, как услышал эти слова. Я против воли вытянул шею. Что там? Ладони оставались неподвижны. На коже лежит светлый контур от окна. В теплом воздухе кружится золотистая пыль. «Смотри». Он убирает ладонь — медленно, осторожно. Там...

Я моргаю.

— ...легат?

Центурион наклоняет голову на левое плечо, как делают большие собаки. Взгляд внимательный.

— Мне нужно идти. Распорядиться насчет раненых.

— Конечно, — говорю я.

Он кивает и начинает подниматься.

— Один вопрос, центурион.

Он замирает, теперь действительно озадаченный.

— Легат?

— Что вы натворили?

В глазах мелькает нечто странное, тут же исчезает.

— Я не понимаю.

— Вы плюнули кому-то в кашу? Переспали с женой префекта лагеря? Что?

Ноздри Тита раздуваются, но он берет себя в руки.

— Ну должна же быть причина, — говорю я. — Как такой крутой и заслуженный старший центурион, как вы, оказался на такой жалкой службе, как сопровождение и охрана нового легата... во главе всего двух десятков солдат? Не слишком почетное назначение, верно? Просто катастрофа. Обычно для такой ерунды выделяют одного из младших центурионов.

— А если я сам вызвался? — спрашивает Волтумий с интересом. Кажется, его начинает забавлять моя настойчивость.

Я хмыкаю.

— Тогда вы — идиот. Я, может быть, очень давно служил младшим трибуном, но кое-что я все-таки помню. Командовать таким караулом — почти то же самое, что командовать водовозами... ну, или палаческой командой. Не слишком почетно. Верно?

Тут я смотрю на Волтумия и думаю: да нет, не может быть...

— Вы что, серьезно? — говорю я. — Да ну...

— Палаческой командой я тоже командовал, — говорит Тит Волтумий негромко. — Не самое приятное было назначение, легат.

— И? — говорю я.

— Я принес клятву повиноваться, — говорит Волтумий. Конечно. Воинская присяга, ее дают раз в год.

— Хватит, центурион. Что вы сделали?

— У нас с префектом лагеря Эггином, — он усмехается половиной рта, — некоторые разногласия, легат. Поэтому я получаю самые лучшие назначения, какие только можно отыскать.

Моя шутка насчет «жены префекта лагеря» оказалась опасно близка к истине. М-да. Дела.

— Подайте жалобу, — предлагаю я.

Это вариант. Выше префекта лагеря в Семнадцатом легионе — только я, его командир. Волтумий усмехается, потом говорит:

— Не думаю, что это необходимо, легат. Разрешите идти?

Выпрямляется.

— Легат?

Я вздыхаю. Вот упрямый сукин сын. Так и не ответил на мой вопрос. Встаю и смотрю на Волтумия. Долго смотрю. Угловатый булыжник с янтарно-желтыми глазами. Центурион стоит навывтяжку. Невозмутимый, как... Он может так стоять неделю. Интересно, что у них там за разногласия с префектом лагеря?

— Вы понимаете, старший центурион, что, раз я команду теперь Семнадцатым, я должен знать, что творится в моем легионе? Отвечайте!

— Да, легат. Понимаю, легат.

Сукин сын!

— Еще раз: что у вас происходит с префектом лагеря Эггином?

Волтумий молчит. В воздухе кружится пыль. Где-то в доме передвигают нечто тяжелое, я слышу грохот и нетерпеливые голоса.

— Тит, я жду.

— Это личное, легат.

Я могу приказать ему отвечать. Я могу лишить его половины жалованья за год — и все равно ничего не добьюсь. Он хороший солдат, этот Волтумий, и хороший центурион. Но мне придется очень постараться, чтобы он мне что-то сказал. Легион — воинское братство, там свои законы. Так что сейчас мне придется отпустить Тита, так ничего и не узнав.

Первое правило военачальника: если не уверен, что приказ выполнят, — не отдавай его. Это бьет по авторитету.

— Хорошо, Тит, — говорю я. — Спасибо, что составили компанию. Можете идти.

Когда шаги центуриона затихают вдали, я пытаюсь понять, что я сделал не так. Кажется, ничего такого, все в порядке — но остался некий осадок. Как в чаше, куда налили плохо процеженное вино. Луций, Луций, во что я ввязался? Ну какой из меня, к подземным богам, легат?

И зачем тебе только понадобилось умирать?!

Из открытого окна слышен городской шум.

ГЛАВА 5

ОДНОРУКИЙ

Перед обедом я беру двух рабов в качестве носильщиков и отправляюсь в бани. Ализон выстроен в основном из кирпича — в то время как Рим уже давно мраморный. Варваров в городе столько, что, кажется, это они нас завоевали, а не наоборот. Везде римские патрули — и солдаты в основном регулярных легионов, а не ауксиларии.

Все римские города похожи. Рах Romana — Римский мир начинается с самого простого. Каждый гражданин Рима имеет право, где бы он ни находился, на следующее:

Бесплатные общественные бани с горячей водой и оливковым маслом. Потом — холодный бассейн, где можно освежиться и провести время в беседе;

Базилика, где заключаются сделки и проводятся суды. Там же можно найти юриста, чтобы составить жалобу и завещание, подать иск или нанять адвоката;

Театр, где играют комедии и трагедии, в основном греческих авторов, но иногда и римских — вроде Теренция, сделавшего для римской драматургии то же, что Гай Марий сделал для римской армии. А именно: оторвал ее от обоза — от греков, и приучил быть подвижной, как молния.

Рынок, где предлагают свои услуги все, кто не попался вам в бане, в базилике или в театре: торговцы, расхваливающие товары со всего света, рабы и рабыни, цирюльники и шарлатаны. В угловой палатке за полотняной ширмой практикует зубодер;

Лупанарий — публичный дом. Пользуйтесь услугами гречанок! Скидка на групповые посещения. Только сегодня темнокожие

нумидийские «волчицы» проездом из самой Ливии (они что, там тоже были проездом?);

Храмы богов — Квирина и Юпитера, Юноны и Весты, а также Божественного Августа — новый бог империи просит не забывать, кто здесь главный. Здесь же практикуют авгуры и гаруспики, жрецы всевозможных религий (иногда их храм состоит только из грязной чаши для подаяний).

И, конечно, амфитеатр.

Какой город обходится без амфитеатра?

Гладиаторские бои, вспоминаю я слова Квинтилия Вара. Празднование в честь нового легата. Меня.

Я иду по рыночной площади — чистый и хрустящий, в белоснежной тоге. Я только что побывал в бане.

Красные одежды варварских женщин мелькают тут и там. Германки высокие, светловолосые и красивые — как мне кажется. Пока это общее впечатление. Я еще не видел их вблизи... И не видел без одежды. Что, конечно, следует исправить.

Рынок шумит так, словно через час намечено извержение ближайшего вулкана и все исчезнет в дыму и пламени — поэтому давайте сделаем это здесь и сейчас! Но при этом все торгуются с таким остервенением, словно собираются жить вечно.

В центре площади, на возвышении, глашатай хорошо поставленным голосом объявляет о празднестве в честь благородного Гая Деметрия Целеста, нового командира Семнадцатого легиона. Латынь с четким акцентом — но, чеканная и звучная, она летит, ударяется о стены зданий и отлетает. Будут пир и бои, говорит глашатай. Бои до смертельного исхода. Приглашаются все желающие, кроме рабов и вольноотпущенников. Желающие участвовать в поединках должны подойти к... обещаны ценные призы... награда... из рук самого пропретора...

В общем, будет кровь.

Народ шумит и выражает свое одобрение.

Затем то же самое повторяет другой глашатай — но уже на германском. Резкие хрипящие и стучащие согласные, количество слогов зашкаливает, глухих звуков столько, что речь его скорее падает

вниз, чем куда-то летит. Германская речь оседает в проемах между домами, как мучная пыль.

Когда я прохожу мимо птицегадателя, тот что-то начинает говорить, обращаясь ко мне, — я киваю и быстрее иду дальше. Еще и тебя не хватало. Две рыжие курицы, дергая головами так, что те вот-вот оторвутся, квохчут и переступают ногами. Зависеть от предсказаний глупых птиц — спасибо, кажется, есть и другие способы выглядеть глупым. Сам Гай Юлий Цезарь (великий Цезарь!) был противником гадателей любого толка: зависеть от цвета печени или кудахтанья курицы там, где в первую очередь требуется отточенный и ясный разум, быстрота мышления и решений, — ну уж нет. И я прекрасно понимаю Цезаря.

Я мельком поднимаю взгляд и вижу — небо серое, но более-менее ровное, похоже, дождя пока не будет. Моя сенаторская тога привлекает внимание нищих и попрошайек. Местные попрошайки не слишком отличаются от римских — разве что говорят с глухим и рыкающим акцентом.

— Подходите, подходите! Маг и кудесник с востока, великий Острофаум! Он покажет вам чудеса и секретные...

Фокусник. Вокруг зазывалы и небольшого шатра собирается толпа, в основном германцы огромного роста. Я слышу смех и выкрики. Я с интересом рассматриваю их, гигантов для нас, римлян. В отличие от галлов, уже привыкших к Римскому миру, местные выглядят... дикими. В Риме запрещено движение повозок, кроме тех, в которых передвигаются избранные люди — преторы и старшие должностные лица сената. Остальные граждане, вне зависимости от возраста, ходят пешком или передвигаются в паланкине. В Германии все по-другому. Здесь, в провинции, верхом по городу ездят все подряд — от солдата вспомогательной алы до последнего варвара. Я еле уворачиваюсь из-под копыт очередного всадника.

— Вы увидите небывалое! Невозможное! Чудесное! — кричит зазывала.

Толпа поддерживает его криками, она готовится увидеть все эти «чудеса из Парфии и Египта» — как будто все эти названия ей, толпе, что-то говорят.

Из-за высоких спин варваров я не вижу толком, кто выступает. Над толпой возвышается лишь остроконечный колпак — вроде колпака вольноотпущенника, только украшенный чем-то блестящим. Тусклый свет местного солнца отражается в нем, тусклые — в тон — зайчики бегут вокруг.

Фокусник что-то делает — я не вижу что, но толпа взрывается гулом. Я стою. Рабы за моей спиной, я слышу сопение одного из них. Оглядываясь, я вдруг натываюсь на чей-то пристальный взгляд. Моргаю. Возвращаюсь туда, где только что...

Взгляд недобрый и холодно-резкий, как острие меча. Голубые глаза. Варвар.

Я снова поворачиваю голову, высматриваю в толпе того, кому принадлежал взгляд... не вижу! Нет, вижу! Высокий даже для германца варвар — с желтыми волосами, как говорят в Риме, — вдруг поворачивается и начинает пробираться в сторону, словно это не он смотрел.

Я иду туда быстрым шагом. Просто любопытство? Может быть. Не часто в Ализоне увидишь сенатора Рима, но, сдается мне, это было не простое любопытство. Один из рабов несет мои вещи. У другого, Приапа, в корзине мой меч, а кинжал я спрятал в складках своей тоги.

Может быть, это один из тех варваров, что напали на мою повозку вчера? Я иду. Долговязый варвар уходит от меня, расталкивая прохожих — они разлетаются, как фишки при игре в мяч. Кто ты, варвар? Я едва не натываюсь на замешкавшегося торговца — кажется, из Греции. Твою мать... с дороги! Я резко сворачиваю и обхожу торговца — греческая шапочка над багровой бородатой физиономией едва не слетает, когда я случайно задеваю грека плечом. Проклятье! До чего неудобна тога в такие моменты. Все-таки это одежда для мира, а не для войны.

Иду. Рабы за мной не поспевают, я слышу возмущенный возглас торговца, но не оборачиваюсь.

Неужели нападение было неслучайным?!

Высокий германец все дальше. Сердце мое разгоняется, словно несущийся по мавританской пустыне скакун. Дурацкая лошадь! Все окрашивается кровавым отсветом, точно вокруг вода, в которую капает кровь из обрезанного ножом пальца.

На германце простая одежда из некрашеного холста, рубаха с длинными рукавами, он подпоясан ремнем с бляшками, они отсвечивают на солнце. Штаны — конечно, штаны, все варвары их носят — гораздо удобней сейчас, чем моя тога. Германец двигается как воин или подготовленный атлет. Несмотря на мои усилия, он все дальше.

Врешь, не уйдешь. Я почти бегу, нащупывая кинжал под тогой. Белая пола, перекинутая через левую руку, треплется на ходу.

— А сейчас! — кричит зазывала фокусника. — Вы увидите небывалый, невозможный трюк, которому мой господин научился, будучи в Африке!!!

Вижу справа патруль из двух легионеров с оптионом, без доспехов, только в туниках с боевыми поясами. Ко мне, показываю жестом. Быстро!

Они замирают, переглядываются. Оптион видит мою тогу и резко кивает. Они бегут ко мне. Еще бы. Нечасто им в Германии попадаетесь целый римский сенатор...

— Господин, — кивает оптион. Он немолодой, почти ветеран, скорее всего италик, с редкими седыми прядями в короткой легионерской прическе. — Что случилось?

— Видите того германца? — Я показываю в сторону, куда убежал светловолосый. Он быстро удаляется, сейчас он свернет с площади куда-нибудь в переулок — и поминай как звали. Он мне нужен. — Догнать и схватить — живым! Возможно, это мятежник. Выполняйте.

— Но... — Оптион замолкает и поворачивается к солдатам.

Те уже без всякой команды срываются с места, бегут, на ходу доставая мечи из ножен. Оптион кивает мне и спешит следом. Калиги гулко хлопают по камням рыночной площади.

Я иду за ними быстрым шагом. Проклятый германец — я вижу пучок светлых лоснящихся волос, у него они связаны на затылке. Интересная штука. Такой прически я у варваров, что напали на нас вчера, не заметил. Может быть, я ошибаюсь?

Но тогда почему он удирает? Легионеры бегут, сбивают на ходу какого-то горожанина, тот кричит возмущенно. Опрокидывают корзину. Германец оглядывается на мгновение. Мне кажется, что голубой режущий взгляд задевает меня, касается лица. В Риме это

считается дурным воспитанием и угрозой — такой прямой взгляд. К тому же — не самый добрый. Я почти отшатываюсь, но продолжаю идти. Если бы не мое сенаторское достоинство, я бы побежал. Я и так почти бегу. Мир вокруг качается и дергается.

Легионеры бегут. Один из них налетает на какого-то германца, падает. Варвар свирепо кричит на легионера, хватается за кинжал. Его приятели — несколько верзил с длинными волосами, двое рыжие, — хватают варвара за руки. Что-то говорят ему. Лицо германца бешеное. Проклятье, не вызвал ли я волнений в городе? Это было бы ни к чему. Легионер вскакивает и кричит:

— Пошел в задницу, варварская рожа!

Меч его вылетает из ножен... блеск металла.

— Нет!!! — кричу я. — Отставить! Ловите другого!

Легионер, дернувшись от моего крика, поворачивает голову. Видит меня, опускает меч. Грозит варвару кулаком и бежит дальше.

Обиженный германец поворачивается и кричит ему вслед. Проклятый варвар. Я стервенею — что они себе позволяют?! Я — Рим. Через несколько шагов я уже рядом с варваром. Он поворачивает голову, видит меня — и смеется. Я ниже его на голову и легче. Пожалуй, будь мы атлетами на арене цирка, это посчитали бы неравноценной схваткой и велели бы каждому выбрать себе соперника по росту. К счастью, сейчас нет никаких судей. А мы не атлеты, вес здесь не имеет значения. Разве что длина рук.

Я останавливаюсь и смотрю на германца. «Ты слишком импульсивный, Гай». Луций, Луций. Мой разумный старший брат. Мой мертвый старший брат.

— Ты что-то сказал про римского солдата? — спрашиваю я. Внутри меня все замирает — момент, который Аристотель описывает как *ethos* — осознание того, что сейчас случится, во взгляде человека — за мгновение до того, как это случится. Так смотрит Медея на своих детей, пока они еще живы. Так смотрит Язон за мгновение до того, как на него обрушится старый «Арго»...

Краем глаза я вижу: легионеры бегут за светловолосым германцем. Длинные рукава рубахи... стоп. Тут я понимаю одну вещь, но оставляю ее на потом, потому что сейчас мне не до того. Я стою перед германцем и молчу.

Варвары тоже молчат. Тот германец, что оскорблял легионера, стоит словно бы отдельно от остальных. Он смотрит на меня и усмехается. Пятеро варваров рядом, но отдельно от него — ждут, что будет.

Я молчу. От ярости у меня звенит внутри. Я — чертов легат Семнадцатого. Сенат и народ Рима!

Германец бросает мне что-то на своем хрипяще-рыкающем грубом языке. Я не понимаю ни слова, но тон — презрительный и издевательский — тут ошибки быть не может.

Я улыбаюсь. Нащупываю рукоять пугио — короткого кинжала, она деревянная и рельефная. Сжимаю ее, вытягиваю кинжал из ножен. Смотрю варвару в лицо — глаза его светлые и слегка озадаченные. Я много меньше его ростом, к тому же римлянин. Возможно, этот германец не раз ходил в разбойничьи набеги на тот берег Рения, пощипать богатые города Косматой Галлии. Возможно, он даже встречал и убивал римлян — не легионеров, а обычных землевладельцев.

Лицо варвара гладко выбрито. Я смотрю на его кадык, выступающий под кожей, — он почти утоплен в крепкой шее, но... Я вполне способен прорезать там второй рот. И — улыбайся сколько хочешь.

«Гай, ты слишком...»

Варвар начинает смеяться. Он один смеется, словно приглашая друзей разделить его радость. Но они молчат. Все вокруг молчат — я чувствую, как вокруг меня сгущается, застывает тишина. Рыночная площадь, германец и римлянин — и тут вопрос важнее, чем то, сколько стоит сегодня мера овса или телячья шкура...

Когда-то Гаю Юлию Цезарю, чтобы установить в Галлии мир, пришлось отрубить руки четырем тысячам кадурков. А потом разослать выживших безруких калек вместе с когортами по Галлии, чтобы ужаснулась она вся. Чтобы варвары поняли, что мы настроены серьезно. Впечатляет не сама жестокость, а масштаб жестокости.

— Вахум? — говорит германец.

Его рука, я вижу его длинные сильные пальцы, почерневшие от работы, грязь никогда нельзя вычистить из-под ногтей, светлые

ногти... его рука спускается к поясу... медленно, медленно... ползет к рукояти кинжала, в навершие которой вделан тусклый белый камень.

Я держу руку на кинжале и жду. Когда он потянет рукоять кинжала вверх, я сделаю шаг вперед и, выдергивая пугию из ножен (он короткий, это займет меньше времени, чем у германца... к тому же я быстрый), разверну плечо. Кинжал взлетит, разогнанный инерцией поворота — как из пращи, опишет полукруг и вонзится германцу под кадык.

Так и будет. Я это уже почти вижу.

Глаза германца — ярко-голубые и напряженные. Я уже почти забыл, что где-то там бегут легионеры за светловолосым верзилой-варваром.

Его рука спускается ниже, к рукояти. Еще миг и...

— Нет, — говорит чей-то голос. Я вздрагиваю. Он кажется мне знакомым, этот голос. Но я не смею обернуться.

— ...! — говорит голос по-германски. — ... шайсен!

Германец вдруг замирает. Глаза его расширяются — он узнал говорящего. Кто это, Тифон побери?

В последний момент рука германца все-таки выхватывает кинжал. Долгое, растянутое мгновение. Кажется, я еще успею ударить пугию.

В следующее мгновение меня толкают в бок. Проклятье!! Я вижу блеск меча — длинного, как у всадников. Клинок опускается... Германец кричит. Его рот распялен в крике, я вижу, что часть зубов сгнила.

— А-а-а-а! — кричит германец.

Его кисть с кинжалом падает в грязь под ногами, брызги взлетают, падают. Разбиваются. Она лежит в луже, пальцы на мгновение чуть дергаются или это мне кажется? Не знаю.

Крик боли.

Следует резкая команда на германском. Соседи варвара дергаются, но подчиняются. Они хватают германца под мышки, из его обрубка хлещет кровь, его тащат куда-то. Дальше я не вижу его за спинами других варваров. Но еще долго продолжаю слышать вопли германца и ругань тех, кто его тащит.

Тогда я наконец поворачиваюсь. Моя рука все еще лежит на рукояти пугио. Сердце колотится, как проклятое. Я почти чувствую на запястье тонкую линию, по которой пройдет лезвие меча. Проклятье, не хотелось бы. Но что это было? Кто искалечил германца?

Поворачиваюсь и некоторое время смотрю. Моргаю.

Надо же. Передо мной — Арминий. Царь херусков и командир вспомогательной когорты.

— Ты слишком импульсивный, Гай, — говорит он.

Я зажмуриваюсь на мгновение, снова открываю глаза.

— Что?

Слуга подает ему тряпку. Арминий вытирает лезвие спаты и убирает меч в ножны.

— Это варварская страна, — говорит он мне. — Вы должны быть осторожны, легат.

Легионеры возвращаются. Нет, они не догнали германца. Один из них идет, держась за голову и охая. Рука запачкана красным.

— Что случилось? — спрашиваю я.

Опцион выпрямляется. Выглядит виноватым.

— Сенатор! Мы почти его догнали...

— И что случилось? — спрашивает Арминий.

У него прекрасная латынь, но легионеры глядят на него почти с открытой ненавистью. Пусть он друг римского народа, но все равно — проклятый варвар.

Белая туника легионера — в пятнах крови. Он держится за голову и морщится. Резкое лицо его — смуглое лицо уроженца Средиземноморья — выглядит бледным и усталым.

— Желтый, — так легионер обозначает цвет волос германца, — обманул нас и подстерег. Мы потеряли его на перекрестке, пришлось разойтись по одному. Когда... В общем, задница Тифона, он ударил Ламлия по голове... — Он медлит, потом продолжает: — И забрал его меч.

Все становится ясно. Я смотрю на опциона:

— За потерю оружия милит Ламлий должен быть наказан. Я надеюсь, ты не забудешь. — Опцион нехотя кивает. — Ты же, как его командир, допустивший такое, доложишь обо всем

своему центуриону. За попытку — спасибо, но вы ее провалили.

Арминий молчит. На германце римская одежда со знаками отличия префекта.

— Думаю, — говорит он своим мягким грубоватым голосом, — вам стоит идти выполнять, оптион Силва.

Надо же, он знает их по именам. Откуда? Оптион тоже впечатлен. Он вытягивается по струнке.

— Разрешите выполнять, легат?

— Выполняйте, — говорю я.

Оптион разворачивается на пятках и уходит, печата шаг. Сзади ползет побитый Ламлий, ему помогает третий легионер, которого не били. Они все меня ненавидят.

А желтоволосый нас провел. Меня провел. Кто он такой, интересно? Проклятые варвары, думаю я. Только Цезарь умел с ними справляться — по-настоящему.

И тут я понимаю, что показалось мне странным в желтоволосом германце, что ударил легионера и скрылся. Еще бы! Цезарь, четыре тысячи искалеченных кадурков... Восемь тысяч отрубленных рук. Говорят, рубили особые палачи, выбранные из тех же кадурков — им было обещано помилование. На каждого пришлось по восемьдесят человек. Цезарь придумал специальное устройство — лезвие, зажатое в тисках. Руки укладывают на лезвие и бьют по ним молотом. Все. Как продумано! В этом весь Цезарь.

Какая ирония, однако. Я поднимаю голову и вижу храм Божественного Августа и Рима. Статуя принцепса из темной бронзы. Молодой человек с тонкими чертами лица смотрит куда-то над моей головой.

Я хмыкаю. Да уж, как я сразу не понял. У желтоволосого не было правой кисти. В отличие от кадурков, которые лишились обеих рук, этот сохранил одну. В общем, найти его будет просто...

Хм-м. Я смотрю на царя херусков. Арминий невозмутим, меч в ножнах, на руках — наградные браслеты за храбрость в бою. Красавец и умница.

...Хотя, если Арминий рубит кисти соплеменникам достаточно часто, задача моя несколько усложнится.

Начинает темнеть. У Водяных ворот Ализона дует ветер, завывает в узких переулках. Над входом в таверну покачивается вывеска. Там синяя рыба держит в плавниках зубочистку с наколотой на нее свиньей. Свинья розовая и счастливая, рыба грустная и, кажется, давно уже сдохла. Вывеска покрыта толстым слоем копоти.

Надпись на латыни гласит: «СЧАСТЛИВАЯ РЫБА».

Мирца, кухонная рабыня, некоторое время смотрит на нее, вздыхает. Подходит к сточной канаве и вываливает туда ведро с отбросами. Вонь от канавы такая, что слезятся глаза. Рыба, думает Мирца, наверное, потому и грустная — она знает, чем здесь кормят. Так что вывеска — это скорее надгробие.

В общем, заходите, будем рады.

Мирца отряхивает пальцы, берет ведро. Пора возвращаться. В дым, пыль, чад и липкое пространство таверны, перечеркнутое похотливыми руками. «Опять на заднице будут синяки, — думает Мирца. — Как мне все это надоело».

В этой таверне бывают солдаты вспомогательных когорт и легионеры, варвары и римляне, калеки и попрошайки, рабы и всякий сброд. Германцы здесь частые гости. Высокие, длинноволосые, с громким смехом.

Для Мирцы, приехавшей вслед за хозяином из Италии, эти люди — тоже варвары.

А для варваров она — женщина. Хотя, возможно, они в этом сомневаются, потому что постоянно пытаются ее ощупать. Мирцу передергивает. Чтоб вы все провалились. Ей всего двадцать три (или двадцать четыре?), а она уже залапана на двести лет вперед.

В таверне дым и чад, воняет гарью, а столы стоят так плотно, что, чтобы проскочить между ними (и руками, да), нужно приложить недюжинные усилия. Вонь жареного мяса и каши, резкий запах пива и...

— Твой пришел, — шепчет Фера, еще раз толкает Мирцу локтем. — Не пропусти!

Мирца почти краснеет. В отличие от местного сброда, этот гем совсем другой.

Вот он идет. Высокий, плечистый, стройный. Кажется, у него талия тоньше, чем у любой из местных девушек. Двигается он лениво,

чуть расхлябанно, даже угловато. И если бы не шрамы, его можно было бы назвать красивым.

— Всем привет! — Он весело скалится.

...И если бы не рука. У гема нет правой кисти. Поэтому он приветствует присутствующих, помахав им обрубком. Некоторые воспринимают это как оскорбление. Варвару кричат: иди в задницу!

Мирца хмурится. Это тот страшный и веселый гем со шрамами на лице и изуродованной рукой. Когда он смотрит ей в лицо, внизу живота появляется слабость, между ног теплеет. Хочется сразу раздвинуть ноги и одновременно — убежать и спрятаться. Чтобы он никогда-никогда тебя не нашел.

Поэтому что у этого веселого гема на самом деле — два лица. Мирцу передергивает. Это правда. Мало кто это видит, но она... Она это видит, к сожалению.

Когда гем решает, как поступить, на мгновение — очень короткое мгновение! — на его лице проступают одновременно два разных выражения. Два человека. Один добрый, другой злой. Нет, не злой. Мирца думает, морщит нос. Не злой, а холодный. Пустой.

— Иди же, — шипит Фера над ухом. — Иди, сейчас уйдет!

Мирца упорно стоит. Гем улыбается, перебрасывается шутками с посетителями, хлопает кого-то по плечу здоровой рукой. Он весел и бодр. Показывает кому-то меч легионера — смотри, купил. Ему кричат: ладно, купил, — украл! Варвар смеется: точно, украл, откуда знаешь?

Чтобы не идти в его сторону, Мирца делает вид, что вытирает стол тряпкой. Посетитель взирает на нее в полном изумлении — видимо, при нем этого никто не делал.

Гем смотрит на нее. Мирца отворачивается, изображает, что страшно занята. Через несколько мгновений она краем глаза видит, как гем поднимается вверх, на второй этаж. Туда, где комнаты для развлечений...

— Ну и дура, — говорит Фера громко и уходит, проталкиваясь через посетителей.

Мирцу обвивает чья-то рука, она привычно шлепает по пальцам, мгновенно выкручивается из потных объятий, идет дальше. За спиной кричат что-то веселое.

Здесь гема зовут Тиуториг. Он варвар, который может тебя ударить и приласкать — в один и тот же миг. Но даже не это пугает в нем больше всего...

Мирца вспоминает.

Словно в варваре — два разных человека. Это как игра в «консула». Они сидят за столом. Один большой, другой маленький, один умный, другой не очень. Они бросают кости, чтобы определить, кто выиграл. И тот, у кого больше очков, встает и занимает место консула. Решение принято. И лицо веселого гема изменяется... Странно, что проигравший никогда не злится, а выигравший никогда не радуется. Вот это пугает.

Равнодушие. Вот что делает веселого гема таким опасным, думает Мирца. Равнодушие, а вовсе не злость. Она видела злых людей, много злых людей — и они другие.

— Мирца, тебя хозяин зовет! — кричат ей с кухни. — Живее давай!

Она вздыхает. Ну вот, только чуть задумаешься...

Когда она заходит туда, вытирая руки о передник, то первым делом видит перевернутый котел, на полу огромную лужу фасолевой похлебки. Лежат куски мяса. Пар поднимается от лужи, рядом толстая служанка воет. Вой не такой, как обычно, а нутряной, настоящий. Хозяин сидит на стуле, смотрит на свою руку, на ней мокрое полотенце. Наконец снимает его — Мирца отводит взгляд. На красной, обваренной руке вздулись пузыри. Взгляд хозяина спокоен — он смотрит на пузыри даже с некоторым интересом.

Рядом на огне кипит суп, от которого отчетливо несет рыбой.

— Иди, отнеси ты. — Хозяин морщится от боли. — Видишь, эта дура обварилась!

Мирца непонимающе переводит взгляд с него на толстую служанку.

— Что отнести?

— Поднос, глухня, — говорит хозяин. — И не смотри на меня так. Не смотри, сказал! У тебя глаз недобрый. Вон, дурынду эту сглазила...

— Я? — спрашивает Мирца, опустив руки. Опять про нее так говорят. Боги, за что?

— Ты меня сглазила! — кричит толстуха. — А-а-а!

От ее воплей болит голова.

— Ты, ты, — повторяет хозяин. Крупное, блестящее от пота лицо морщится. — Она дура, но говорит правду. Дурной у тебя глаз, Мирца. В общем, бери поднос и тащи наверх. Двенадцатая комната... Да не ори ты! — набрасывается хозяин на толстуху.

«Дурында» воет.

...Второй этаж, вино и оловянные чашки для влюбленной парочки. Когда Мирца идет обратно, то слышит за спиной, в одной из комнат, смех. Очень знакомый смех.

Дерево под ногами скрипит. Она замирает, возвращается. Слушает. Ага, здесь, за плотным занавесом. Мирца медлит, потом искушение становится слишком сильным. Она подходит и осторожно, стараясь громко не дышать, заглядывает в щелку. Ох!

В комнате двое. Пока она видит только Тиуторига, стоящего у окна, его резкий профиль и щеку в шрамах. Потом видит чье-то колено. Кажется, это римлянин — ноги не в штанах, а голые, край плаща свисает до середины мускулистой икры.

На столе лежит меч, какие бывают у легионеров. Рядом — кувшин, блюдо с вареными овощами по-римски и две чаши, дешевые, оловянные. Тиуториг берет одну, нюхает содержимое — брови вздергиваются на мгновение — и ставит чашу обратно. Застывает на долю мгновения...

Другие тоже иногда это замечают, думает Мирца. Но только она видит это постоянно. Заминка самая крошечная, но она есть. Потом: щелк! В лице веселого гема что-то меняется.

— Вино? У нас что, праздник? — говорит Тиуториг насмешливо, подходит к окну, выглядывает. — Новый год? Или как это называется у римлян? Сатурналии?

— Что-то вроде, — другой голос. Низкий и очень приятный. — Ты его нашел?

Они разговаривают на латыни. Тиуториг качает головой, ухмыляется.

— Он глазастый. Я думал, римлянин совсем тюфяк, а он меня вычислил. И сразу в погоню бросился, представляешь? Смелый. Надо было позволить ему догнать. Это было бы интересно... Знаешь, я бы свернул ему шею, пожалуй. А может...

— Римлянина пока не трогать! — звучит повелительно.

Тиуториг резко поворачивает голову и смотрит, не мигая. Голубые глаза кажутся стеклянными. На месте человека с приятным голосом Мирца бы поседела. Или убежала и спряталась куда подальше.

Щелк. Тиуториг вдруг расслабляется. Смеется. Он снова удивительно обаятелен.

— Хорошо, не буду. Пусть живет. Тогда зачем звал? Я как бы слушаю.

— Хочу, чтобы ты еще кое-что для меня сделал, — говорит человек с приятным голосом.

— Что на этот раз? — спрашивает веселый гем. И опять, прежде чем ответить, Тиуториг застывает на долю мгновения, и она видит два его лица вместе. Жуткое ощущение. — Опять водить римлян по лесу? Я тебе что...

Он называет имя, которое Мирце ничего не говорит. И человеку с приятным голосом, видимо, тоже. Поэтому тот некоторое время молчит.

— Нет, в этот раз другое, — говорит он наконец.

Тиуториг усмехается. Поднимает чашу со стола, нюхает, ставит обратно. Это как ритуал.

— Иногда я не могу понять тебя, — говорит приятный голос. — Зачем ты делаешь все, что ты делаешь? Денег тебе не надо, хотя ты их и берешь. Что? Зачем?

— Тебе обязательно нужны причины?

— Ничто в мире не случается просто так. У всего есть причины и повод. Их просто нужно найти. Как правило, человек достаточно прост. Но ты — нет. Поэтому я хочу знать. Понимаешь? Например, я знаю, что ты не отсюда, поэтому могу предположить, что...

За спиной Мирцы в стену с громким треском ударяется оловянная чаша, падает, звенит. Пьяный голос кричит что-то, занавесь задерживается...

О боги. Нет.

— Что?! — Человек с приятным голосом мгновенно поворачивается к двери.

Нет. Мирца еле сдерживает крик. Теперь она видит: у человека, который говорит с Тиуторигом, гладкое неживое лицо. Ни единой морщинки. Маленький нос, изящные вырезы глазниц, рот изгибается в полуулыбке. Серебряная кожа, в которой отражается свет.

Мирца отшатывается. Наконец понимает. Это же маска!

Человек моргает. Из глазниц в серебряной поверхности смотрят живые глаза. Сквозь щелочку в занавеси — прямо в глаза Мирцы. Человек встает...

В последний момент ей удается ускользнуть, выскочить на лестницу. Она спускается на цыпочках. Тише, тише, тише. Сбежав по лестнице вниз, она замирает, прислушивается. Туника задралась, обнажила бедро — в последнее время хозяин делает их все короче, словно экономит на ткани... Бедро в следах синяков. Мирца ждет. Сердце колотится так, что, кажется, ее найдут только по его бешеному стуку. Наверху — тишина. Бух, бух, бу-бух — стучит сердце.

Внизу шумят люди. Крики и смех. Мирце вдруг отчаянно хочется вернуться в эту суету и чад. Хозяин будет меня искать... будет искать.

И тогда Тиуториг убьет хозяина, понимает она холодно.

Кажется, проходит вечность. Тишина.

И тут она чувствует взгляд. На нее кто-то смотрит.

Мама, думает она.

Мирца медленно поворачивает голову. Вздрагивает. Все кончено. Надо вскочить, броситься вниз, бежать, кричать, спасаться, просить помощи... Но ноги ослабели. И Мирца понимает — не убежать. От него — не убежишь. Над ней возвышается Тиуториг. Он страшно высокий в эту минуту.

Он спускается по ступенькам — мягко, плавно. Опасный. Смотрит на нее, молча, равнодушно.

Он опускается на ступени рядом. Смотрит на нее своими ярко-голубыми глазами — без выражения. Не мигает. «Надо закричать, — думает Мирца, — мама, он меня убьет. Ма-ма. — Она держится. — Не надо, — думает она, — нет, нет». Время застывает. Щелк. Его лицо оживает.

Мирца открывает рот, чтобы крикнуть...

Он аккуратно прикладывает палец к ее губам. Крик застывает у нее в горле. Мирца боится дышать. Палец твердый, пахнет кожей и старым деревом. И слегка — безумием.

— Ш-ш-ш, — говорит гем, глядя ей в глаза.

Мгновение все длится. «Что он со мной сделает?» Мирца умирает тысячу раз, а мгновение все идет.

Уголок его рта дергается. Мирца не верит своим глазам. Варвар начинает смеяться. Убирает руку. Подмигивает ей — варвара все это явно забавляет. Он поднимается на ноги и взбегает наверх. Вот уже скрипнуло дерево. Шелест занавеси. И вот его нет...

Мирца остается сидеть одна. Без сил.

«О боги, — думает она. — Что это было? Почему... Почему он меня не убил?»

* * *

— Что это было? — спрашивает человек в серебряной маске, когда варвар возвращается.

— Ничего, — говорит Тиуториг. Задерживает занавесь, поворачивается к собеседнику. Лицо варвара на мгновение застывает. Щелк. Оживает. — Слушай, я с этой твоей рожой вечно вздрагиваю. Еще немного, и она начнет являться мне в кошмарах... Так что я должен сделать?

— Многое. Скоро здесь многое изменится, — говорит серебряная маска. — Время римлян почти ушло... Зато приходит наше.

В коридоре звенит чаша, катится по полу, и опять пьяный голос что-то кричит, хриплый от ярости. Тиуториг улыбается.

ГЛАВА 6

ИГРЫ

Местный амфитеатр пока еще не каменный, все сделано из местного дерева. Небольшого размера, как раз для гладиаторских боев. Зрителей набралось столько, что от криков звенит воздух. Полотна, закрывающие зрителей от солнца, хлопают на ветру.

Я прохожу на свое место у самой арены, там белое пятно — высшие чиновники провинции Германия — и яркие красные, синие и зеленые пятна — местные вожди в праздничных плащах.

Квинтилий Вар поднимается мне навстречу, пожимаем друг другу запястья, ритуально обнимаемся. Мягкие руки. От него пахнет восточными благовониями — сладковатый запах, похожий на запах разлагающихся на крестах трупов. Я слышал эту историю. «Иудейский изюм» — так называли тех бунтовщиков, которых Вар распял по дороге в Ершалаим: их тела высохли на яростном восточном солнце, стали мягкими.

Тогда Вар подавил бунт быстро и решительно. Так же быстро и решительно он мстил за смерть моего брата.

Меня знакомят с крепким сорокалетним римлянином, у него мужественное лицо воина — это Нумоний Вала, я слышал про него много хорошего. Это настоящий воин, опытный солдат, прошедший десятки сражений, сейчас — легат Восемнадцатого легиона. Он сдержанно кивает мне. Видимо, он слышал обо мне гораздо меньше хорошего, чем я о нем.

Легат Девятнадцатого легиона — Гортензий Мамурра, сын старого соратника Гая Юлия Цезаря. Это кислотицый юноша сенаторского возраста, он завивает и умащает маслом редкие волосы, а телосложением напоминает пожухлый гороховый стручок.

Очередь германцев. Сегест, вождь хаттов — одного из самых сильных и крупных племен германцев. Ему лет сорок пять, он высокий и грузный, с чисто выбритым круглым лицом. Глаза его смотрят с непривычной для меня прямоотой — в Риме бы такой взгляд сочли невежливым. Говорят, этот человек — один из самых верных наших союзников здесь, в Германии.

Из дальнего ряда кивает мне Арминий — он тоже здесь.

Я знакомлюсь, раскланиваюсь и пожимаю руки. Наконец, с формальностями закончено. На сцене молодые гладиаторы бьются деревянными мечами, чтобы заполнить время до настоящих боев. Зрители не обращают на них никакого внимания. Крики торговцев: «Вода! Вино!» — откуда-то еще: «Хлеб! Мясо! Жареные птички!» Забавно. Такой Рим в миниатюре.

Я сажусь на скамью с подушечкой. Задираю голову. На арене, не обращая внимания на гладиаторов, скачут воробьи, щебечут. Зрители бросают им куски хлеба. Чириканье нарастает. Один из воробьев, самый быстрый и наглый, выхватив кусок хлеба, резко начинает удирать, чтобы остальные не догнали и не надрали ему задницу. Счастливчиков никто не любит. Ну чем воробьи не люди, а?

Наконец, Квинтилий Вар поднимается и вяло машет рукой распорядителю игр. Тот кланяется и поворачивается к зрителям. На нем парик мима и украшенная символами Меркурия цветная туника.

Взмах руки. Ревут трубы. Долгий протяжный звук, от которого стая воробьев взлетает вверх и рассыпается, как горсть хлебных крошек. Потом снова садится по краям арены. Молодые гладиаторы убегают. Арена пуста.

Наступает тишина. Игры начинаются.

* * *

На арену вышли сразу несколько варваров. Приговоренные к смерти узники — их должны были распять, но решили найти им более интересное применение. Или, может быть, начала ощущаться нехватка крестов, не знаю. Плотницкие мастерские легионов тоже не могут работать безостановочно.

Они вышли — твердо, все как один высокие и крепкие. Их двенадцать человек. Все в лохмотьях, измученные пленом. Мужчины. Один из них идет упругой походкой воина. Сверкающий взгляд как удар кинжала.

Цирк взревел — варвары должны умереть, но умереть для общей радости. Кровавое зрелище пьянит — и это особое, пугающее опьянение. Оно напоминает экстаз вакханок — недаром Август запретил отправление этого культа гражданам Рима. Толпа шумит и кричит, требуя крови. В толпе не остается отдельных людей. Толпа — чумазое многоголовое, многорукое божество, приносящее жертву самой себе, на собственный алтарь.

Глухое рокочущее рычание. От этого звука у меня по спине пробегает озноб. Германцев должны затравить зверьми — в Риме бы для этой цели привезли львов и тигров, волков или леопардов. Но кого припас Вар?

Звук трубы. Амфитеатр ревет в очередной раз, но уже тише. И вдруг — тишина.

Томительное ожидание. Белый песок — арена. Несколько человек в центре. И один воин, стоящий отдельно. Варвар выпрямляется. Бородатый, с изуродованным шрамом лицом.

Тишина длится. Напряжение натягивается в воздухе, как корабельный канат.

— Р-р-р-р, — негромкое, но жуткое.

И никого. Люди в центре арены стоят. Один из них, молодой парень, шатается и падает на колени, пытается подняться... Ему помогает один из смертников.

— Р-р-р-р.

Тишина такая, что слышно, как за стенами амфитеатра проезжает повозка, сворачивает, грохоча осями, куда-то — звук отдаляется.

Пленники ждут.

Я дышу медленно, словно через раз. Сердце стучит бешено, словно в бою. Ожидание становится невыносимым — весь амфитеатр замер, в толпе вскрикивает женский голос, не выдержав напряжения.

— Убейте их! — кричит кто-то. На него шикают.

Опять тишина. Ради таких вот мгновений в Риме живет половина города, если не больше. Я шумно вдыхаю, воздух наполняет грудь, в горле пересохло, как в сирийской пустыне.

Ну же! Когда?! Я не могу больше выносить это ожидание.

В такие моменты чувствуешь себя живым — сто крат, сто тысяч крат.

И вот оно. По лицам людей в центре арены словно проходит волна, искажает, сминает лица и тела... разбивается об утес одинокого воина — но даже он подается, отступает на шаг. Взгляды их направлены на что-то... на собственную смерть.

Еще не видя того, что видят они, я понимаю, что смотрят они в глаза Танатоса — посланца смерти. Ужас накрывает их темной пеленой.

И словно голос посланца подземного мира, выходца из-за Ахерона и Стикса, звучит ужасающее, подобное грому:

— Пускайте их.

Скрежет решетки. Я вижу, как люди на моих глазах умирают с каждым мгновением — с каждым дюймом поднимающейся решетки... черная тень подземного мира поглощает их, наплывает. И только воин стоит отдельно от всех, как утес, готовый встретить каменной грудью удар волн.

Решетка поднята. Тишина. Томительное ожидание.

Из прохода на арену, по белому, огромному в эту секунду пространству песка осторожным кошачьим шагом выскальзывает полосатая тень. Выходит тигр. Вонючая мускулистая кошка. Бежит.

Шкура тигра почти красная, в темных полосах, лоснится и переливается. Мышцы перетекают в мышцы. Он ужасен. Он весь как сгусток ртути. Весь как живая молния, неторопливо бегущая по песку.

Тигр прекрасен. В полной тишине он бесшумно идет по кругу. Затем останавливается, поворачивает широкую усатую морду и оскаливается. Клыки.

И тут толпа начинает реветь. Крик поднимается как пылевой столб. Тигр прижимает уши, снова рычит. Люди хлопают в ладоши, кричат, стучат друг друга по спинам — да! да! да! Чистая, незамутненная радость. Гул утихает. Тише, тише, не пугайте тигра!

— Убей их, киска! — кричит одинокий глумливый голос.

В первый момент мне кажется, что этого провокатора выкинут на арену прямо к тигру, иди, мол, поздоровайся, посмотри, что там за киска, но вдруг — общий хохот, и все начинают кричать:

— Хватай их! Куси их!

Все на стороне тигра, а не пленников. Зрителей можно понять — я тоже болею за кошку, а не за этих унылых германцев.

— Ку-си! Ку-си! — скандируют трибуны.

Тигра многие не видели до сих пор, он их покори́л — своей смертельной грацией. Да и вообще, пусть он наконец убьет кого-нибудь!

Пленники медленно сгрудились в центре арены. Угрюмые, уже мертвые для толпы... но тигр не решается пока нападать. Он голоден, зверей специально не кормят перед выступлением несколько дней. Перед ним — добыча, но добыча сбилась в стадо, а тигры не любят нападать на стадо, они знают, чем это может закончиться. Одинокий германец напоминает ему вожака буйволиного стада — он так же настороже, он следит за тигром.

Тигр идет с другой стороны, не решаясь нападать. Бьет хвостом по красно-полосатым бокам, злится. Опять рычит.

— Ку-си! — кричат с трибун.

Пленники молча стоят. Тигр идет по краю арены легкой равномерной походкой.

И тут... Один из пленников — самый молодой — вдруг срывается и бежит к краю арены, к стене. Кричит и пытается забраться на нее. Обдирает пальцы. Ногти его скребут по дереву. Он срывается, поворачивает голову...

Тигр смотрит на него, не отрываясь.

— Стой, идиот! — кричат ему из амфитеатра.

Молодой германец, не слыша, бледный как песок, разворачивается и бежит по краю арены. Он плачет.

Толпа затихает. В тишине раздаются всхлипы. По грязному лицу германца текут слезы.

Тигр смотрит. Желтые глаза огромной кошки мерцают.

Кажется, молодой германец слишком хочет жить... Он спотыкается, но успевает выровняться, снова бежит...

И вдруг тигр срывается с места, в несколько огромных прыжков настигает молодого и сбивает с ног. Хватает лапами, словно играет. Душераздирающий вскрик. Молодой, как безвольная тряпичная игрушка, мотается в лапах тигра. Крови почти нет. Все это происходит за пару мгновений. Тигр ложится на свою добычу и поднимает морду.

Германцы кричат.

Тигр кладет лапы на добычу и поднимает усатую морду. Зевает. Начинает ее облизывать. Шершавый красный язык проходит по бедру варвара, сдирая лохмотья. Еще раз и еще.

Зрители вопят и кричат, как безумцы. Смертники молча смотрят.

Пьянящий дурман ужаса сгущается над белым песком арены. Тигр поднимает морду и вырывает кусок. Смотрит на остальных германцев и ест. Стоит кому-нибудь пошевелиться, он оскаливается. Клыки его в крови.

Я выдыхаю. Только что секунду назад я был на арене — я чувствовал себя и жертвой, и охотящимся тигром.

— Киска! — кричит глумливый голос. — Киска ку-ушает!

На месте остальных я бросил бы придурка на арену, поближе к любимой «киске». Вместо этого они вскакивают на местах и кричат:

— Еще! Еще зверей!

Кровавый дурман тянется над амфитеатром, окутывает всех. Не зря говорят, что зрелища подобны неразбавленному вину. Они бьют в голову.

Распорядитель вскидывает руку. Смертники поднимают взгляды — воин, что стоит впереди, задирает голову к небу, прикрывает глаза. Молится или прощается? Не знаю. Я слышу грохот поднимающихся решеток. Это выпускают зверей. Из всех звериных нор их подгоняют раскаленным железом — тянет паленой шерстью и кровью. Они не хотят убивать — но мы хотим.

Рим должен стоять на силе и чести. А кровь — это для богов. Варварское зрелище. Говорят, знаменитый Цицерон его не переносил... И некий Попилий отрезал ему голову. Видимо, чтобы поделиться своим мнением о вкусах знаменитого оратора. Смешно.

На арену выбегают черная как уголь пантера, два льва и несколько огромных волков — это, видимо, местный вклад в игры. Зверей не кормили — они голодны, они видят добычу тигра, но тот ее не отдаст. Так что им придется взять самим.

Некоторые смертники в отчаянии падают на колени. Воин стоит и смотрит на зверей, глаза его сверкают.

Смертники сбиваются в одну сторону, там, где решеток нет. Звери рычат.

Пантера пытается обойти воина, принохивается, но напасть не решается. Львы рычат друг на друга, потом разбегаются в разные стороны. Они голодны. Один пытается подобраться к добыче тигра и отобрать — тот в ярости встает.

Толпа неистовствует.

— Куси! Куси! — кричат они вразнобой.

Пока люди вместе, животным трудно, они боятся. Волки сбиваются в кучу отдельно от больших кошек, заливки их взъерошены.

И тут управитель поднимает руку. Я вижу толстые пальцы в волосках, они сжаты вместе, в некий знак.

Тишина.

Германцы ждут смерти, каждый по-своему. Кто-то выпрямился — но таких мало. Другие рыдают и падают на колени, ни живы ни мертвы. Я вижу глаза распорядителя — усталые. Из-под парика на его лицо, стирая грим, течет пот.

В следующее мгновение рука опускается.

Раз! Двое рабов подбегают к краю площадки и опрокидывают ведро. Кровь — скорее всего коровья — льется с высоты на стоящих людей, забрызгивая их с головы до ног. Красное. Вонь крови. Толпа взрывается, звук такой, словно земля разламывается пополам.

Кровь свела животных с ума. Даже волки, осмелев, начали резать людей — как овец. Хруст костей и предсмертные крики.

И единая животная тварь, кричащая от наслаждения кровавой забавой, — толпа.

Воин-германец, единственный, кто не опустил головы и взгляда, — вокруг него умирали его товарищи по несчастью, их внутренности вырывали и тут же пожирали звери — не выдержал. Он не был залит кровью, а его спокойствие отпугивало зверей. Лев

гнался за одним из людей, германец сделал шаг и закричал на льва. Невероятно, но огромный зверь шарахнулся в сторону. Германец схватил беглеца и подтащил к себе, заставил подняться. Теперь они встали спина к спине. Аплодисменты раздались со всех трибун — варвара оценили.

Германец повернулся и крикнул что-то на своем хрипящем грубом языке. Толпа заревела, ей нравилось его мужество.

— Что? — Я не понял. Кровавая волна спадала, оставляя мерзкий привкус — как выброшенная на берег пена из погибших водорослей и раздутых трупов.

Нумоний Вала повернулся ко мне. Его суровое красивое лицо искажено неким чувством, но спокойно.

— Он просит дать ему оружие. Он хочет умереть в бою.

Достойно. Я чувствую невольное уважение к варвару.

— Он заслужил это, — говорю я.

Нумоний Вала кивает.

— Возможно.

Германец снова что-то кричит. Лев набегает на него, шарахается от пристального взгляда, рычит. Морда зверя в крови. Лев уже не хочет есть, он хочет убивать — он тоже сошел с ума от кровавого безумия арены. Желтые глаза зверя смотрят на единственного оставшегося в живых... Вернее, единственных — потому что кроме воина есть еще и беглец.

В толпе кто-то кричит:

— Дайте ему меч!

Толпа одобрительно гудит. Кто-то, наоборот, требует, чтобы звери наконец убили этих варваров.

Выдержав нужную паузу, встает пропретор Квинтилий Вар. Поднимает руки. Толпа в мгновение ока замирает, слышно только рычание зверей и хруст костей, звуки — звери «ку-ушают». Пропретор обводит амфитеатр взглядом. Тишина застывает — ожидание застывает, как горячее стекло под дуновением мастера принимает форму.

— Я слышал вас, — говорит Квинтилий Вар.

Белизна его тоги режет глаза, уже привыкшие к багряному и красному. Пропретор делает паузу — все замирают. Я жду. Германец ждет. Даже звери, кажется, жрут гораздо тише.

Вар прикрывает глаза, снова открывает.

— Хотите, чтобы этот храбрец был помилован?

До толпы не сразу доходит. Затем:

— Да! — кричат они так, что звери пугаются — поднимают морды и рычат.

Вся арена — весь песок в темных пятнах, он забрызган кровью и внутренностями мертвых людей. Звери пируют. Германец стоит спиной к спине с раненым. Его четкий профиль кажется мне бронзово-чеканным, как у статуи Августа.

— Хорошо, — говорит Вар. Поворачивается к распорядителю игр. — Дайте ему меч. Если он выберется с арены живым... у него будет шанс прославиться.

В этот момент весь амфитеатр обожает Вара, как не обожал никогда до этого — и, возможно, никогда не будет обожать после. Но сейчас он их кумир.

Распорядитель кивает. Спутанные локоны его парика качаются. Он поднимает помятое лицо, по которому пот прочертил полосы, смыв белесый грим. Кивает одному из своих людей, но тот мешкает. Я вижу, как один из львов неторопливо встает и идет к германцу. Я вижу лицо германца — на нем написана надежда. Глаза его горят, в них — ожидание, чудовищное, невозможное.

Я почти люблю сейчас этого варвара. А ведь он мог быть тем, кто убил моего брата. Странное ощущение, да, Гай?

Но что так мешкает распорядитель? Я вскакиваю на ноги. Рядом со мной — Нумоний, он тоже не выдерживает.

— Быстрее! — кричат с трибун.

Лев бежит неторопливо, спокойно — но кажется, что волна ужаса бежит перед ним. Лев никуда не торопится.

Небо над амфитеатром — огромное и высокое, облака закрывают солнце в этот момент. Тень сгущается. Я не верю в приметы, но сейчас...

Распорядитель что-то командует, я не слышу что — но вдруг понимаю, что все: не успели.

Лев неторопливо разбегается. Лапы опускаются на песок, выбивают следы. Бока льва забрызганы кровью.

Я оглядываюсь. Вижу на боку Гортензия Мамурры меч с золоченой рукоятью, ножны украшены камнями, они переливаются на солнце. И понимаю, что не успеваю добраться до меча, вытащить его из ножен у Гортензия и бросить на арену... И все равно делаю шаг.

В следующее мгновение я слышу что-то вроде вздоха. И вижу, как летит в воздухе, кувыркаясь, длинный кавалерийский клинок. Солнце на миг сверкает на красном камне, вделанном в навершие рукояти. Я вижу молодого трибуна (кажется, меня с ним знакомили? Метеллий?), темноволосого, красивого, — с занесенной рукой. Это он бросил свой меч.

Молодец, думаю я. И еще: а я мог успеть!

Затем время ускоряется.

Клинок втыкается в песок перед варваром. Раз. Лев оскаливается и срывается с места. Два. Германец в мгновение ока хватается меч и оказывается вооружен. Три! Лев останавливается — все-таки они довольно трусливы, эти громадные кошки, — затем рычит, оскаливает клыки. Пытается задеть германца лапой. Германец настороже.

Лев, решив, что добыча нелегкая, рычит еще раз, для остроты — мол, мне просто лень, — поворачивается и уходит, не торопясь. Я вижу подушечки его лап, когда он переступает. Германец выдыхает. Берет раненого германца под руку, вздергивает, голова того мотается, он едва может стоять, — и они вместе тащатся к выходу с арены. Медленно и держа меч наготове, германец идет. Справа рычит тигр, он встает и ощеривается. С другой стороны — волки, они поднимают морды и рычат.

Мгновение тянется и тянется.

Они идут. Так, окруженные рычанием и оскалами, германцы добираются до решетки. За ней стоят служители цирка в кожаных балахонах, с крючьями и факелами. Когда германцы оказываются рядом, решетка идет вверх. Скрежет. Служители мгновенно выбегают наружу, выставляя длинные багры-крючья.

Я выдыхаю. Теперь все кончено. Германцы выиграли — на этот раз.

Толпа ревет. Германец, стоя в окружении черных фигур, поднимает меч над головой. Все мы встаем и аплодируем стоя. Bravo!

— Браво! — кричу я. Бью в ладоши. Прекрасное представление!
Они — преступники и смертники. Но они заслужили второй шанс.

* * *

Когда мы возвращаемся после обеда, представление в самом разгаре. Но ничего подобного травле пока не происходит.

Схватки унылы. Одни бойцы плохо владеют оружием, их убивают до смешного быстро, другие — типичные варвары, яростные и неудержимые в первом натиске, но скоро выдыхаются. И звон мечей становится только унылей...

Народ на трибунах беседует, всеобщего увлечения уже нет. Сплетни, слухи, приметы, рост цен — вот что волнует зрителей. Так что им есть чем заняться кроме схваток. Разве что те, кто делал ставки, начинают возмущаться, что представление затянулось.

— Боюсь, ничего приличного мы уже не увидим, — говорит Нумоний Вала, начинает подниматься...

И тут объявляют:

— Германец по прозвищу Бык против Стигиона Горбатого!

Вала плюхается на сиденье.

Стигион Горбатый, я про него слышал. Профессиональный гладиатор. Я вижу это по его чудовищно развитой правой руке, которая на вид ощутимо длиннее и толще левой. Мышцы перекатываются под загорелой кожей — он недавно приехал с юга, точно, густой медный оттенок еще не сошел.

Впрочем, в Германии тоже бывает солнце. Ну, хотелось бы надеяться...

Стигион выходит, держа шлем под мышкой. Лицо его — чудовищно уродливое переплетение шрамов. От долгого ношения шлема на носу гладиатора образовался нарост — почти горб. Отсюда и прозвище. От гладиатора веет уверенностью и тренированной, подготовленной, раздражающей силой. Он убийца.

И тут я вижу его — противника Стигиона. Сначала взрывают трибуны. Крик опускается на песок, кружит маленькими песчаными вихрями. Тень ползет по арене. Я поднимаю голову. В проеме над амфитеатром я вижу, как темная грозовая туча наплывает на

город. Где-то там, в вышине, открывается проем в иные миры. Когда рев трибун стихает, Стигион делает шаг вперед, вскидывает меч, приветствуя соперника.

Затем я вижу молот: огромный, металл в следах ударов... Он волочится по арене, оставляет след в песке, подобный следу червя. Затем вижу шрам и татуировку на правом плече: грубо нарисованный бык опустил рога. Из-за движения мышц под бледной кожей германца бык кажется живым.

Затем понимаю, что в варваре семь футов роста, не меньше. Его голова задевает небосвод — так кажется мне.

Коротко стриженные светлые волосы — по римскому обычаю. Мертвенно-бледное, почти синюшное лицо. На варваре только штаны из кожи, он обнажен по пояс. По всему торсу следы шрамов — один, самый страшный, толстый и белесый, идет от ключицы вниз, пересекает грудь, живот и упирается в край штанов. Видимо, когда-то германца чуть не разрубили пополам.

Теперь он стал сильнее.

Но самое интересное в другом.

Когда германец останавливается посреди арены и поднимает голову, все затихает на мгновение. Под низким лбом сидят два глаза — разные! Ярко-голубой горит небесным огнем безумия. Другой — зеленый — мрачен, как германский лес.

Это страшно. Даже Стигион, уродливый гладиатор, кажется впечатленным.

Пауза.

— Стир по прозвищу Бык! — кричит распорядитель. Амфитеатр отвечает дружным гулом: вух, наконец-то. Все в порядке. — Варвар-германец, от поступи которого содрогается земля.

Я готов в это поверить.

Германец стоит равнодушный, едва жвачку не жует, как корова. Молот лежит на песке, германец держит его за рукоять так, словно забыл про свое оружие.

Может быть, так и есть.

Когда я смотрю на варвара по имени Стир, по прозвищу Бык, мне чудится, что песок арены промят в том месте, где он стоит. А воздух вокруг германца изгибается и дрожит, как от страшной жары.

Но вокруг — прохлада германского лета. Всего лишь.

— Начинайте!

— Да! — кричит толпа.

— Откуда взялся этот Стир? — спрашивает Гортензий Мамура. Это особая манера говорить, аристократическая — словно бы ни с кем, с богами, с воздухом... С самим собой.

Нумоний Вала некоторое время молчит, глядя на арену, прежде чем ответить.

— Он сам вызвался участвовать в боях. А так он служит в третьей вспомогательной когорте. Видите стрижку? Он из наших солдат.

Германец Бык и гладиатор Стигион идут навстречу друг другу. Великан выше италийца на две головы, хотя Стигион тоже не из маленьких.

— Обычно германцы отращивают длинные волосы, чтобы выглядеть устрашающе, — продолжает Нумоний. — Они расчесывают их в две пряди и намазывают глиной. Но ему это... — легат Восемнадцатого медлит, подбирая слово, — не нужно.

В этом простом «не нужно» больше смысла, чем во многих иных словах.

Бык устрашает уже той ленью, что сквозит в его движениях, когда он идет навстречу противнику и молот волочится за ним по песку. В его взгляде, в его полусонно прикрытых глазах, один из которых зеленый, другой — голубой.

Интересно, какие ставки на этот бой? Сколько ставят на германца?

— Стигион должен выиграть, — говорит Нумоний. Но я не слышу в его голосе уверенности. — Он лучший. Он убивал на арене сотни раз.

Стигиона выписал наместник специально для игр — для престижа. Праздник в мою честь подвернулся как раз вовремя, чтобы испытать в деле новое приобретение Квинтилия Вара.

— Не желаете сделать ставку? — Рядом со мной оказывается щуплый человечек с хитрым лицом. Оно точно вставлено в раму и может быть в любой момент заменено на другое.

Я смотрю, как двигается Стигион — плавно перетекает, словно красно-полосатый тигр. Затем смотрю на сонные, угловато-дерганные движения германца.

— Желаю, — говорю я. — Какие сейчас ставки?

— Пять против трех — на Стигиона Убийцу, — быстро говорит человек. В руке у него глиняные таблички.

— Даже так? — Чему я удивляюсь? Германец идет очень высоко для новичка в таких боях. Впрочем, достаточно на него посмотреть...

— Хорошо, — говорю я. — Двадцать денариев на... на варвара!

— Не уверен, что это хороший выбор, — говорит Нумоний Вала. — Извините, что вмешиваюсь, Деметрий Целест.

На арене Стигион и Бык все ближе друг к другу...

— Вы правы, — говорю я. — Сто денариев на германца! Играть так играть.

— Принято, — говорит человек с вставным лицом.

В ладони у меня оказывается глиняная табличка с номером XVII. Семнадцать, как номер моего легиона. Я хмыкаю. Боги дают знак? Если бы я верил в приметы, это была бы лучшая... наверное.

Все замирают.

Стигион, чемпион Рима, против великана из германской преисподней.

Когда-то сто тысяч желтоволосых великанов с голубыми глазами вторглись в приальпийскую Галлию и разгромили несколько наших легионов. Полгода после этого Рим был в таком ужасе, что германцы казались нам выходцами из Преисподней.

Стигион останавливается в центре арены. Его меч — фракийский, с расширяющимся лезвием, слегка загнутым на конце. В левой руке у него маленький щит.

Германец все так же стоит, склонив голову набок. Даже молот не поднял. Он что, слабоумный? Кажется, толпа начинает думать так же.

Стигион быстрый как молния — он убьет германца, прежде чем тот поднимет свой молот. Или даже вздохнет.

— Подними оружие, деревенщина! — кричат с трибун.

«Боги, — думаю я, — я поставил сто денариев на идиота. Впрочем, хороший урок редко бывает бесплатным».

В следующее мгновение Стигион делает выпад. Это пробный удар, но он вполне может искалечить варвара... Клинок со свистом рассекает воздух.

На мгновение луч солнца отражается от чего-то на груди великана-германца с разными глазами, бьет мне в глаза. Меч летит. Если германец не поднимет свое оружие... В любом случае уже поздно.

Германец вдруг отпускает рукоять, молот падает на песок... Великан делает шаг навстречу клинку... Что за?!

В следующее мгновение все ускоряется. Стир оказывает вплотную с гладиатором, берется за нижний край шлема огромной ладонью. Дергает вверх. Хруст!

Меч Стигиона медленно падает на песок. Крак, кр-рак, крак.

Мы слушаем этот жуткий звук в полной тишине.

Великан ломает гладиатора руками, как детскую игрушку. Чудовищная сила. Так не бывает, но — так есть. От накачанного тренированного убийцы не остается ничего — кроме...

Брызги крови разлетаются по арене. Стир вырывает ему руку с легкостью — капли крови летят, темные, почти черные.

Всё.

Изломанный кусок мяса с вырванной рукой падает на песок. Его отшвырнули за ненужностью. Стигион больше не убийца, он никто. Стоило ехать из самого Рима, спрашивается?

Великан убил его голыми руками. Стир поднимает окровавленную ладонь.

И только тогда толпа выдыхает и начинает кричать.

В последний момент, когда амфитеатр скандирует: «Проваливай!» — я вижу, как германец берет огромными пальцами амулет, что висит у него на груди, и мажет его кровью убитого гладиатора. И вздрагиваю — словно всего, что случилось раньше, мне недостаточно...

«Боги», — думаю я. В руках у германца фигурка быка — из знакомого серебристого металла.

ГЛАВА 7

ПИР В ДОМЕ ВАРА

Огромное блюдо с заливной рыбой стоит между кувшином с остро пахнущим гарумом и чашей, в которую налита смесь меда с уксусом; запахи различных видов перца такие мощные, что хочется чихнуть. У германских вождей вкусы попроще. Почти никто не пользуется гарумом («сукровица мертвых рыб»), чтобы сделать блюдо острее. Любимый римский соус отгоняет варваров одним запахом.

Лучший гарум привозят в Рим из Помпей и Испании, в этом году модным считается соус из макрели — я как-то видел, как его делают. Я был проездом в мастерских под Капуей, там, где находится семейная вилла Деметриев Целестов. Своеобразное впечатление. Огромные деревянные бочки с мелкой рыбешкой, сильно засоленной и выставленной на солнце — настоящее солнце! — стоят так месяцами. Созревшим гарум считается от трех месяцев. Специальным ковшом с дырками вычерпывают его и процеживают. Почти все блюда изысканной кухни включают нынче гарум. Цена за кувшин доходит до ста денариев!

Годовое жалованье легионера — сто восемьдесят три денария. За вычетом отчислений на похороны — для этого удерживают половину жалованья — остается девяносто денариев. То есть рядовой «мул» получает на руки примерно пятьсот сорок сестерциев, и это не считая отчислений за оружие, палатки, инструменты! И еще на эту сумму ему нужно покупать еду и хлеб в легионных пекарнях.

Впрочем, думаю я, глядя, как рабы приносят и ставят блюдо с жареными певчими птичками, украшенное желтыми и белыми

цветами, легионер может покупать пшеницу и сам печь хлеб. Со-
кращение расходов.

Я беру чашу с вином — испанским, с привкусом меда — и под-
нимаю. Несколько лиц, в том числе лицо Квинтилия Вара, поворачи-
ваются ко мне.

— Здоровье хозяина этого дома! — говорю я.

Пропретор вежливо кивает.

Выплескиваю немного на пол, в честь Бахуса и пенатов этого
дома, и прикладываю чашу к губам. Вино тягучее и лишь слегка
разбавленное водой. Выпиваю его до дна в один присест. Жажда.
Снова перед глазами встает огромный Стир — Бык, с поволокой
безумия в разноцветных глазах...

Считается, что человека с разными глазами выбрали боги — ну,
кто-то из богов. Он счастливый.

Я снова вижу, как кровь размазывается по маленькой серебри-
стой фигурке. Жертва богам.

Каким богам, еще бы знать!

Птичка. Воробей, что достался мне от Луция. Что общего у без-
умного германца и моего старшего брата?

Мертвого брата. Печаль моя светла...

Хотел бы я так сказать. Но стоит мне прикрыть веки, чтобы
не видеть этого триклиния, этих лож, на которых возлежат чи-
новники Вара, этих лавок и стульев, отделанных красной тканью,
на которых устроились германские «патриции» — дикари! — как
я вижу темное пространство, темный сад со статуями Дианы-охот-
ницы и Марса, убивающего Марсия, заросли акаций и...

* * *

Он стоит ко мне спиной. Белая тога с широкой красной полосой
наброшена со всем искусством, складки лежат изящно и красиво,
словно высеченные из мрамора, — брат стоит на берегу искусствен-
ного пруда. Я знаю, там, в темной воде, плавают красные карпы. Или
мурены? Почему-то я не помню, кто там живет. Но это неважно.

Белая тога словно светится в темноте. Лик луны закрыт темным
облаком. Мы здесь одни. Я слышу, как стрекочут цикады. Я иду.
В последний момент Луций оборачивается. Я вижу его лицо.

Когда вспоминаешь кого-то из близких, трудно увидеть лицо — именно лицом, неподвижное. Это всегда отпечаток движения, эмоций. Луций вспоминается мне именно так — на полуповороте головы, и он улыбается.

Он и в этот раз поворачивает голову и улыбается.

— Брат, — говорит он негромко.

— Брат, — говорю я.

И снова лицо в движении. Он поворачивает голову и смотрит в пруд. Почему-то мне кажется, что не стоит этого делать.

Темная вода. Что там, в глубине? Красные карпы? Или — мурены? Некий Ведий Поллион кормил мурен в своих прудах мясом живых рабов — пока Август ему не запретил.

Почему-то мне кажется, что в этом пруду нет дна. И что Луций заглядывает туда, куда заглядывать не стоит. И что он уже не может оторвать от этого взгляда...

— Брат, — говорю я. — Не надо, не смотри. Луций! — Я хлопаю его ладонью по плечу. Ощущение ткани, твердых мышц под ней.

Он вздрагивает. Медленно, как во сне, поворачивает ко мне голову. И я отшатываюсь в ужасе. Сердце проваливается куда-то вниз. Глаза его разного цвета — один голубой, другой зеленый.

* * *

Я просыпаюсь от испуга. Открываю глаза. Гул полной залы пирующих людей накатывает на меня, как морская волна, — и захлестывает с головой.

Варвары громко кричат. Латынь с отчетливым грубым акцентом кажется незнакомым языком, я не сразу могу разобрать его, а когда разбираю, то отдельные слова никак не вяжутся с остальными. Квинтилий Вар лежит на ложе слева от меня — я почетный гость — и слушает какого-то германца, орущего через стол. Я вижу его раскрытый рот, но смысл речи от меня ускользает.

— ...на месте! — заканчивает варвар.

Может, я слишком много выпил?

На щеке германца след какого-то соуса.

Перевожу взгляд вправо. Мне жарко и душно. В триклинии клубится дым от горящих благовоний, ладана — чтобы отгонять

комаров, которых тут тысячи. Какой-то наглый, обкурившийся ладаном комар все-таки садится на мое бедро, я прихлопываю его ладонью.

В глубине триклиния извивается под звуки цимбал и кифар нумидийская рабыня. Свет стекает по обнаженному телу, изгибается вместе с ней. Губы ее темные и вырезаны так, словно готовятся к любви с богом. Темные глаза отражают свет лампад.

Танец желания.

На запястьях и на лодыжках рабыни — тонкие браслеты с крошечными колокольчиками. При каждом движении колокольчики легонько звенят...

Пахнет горячими телами и чертовым рыбным гарумом.

Рабыни приносят новые кушанья и уносят старые. Какой-то германец, хохоча, хлопает девушку по едва прикрытой туникой попке. Та отлетает, на глазах выступают слезы — больно, наверное. У варваров руки что лопаты.

Поток воздуха доносит до меня запах напитка из перебродившей пшеницы — «пиво», как называют это варвары. Они пьют в основном его. Вар, как гостеприимный хозяин, заготовил любимые гостями напитки.

Извивы тела. Стекающий по темной блестящей коже желтый свет. Грудь ее острые, кажется, что соски твердые, как наконечники копий. Я чувствую желание. Я пьян.

Я перевожу взгляд и вижу Арминия. Это отрезвляет на мгновение. Среди хохочущих варваров, безобразных, как празднующие Сатурналии пьяные рабы, Арминий — это островок спокойствия и достоинства. Я оглядываю нашу, римскую сторону стола... прекрасно! Просто прекрасно. Пьяные красные рожи, громкая речь. Твари.

А Божественный Август объявил об умеренности. Впрочем, принцепс еще тот образец умеренности и добродетели. Если бы не молоденькие девственницы, которых его жена, Ливия, находит для него везде, где только можно, Август был бы просто образцом добродетели и воздержанности.

Не то что эти, да. Похоже, варваризация местных римлян зашла дальше, чем романизация варваров. Ну хоть пиво они не пьют — пока. И то ладно.

Германец Арминий — вот кто настоящий римлянин. Спокоен, сдержан и снисходителен к слабостям других. Наши предки, суровые как скалы, завоевали для нас полмира — а мы пьем с варварами пиво и носим цветные ткани из Азии. Арминий, заметив мой взгляд, улыбается уголками губ, обводит взглядом пирующих и движением бровей показывает: «Ну, что поделаешь».

Я киваю. Ничего не поделаешь.

И, Тифон проклятый, кажется, мне нужно отлить.

Я начинаю подниматься.

Рабыня извивается, темные глаза смотрят на меня. Я моргаю. Красный туман в голове — проклятое вино. Триклиний покачивается, уши горят. Какой-то варвар запускает в танцовщицу обглоданной костью, промахивается. Хохот. Колокольчики на тонких лодыжках звякают — жалобно.

Германцы. Ярость стискивает мне грудь. Кто-то из этих уродов убил Луция. Я гляжу на раскрытый рот варвара, на его белые зубы и хочу подойти и врезать — так, чтобы вбить эти зубы обратно в глотку. Чтобы он упал и замолчал.

В следующее мгновение рядом со мной оказывается Арминий, поддерживает меня за плечо.

— Легат, — говорит он негромко. — Вам лучше прогуляться.

Я зажмуриваюсь, снова пытаюсь прийти в себя, остановить вращение триклиния. Тени на стене. Темная холодная ненависть все еще бродит во мне, не уходит. Она какая-то... обессиливающая.

— По... п-пожалуй, — с трудом выговариваю я это слово. Лицо горит, как обожженное.

— Ты. — Арминий ловит пробегающую мимо рабыню за плечо. — Проводи господина...

Рабыня, невысокая девушка в короткой тунике, кивает. Хорошенькая. Только смотрит не на меня, а на Арминия. Еще бы. Он красавчик, наш варвар. Друг римского на-ро-да.

Черт. Я завидую. Пьяная зависть, вот что это. Я еще не настолько напился, чтобы не понять.

Иду в латерну. Коридор качается, пол пытается ускользнуть. Мне приходится каждым шагом припечатывать его, чтобы сохранить равновесие. Я римский патриций, легат Семнадцатого...

Едва не сношу плечом стойку со светильником. Он звенит, покачиваясь. Я стою, упираясь плечом в стену, — прохлада идет из этой точки, растекается по правой руке. Рабыня заглядывает мне в лицо.

— Господин? Вам плохо?

Где-то слышны звуки совокупления — громкого, бесстыдного. Туника рабыни отходит от шеи, я смотрю в темный проем ворота.

— У меня погиб брат, — говорю я зачем-то. — Вот и все. Все, маленькая красotka.

Я протягиваю руку и обнимаю ее за талию. Притягиваю к себе — она отклоняется, но не делает попыток освободиться. Еще бы. Рабыня должна подчиняться хозяину и его друзьям. А разве я сейчас не друг Вара?! Как все эти громогласные варвары там, в триклинии?

Друг. Конечно, друг.

У нее смешной маленький нос с веснушками. Губы — я наклоняюсь и целую ее — мягкие и вкусные. Она покорно подчиняется, даже когда я забираюсь ладонью ей под тунику. Тело горячее и гладкое — одновременно.

Я нахожу ее маленькую грудь и сжимаю в ладони. Рабыня охает. Она как-то смешно, по-детски, сопит.

— Господин... — шепчет она, пытаюсь сдвинуть меня с места, — не здесь... туда...

Я мну ее грудь и чувствую, как злость проходит. Остается только усталость.

Я отпускаю маленькую рабыню и прислоняюсь спиной к стене. Откидываю голову, затылком упираясь в мрамор. Блаженный холод.

— Господин, я вам... — Она чуть не плачет. Не угодила, что-то там еще. Боится.

— Все хорошо, — говорю я. — Как тебя зовут?

— Климентина, — говорит она. — Я... могу...

Я зажмуриваюсь, открываю глаза. Отстраняю ее, сползаю по стене, сажусь на пол. Спину холодит — то что надо. Нет, не совсем...

— Господин... — Рабыня смотрит на меня сверху.

Я беру Климентину за запястье — оно тонкое и горячее — и прикладываю ее ладонь к своему лбу. Закрываю глаза. Прохлада идет от тонких пальцев. Спокойствие.

— Вот так хорошо, — говорю я.

Нет. Не совсем то, понимаю я. Пальцы ее суховатые и горячие, как горящие палочки. Осиновые веточки, почему-то думаю я. Убираю ее ладонь со лба.

— Все. Иди. Мне нужно побыть одному.

— Господин... я...

— Иди, Климентина. Спасибо.

Она кивает и убегает. Еще некоторое время я слышу ее шаги, потом все затихает — и я слышу только пьяные выкрики в триклинии. Вокруг ночь. Дворец Вара. Пол пытается иногда уехать из-под меня, покачивается, как палуба корабля.

Меня никогда не укачивает. Даже в шторм.

Я встаю. Кажется, пора найти латерну.

* * *

Когда я возвращаюсь, в триклинии стоит мертвая тишина.

Они стоят напротив — седоволосый уродливый Сегест, царь хаттов, и высокий красивый Арминий, царь херусков. Друзья римского народа, граждане Рима.

Варвары, готовые поубивать друг друга. Варвары, которым даровано римское гражданство.

Это обычный шаг, чтобы принести Pax Romana — Римский мир в завоеванную провинцию.

Сегест кипит от ярости, Арминий спокоен.

— Ты искалечил моего человека, — говорит Сегест медленно.

Глаза его сверкают. Он покачивается, лицо потемнело. Кажется, германский вождь выпил слишком много римского вина.

— Я заплачу виру, — говорит Арминий ровным голосом.

Я снова восхищаюсь царем херусков. Он держится как древние патриции.

— Вира! — с презрением говорит Демериг. — Кому нужна твоя вира! Даруг был воином, теперь он даже задницу подтереть не в состоянии. Ты лишил меня хорошего воина!

Кажется, разговор идет о знакомом мне типе — с которым я едва не схватился на рынке. Что ж... возможно, Арминий, вытаскивая меня из проблем, нашел проблемы для себя.

— Приношу свои извинения. — Голос Арминия по-прежнему ровен.

В Риме бы сказали — прекрасное воспитание. И голос крови, несомненно. Только в этом варваре нет ни капли крови Ромула.

— К Локи твои извинения! — срывается Сегест.

— Ну зачем же так кричать? — холодно спрашивает Арминий. — Я и так прекрасно тебя слышу, благородный Сегест.

Как же они не любят друг друга! Я смотрю на словесную схватку двух варварских царей и икаю. Про... ик! ... клятье. Этого еще не хватало.

Квинтилий Вар поднимается на ложе, делает жест начальнику охраны — пропретору положена центурия личных преторианцев, — тот кивает. Понятно. Исчезает в дверях.

— Ты выскочка, — говорит Сегест на плохой латыни. Он уже взял себя в руки, но в голосе германца дрожит ярость. — Ты всегда протягиваешь руки к тому, что не твое. Думаешь, я не знаю, чем ты занимаешься?

— Правда? — Арминий спокоен. — Что ты имеешь в виду, благородный Сегест?

Действительно, что он имеет в виду? Я задумываюсь.

Его голос ровен и спокоен. И только в слове «благородный» проскальзывает ирония, которую, возможно, противник не заметит. Нет, замечает.

Пока Сегест багровеет и злится, я наливаю себе вина из ближайшего кувшина, как следует разбавляю его водой — она льется мимо, заливая скатерть и стол. Свою салфетку я оставил где-то на ложе. Ну и Тифон с ней.

Поднимаю чашу и пью.

Вино. Засуха в горле такая, словно я по пути в латерну и обратно повторил подвиг греческих наемников из «Анабазиса» — пешком через раскаленную пустыню, с боями и засадами. Когда опускаю кубок, два других германца схватились врукопашную... Арминий и Сегест продолжают стоять, глядя друг на друга.

Хорошо, что перед застольем у варваров забрали оружие.

Слышу голос Вара:

— Прекратить! — и выхожу.

Краем глаза замечаю, как в триклиний вбегают солдаты личной охраны полководца. Пока Вар управляет Германией, он фактически совмещает эти должности — полководца римского войска здесь и губернатора провинции. Германия считается провинцией принцепса — в отличие от сенаторских, где мир царит давно и надежно, принцепс взял под личное управление проблемные земли.

Иду по коридору. Сзади шум и вопли, которые, правда, быстро стихают. В центре атрия бьет фонтан, вода падает в небольшой бассейн. Атриум одной стеной выходит в открытое пространство, в перистиль, окружающий сад. Оттуда тянет сырым запахом земли и густым ароматом цветов.

Туда я не пойду, наверное. Дом Вара огромен. У меня сознание проясняется вспышками. Я слишком много выпил. Слишком много.

Слишком.

В следующее мгновение я умываюсь холодной водой, плещу себе на шею и затылок. Холод освежает. Вода стекает по лицу, капли застревают в бровях. Я отряхиваю руки и смотрюсь в круглое бронзовое зеркало.

Что, Гай Деметрий Целест, тяжело? Из отражения смотрит на меня помятый квирит. Я иду. Проклятье, как здесь все запутанно.

Наверное, я сворачиваю не туда. Это какой-то внутренний сад, другой перистиль, поменьше — колонны другие, из крашеного дерева. В темноте горят светильники у выхода на веранду. Желтые пятна, вокруг которых кружат насекомые. Я сажусь на край бассейна, хлопаю себя по лицу. Вот, зараза, кусачие.

Комары. Сижу в темноте и гляжу наверх. Звезды.

Недалеко от меня белеет в темноте лицо Юоны. Наверное, Юоны. Я не вижу остального тела богини, не вижу, что у статуи в руках, — все выкрашено цветной краской, а в темноте можно разглядеть только кисти рук и лицо — и то только потому, что они светло-розовые. В темноте этот цвет все равно что белый.

Смотрю на богиню. Что, Юона, поделишься мудростью?

Надо мне меньше пить.

И вдруг слышу, как она смеется. Богиня смеется. На один голос, затем на два. Я зажмуриваюсь, мотаю головой — сплю? Вроде нет. Богиня смеется? Что ж... я смотрю на нее, суровую и страшную в темноте, зеваю. Имеет право.

К одному женскому смеху вдруг добавляется другой. Богиня смеется разными голосами. Я выпрямляю спину. Возможно, хитон на ней синего цвета. Синий — цвет смерти.

Голос. Богиня что-то говорит. Я прислушиваюсь, звуки незнакомой речи... германской! Хотя в женском исполнении этот язык не такой варварский по звучанию. Он даже почти красив.

Наконец я вижу огонь свечи в глубине сада. Он трепещет на сквозняке. Комар противно жужжит над ухом, я отмахиваюсь. Левый локоть начинает чесаться, я яростно деру его ногтями. Под пальцами — опухлость. Проклятые комары.

Я слышу голоса, которые начинают вести беседу. У Юноны что — много голосов? И я не особо верю в богинь, которые беседуют сами с собой в саду пропретора в самом центре Германии.

Я встаю. Иду, пошатываясь. Боги, как же я напился.

Кое-как дохожу до богини, гляжу ей в лицо. В темноте оно белеет, раскрашенные зрачки смотрят мне в сердце.

В следующий момент, чтобы не упасть, я хватаюсь за богиню. Ее рука поднята полуколыцком. В это полуколыцо, как в окно, я гляжу в сад. Там бьется огонек свечи — желтый.

Вокруг него — женские силуэты. Тоже богини, видимо. Такая сходка посреди ночи.

Я моргаю. Лицо боги с одной стороны, ее рука с другой ограничивают обзор, отчего видимое обретает особую четкость и яркость. Пусть даже я изрядно накачался вином. Все как сквозь дымку.

«— В этом доме все прекрасно, единственное — слишком узкие окна, — сказал один философ архитектору.

— Узкие окна придают виду особую прелесть, — ответил один архитектор философу. — Когда атомы вида смешиваются с атомами окна... и так далее». Забыл.

Но сказано верно.

Атомы темного сада, освещенного атомами свечи, смешиваются с атомами тонких девичьих силуэтов, и все это смешивается с атомами каменной богини. Я смотрю.

Потом понимаю, что девушек много. И они все — германки, варварки. Юные и прекрасные. Ну, я так думаю. Я же не вижу ничего, кроме их силуэтов.

Девушки болтают, смеются и гоняются друг за другом — а позади меня гремят цимбалы и трубы, звенят кифары, громовые голоса... лучше бы им там и остаться.

Над садом — звездное небо.

Девушки затевают беготню. Они совсем рядом. Мы с богиней стоим как единое целое. Одна из девушек, что чуть пониже, пробегает мимо статуи — с другой стороны от меня. За ней еще одна, повыше. Смех рассыпается маленькими серебряными колокольчиками, опускается, пропадает в траве, в цветах. Высокая девушка теряет свою подругу, останавливается на дорожке с той стороны... Длинные волосы.

Я неожиданно чувствую ее аромат. Странно.

Никогда не отличался особой чувствительностью к запахам.

Но сейчас я чувствую. Она пахнет бедой. Она пахнет жизнью, юностью, чистотой и яростью. Она пахнет юностью, длинными ногами под платьем, ступающими по земле упруго и нежно.

Когда она уходит, я все еще чувствую этот аромат. Так пахнет беда.

Только этого мне сейчас и не хватало. Я приехал, чтобы найти и покарать убийцу брата, а сам подглядываю за варварскими девушками. За германками — юными и прекрасными.

Кстати, а что они здесь делают? Личные наложницы Квинтилия Вара?

Что, Гай, интересно?

Я поворачиваюсь, наконец отлипаю от статуи — руки в темной краске — и делаю шаг, другой. Дом, освещенный светильниками, слегка покачивается передо мной.

Ничего, ничего.

Делаю шаг и другой. Набираю скорость. Прохожу мимо куста, подстриженного в форме зайца, — слева и куста, подстриженного

в форме сидящего хрен знает чего, — справа. До дома остается несколько шагов. Еще чуть-чуть, и я оставлю девушек-богинь в покое и вернусь в дымный, потный мир земных мужчин...

В следующее мгновение она выбегает мне навстречу.

Пауза.

Прямо как в трагедиях Эсхила. Или в комедиях Теренция, когда...

Высокая. Пожалуй, не такая высокая, как германцы-мужчины, что пируют сейчас с Варом, но...

Длинные волосы. Темные глаза смотрят на меня. Она прекрасна.

Прекрасна, как Медуза Горгона. Поражение от красоты похоже на смерть. Опять кто-то из греков.

В легендах говорится, что это сама смертельная красота Медузы Горгоны превращала людей в камень, а отнюдь не какие-то чары. Хороший пример. Особенно если столкнешься с такой Медузой на темной тропинке сада где-нибудь в Германии.

Ее губы шевельнулись. Раз, другой.

— Что? — говорю я.

— С дороги! — Звук возвращается. Плохая латынь, кстати. Но голос хороший.

Я поднимаю брови. Она проходит мимо меня, я снова чувствую этот запах. Запах мокрой воды и тревоги. Запах беды.

— Как твое имя? — спрашиваю я.

Она фыркает и не отвечает.

Она уходит. Я смотрю ей вслед. Ее спина, ее ноги под платьем... мне нужно пойти за ней! Усилив воли я поворачиваюсь и иду к дому. Вступаю в облако света от светильника. Шерстяной фитиль в масле горит ровно и чуть потрескивает. В мозаичном полу отражается колебание пламени и моя белесая фигура.

Поворачиваюсь. В глубине сада женские тени. Кто они? И главное — кто она?

— Это заложницы.

Я вздрагиваю. Резко поворачиваюсь, чуть не падаю. Меня поддерживают за плечо. Пальцы твердые, но держат аккуратно. Я вижу золотое кольцо на безымянном пальце — знак римского всадника.

Поднимаю голову. Ну конечно! Этого и следовало ожидать.

— Что ты здесь делаешь? — говорю я хрипло.

Арминий, царь херусков, качает головой. Усмехается:

— Дышу воздухом. Там страшная духота.

Я думаю, что неплохо бы ударить Сегеста по голове чем-нибудь вроде бронзового светильника, затем вспоминаю:

— Заложницы?

Арминий смотрит на меня внимательно.

— Ты не знал, легат?

Для того чтобы обеспечить верность покоренных народов, Рим издавна берет заложников. Обычно это сыновья вождей, дети царей или знатных людей. Мальчики. В крайнем случае — юноши. Они живут в Риме, получают хорошее римское воспитание и обучение. Когда приходит время, они возвращаются к своим народам и несут им Pax Romana — Римский мир. О, в этом мы преуспели...

Но почему — девушки?

— Германцы иначе относятся к своим мальчикам. Смерть для мужчины от рук врага — не позор, а честь. Поэтому вожди легко жертвуют своими сыновьями. Но девочки... девушки — другое дело. — Арминий смотрит на меня. Кто ты, варвар, который говорит не как варвар?

— Другое?

— Когда в заложниках их женщины, германцы не так легко разорвут договор верности.

Я некоторое время обдумываю его слова. Если бы... ик!.. не вино, я бы додумался быстрее. Потом до меня все же доходит.

— То есть, — говорю я, — договор верности они разорвут в любом случае?

Арминий улыбается. Так, что у меня по спине пробегает холодок.

— Разве можно доверять варварам, легат? — говорит он негромко.

Налетает порыв ветра. В колеблющемся, рвущемся пламени светильника лицо Арминия кажется мне очень знакомым... и очень страшным. Словно восковая маска одного из моих предков.

Кто ты, варвар?

Когда я возвращаюсь в свою комнату, начинает светать.

В воздухе комнаты легкий туман благовоний и ладана, чтобы отгонять комаров. Меня качает от одной стены к другой. Пить. Надо как следует напиться воды перед сном, а то утром от моей головы останется только дымящаяся воронка вулкана. Я как-то видел извержение, это было не самое приятное впечатление в моей жизни.

Тарквиний сопит на лавке. Старческое лицо во сне искажено каким-то странным выражением, словно за ним кто-то гнался во сне. У стариков — беспокойный сон.

Я наливаю воды с лимоном из серебряного кувшина — поверхность, кое-где помятая, в мелких капельках. Провожу пальцем, остается мокрая полоса. Я беру чашу и выпиваю — с трудом, но до дна.

Прохладная вода стекает по стенкам внутри меня. Лучше.

Я ставлю чашу на стол и вижу свой сундук из крашенного в зеленый дерева, бронзовые петли такие древние, что позеленели от старости. Где-то там, в глубине, лежит шкатулка с вещами Луция... железное кольцо сенатора, которое он получил в двадцать четыре года, за четыре года до обычного срока... амулеты для здоровья — почему их так много, кстати? Я зажмуриваюсь. Глаза режет. Спать, надо спать.

Луций никогда не был суеверен. Скорее уж наоборот, брат всегда мог истолковать знамения в свою пользу.

И еще... Я замираю на мгновение. Конечно! Сегодня на арене. Безумный германец с фигуркой Быка.

Особый серебристый металл. И кажется, что фигурка подрагивает на ладони. След крови, размазанной по серебристому металлу...

Я не знаю такого металла. Что-то восточное? Надо достать, посмотреть. Там, на мгновение мне показалось, что фигурка Быка и фигурка птички, что досталась мне от брата, очень похожи. Сделаны одним мастером.

Возможно, это важно. Возможно, если я буду знать, откуда у германца его фигурка, я узнаю, откуда Луций взял свою.

Глаза словно песком присыпаны. Все кости болят. Я хочу найти фигурку Воробья, но понимаю, что сил мне уже не хватит. Да я и не знаю, где именно искать. Это дело Тарквиния.

Разбудить его? Я поворачиваю голову. Вижу с этой стороны только нос старика, задранный вверх, и беспокойный, подсвистывающий храп.

Делаю шаг. Он всего лишь старый раб, чье дело — угождать господину. То есть мне.

Останавливаюсь. Глупый старик сначала полчаса не сможет понять, чего я от него хочу. Затем начнет ворчать и задавать вопросы. Вопросы, морщусь я. У меня и так голова болит.

Нет. Завтра. Фигурка никуда не убежит. Я вздыхаю с облегчением и иду к кровати. Веточки лаванды трепещут на сквозняке. Я подхожу, на ходу сбрасывая тогу... начинаю падать.

Уже падая в мягкое, прохладное нутро матраса, я думаю: все-таки как же ее зовут? Ту девушку?

Темнота. Мягкий удар. Я растекаюсь по кровати, в блаженстве вытягиваю ноги. Спать, спать, спа...

ГЛАВА 8

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Утренний сигнал к пробудке прозвучал над легионом — резкий медный звук трубы.

На валах, в будочках на частоколах, ежятся от утренней свежести часовые. В рассветный час всегда хочется спать, особенно если не спал до этого несколько часов, — и от этого зябнешь, даже в шерстяной пенуле.

Пробили первый час — рассвет. Розовато-серая кромка над восточной стороной лагеря. Северная сторона — лагерь ориентирован ею к реке — пока была серой и туманной.

Над принципией легиона реял золотой орел Семнадцатого Морского (он же Семнадцатый Победоносный) и алые знамена когорт.

За то время, пока легион стоял здесь, за несколько долгих летних месяцев в летнем лагере, он успел обрасти кучей строений за частоколом и рвом, привыкавшими к лагерю. Там располагался обоз и женщины с детьми, у части легионеров здесь подруги — контуберны, солдатские жены. Там торговцы, юристы, гадатели, игровые дома, всевозможные удовольствия и, конечно, лупии — «волчицы», проститутки, всегда следующие за солдатами.

Дальше к западу располагаются лагеря двух других легионов — Восемнадцатого Галльского (он же Верный) и Девятнадцатого (он же Девятнадцатый Счастливый).

Если посмотреть с высоты птичьего полета, то какой-нибудь орел (если его каким-то ветром занесет в северную Германию) увидит, что три правильных, совершенно одинаковых прямоугольника соединяются, как некоей бесформенной кишкой, построенным

из подручного материала подобием городка. Легионерам требуется жизнь вне лагеря, иначе жизнь в лагере станет совсем невыносимой.

Когда пропели трубины Восемнадцатого, чуткое ухо Марка Скавра уловило паузу между сигналами соседних легионов. Интересно, что после смерти легата трубы Семнадцатого всегда чуть запаздывают. Или это только кажется? Скавр провел скребком по шерсти Сомика. Может, и кажется... Жеребец беспокойно задвигал ушами и переступил на месте.

— Спокойно, спокойно, — негромко сказал Марк и погладил теплый конский бок.

Жеребец дернул ухом. Сейчас надо проследить, а то вдруг попытается укусить. Зубы у него будь здоров... С Сомиком всегда надо быть настороже. Отвратительный у него характер.

Обычно декурион второй турмы предпочитал чистить жеребца сам. Сомик ревнив, агрессивен и легко впадает в уныние, если хозяин долго не обращает на него внимания.

Другая лошадь Марка, безответный и спокойный мерин Бляшка, сейчас ждал, пока его почистит Стирий, легионный раб, приписанный к конюшням. Другой раб, Костинур, сейчас должен принести Марку Скавру воды. Через час общее построение легиона на площади перед преторием. Там будет поверка и утреннее посвящение Гению легиона, Гению лагеря и Божественному Августу. Ну и птицегадание, конечно.

Марк почти чувствовал, как тянет печеным хлебом от палаток. Каждая контуберния — палатка — сейчас готовится к построению. Один из палатки готовит кашу на походной жаровне. Остальные начищают доспехи и оружие, подшивают туники.

Скавр провел скребком по черной шкуре Сомика, еще раз. Чистить коня — нудно, конечно, но успокаивающе привычно.

Рядом чистили коней всадники его турмы. Эквиты иногда поручали это занятие легионным рабам, приписанным к конюшням, но — рабы есть рабы. Ленивые, равнодушные, хитрые, как дети. Бей их или не бей, все одно. Так что Скавр настаивал, чтобы всадники сами занимались своими лошадьми. Каждому эквиту положено две лошади. Стоимость овса вычитают из жалованья всадников, так что подножный корм — самое то.

Сегодня должны быть занятия по верховой езде.

Что ж... Скавр вздохнул. Должны — значит, будут. Герций пока еще плоховато ездит, его мерин вечно сбивает турму с шага на повороте «сам, кругом». Надо будет его погонять.

Когда он выводил Сомика, то увидел, как от лагеря Семнадцатого отъехали несколько всадников. Не эквиты, одеты как офицеры. Панцири, золотые кисти, бронзовые наручи, как на парад. Расфуфырены, проще говоря. Всадники пустили коней в рысь. Плащи развеваются, за ними скачут несколько рабов. Куда это они с утра пораньше?

Птицы щебетали. Наглый воробей залез в лужу и начал с шумом брызгаться. Купание. Скавр засмеялся — у всех свои радости.

Над лагерем вставало солнце в пелене легких серых облаков. И не жарко. Вообще отлично.

Скавр вдохнул, выдохнул. Провел скребком по шкуре Сомика. Проклятая лихорадка ушла, и теперь руки у него снова сильные, а в голове — ясность. Доброе утро.

Вообще для кого такое утро может быть недобрым? Скавр покачал головой. Интересно.

* * *

Для кого-нибудь утро может быть добрым? Хороший вопрос. Идите к Плутону в задницу.

Я открываю глаза. Во лбу тупая боль, словно туда вогнали заостренный кол для лагерного частокола. Вообще что хорошего может быть в ударе по голове? Только то, что потом голова болит по причине, которую можно понять и оценить. Но вот так — так, словно туда ворвалась парфянская тяжелая конница и скачет туда-сюда, утюжа подкованными копытами легионеров Красса! Проклятье.

Наконец я все-таки решаюсь встать. Оказывается, я уснул одетым.

— Господин, господин... — Мерзкий голос.

Хотя и знакомый. Но я даже вспомнить не могу, чей он. Вчера никогда не было. Пожалуйста.

Вчера я столько не пил. Только не я...

— Господин, к вам гости. К вам пришли, господин Гай.

Тарквиний. Будь ты проклят, старик!

Я отрываю голову, с трудом смотрю на старого раба — его физиономия качается и уплывает от меня. Боль в голове адская.

— Что? — говорю я. Ох, оставьте меня в покое. — Кто пришел?

— Какие-то трибуны. Военные. Они спрашивают вас. Мол, легат Семнадцатого — это вы?

До меня не сразу доходит. Потом я сажусь и хватаюсь за виски. О боги. Только не сейчас, пожалуйста.

Офицеры моего легиона решили нанести мне визит вежливости. Прекрасно. Где бы еще взять здоровую голову для них?

— Они точно ко мне?

— Точно.

Безжалостный старик! Мог бы и соврать, что ли.

Я тяжело вздыхаю. Ощущение — чтоб я умер.

— Скажи им, что я сейчас буду.

— Уже сказал, — и выходит.

Железное кольцо — знак сенатора — впилося в палец так, словно это оковы узника.

Я встаю. Тусклый свет из окна — спасибо, что хоть природа шадит меня сегодня, — лежит на кровати, на смятом цветном покрывале. Вся комната слегка покачивается. Чертово вино! Не надо было мне столько пить.

Я поднимаюсь. Тарквиний — моя ворчливая Немезида — подаст мне тунику. Где ты был вчера, старик? Когда меня еще можно было остановить?

Болят даже изнутри черепа. Там оставили следы копыт десятки парфянских катафрактов, закованных в железо с головы до ног. Не считая того, что они проехали по мне туда и обратно.

Старик возвращается и ставит передо мной на пол ночной горшок. То что нужно. До латерны я бы сейчас не дошел. Закончив, я с трудом возвращаюсь к кровати, сажусь, прикрываю глаза. Сейчас бы еще поспать — до самого вечера. Нет, они притащились с самого утра... Вот и командуй после этого легионом!

— Умываться, — говорю я хрипло. Голос звучит как из деревянной бочки. Старой и разбитой. Никакой мелодичности.

Плещу в лицо воду и позволяю ей стечь. Прохлада. Тарквиний протягивает зубную палочку с расщепленным концом и круглую коробочку с мелом. Превозмогая тошноту, чищу зубы, тщательно полощу, сплевываю. На языке — привкус мела.

Тарквиний подает мне полотенце. Что-то я вчера хотел... Мысль ускользает. Зачем-то мне был нужен этот злобный капризный старый раб. Зачем? Неважно.

Девушка, думаю я. Там, в маленьком саду. Синий — цвет смерти.
— Мою тогу.

Попробуем выглядеть хотя бы чуть лучше брата. Это не так трудно. Он уже мертвый.

— Что-нибудь еще, господин? — спрашивает Тарквиний. Интересно, кто додумался назвать этого ворчуна именем последнего царя Рима?

— Да, еще. Дай воды.

Я откашливаюсь. Выдыхаю. Ощущение — словно я опять в мавританской пустыне, скакал без воды и отдыха весь день.

— Господин? — Тарквиний смотрит без тени участия. Серебряный кувшин наклоняется над чашей.

— Много воды.

* * *

Когда через некоторое время я выхожу из комнаты, я уже более-менее похож на сенатора Рима и командующего легионом. Тело слегка чужое, словно я надел его не глядя. Выхватил из груды тел и слегка промахнулся с размером.

Утро. В атриуме слышна деловая суeta и пение птиц.

Через мою левую руку переброшен конец тоги. Пурпурная широкая полоса режет глаза.

Я иду. Не то чтобы быстро, но — с вынужденным достоинством — передвигаю ноги. Словно я проехал верхом пару суток и теперь хожу слегка... устало.

Трибуны Семнадцатого. О чем я буду говорить с этими людьми? Вот что мне интересно. Поскорей бы все это кончилось.

Я слышу голоса. Сильный утренний запах цветов и жимолости тянется от сада. Я выхожу в галерею перистилия, слева тянется

внутренний сад — не тот маленький, что вчера ночью, — а большой. Но голоса похожи. Два женских голоса. Один постарше, другой...

Увидев двух женщин, я останавливаюсь. Запах беды. «Как твоё имя?» Она не ответила.

Высокая. Одна из женщин в намотанной на голову темной накидке стоит спиной ко мне, другая... Я поднимаю голову выше, лицо окатывает жаром. Она смотрит на меня. Та, вчерашняя девушка. Длинные светлые волосы заплетены в толстую косу. Взгляд исподлобья. Лет пятнадцать-шестнадцать. Невеста. Темные глаза. Нет, светло-серые, но кажутся темными, потому что...

...запах беды. Она пахнет бедой.

Высокая грудь под платьем. Платье на римский манер, песочного цвета, квадратный ворот с вышивкой.

Высокие скулы. Варварка.

Ее губы. Я хочу поцеловать их с такой силой, что мне приходится остановиться.

Она смотрит на меня, я — на нее. Она молчит.

Ethos — взгляд человека в момент перед тем, как произойдет неизбежное. Взгляд, в который сбита вся его история.

Женщина в темном, что стоит спиной ко мне, вдруг резко поворачивается. Это пожилая рабыня с крючковатым носом и жестким взглядом. Она видит меня, рот ее сжимается в нить, издерганный морщинами. Наседка. Или Цербер. Что-то такое. И я ей не нравлюсь.

Я поднимаю голову. Германка больше не смотрит на меня. Через мгновение она снова обжигает меня взглядом, но тут же опускает глаза.

Зато рабыня сверлит меня черными очами — насквозь. Наверное, она назначена, чтобы блюсти заложниц. Понимаю. А то какой-нибудь придурок — вроде меня — возьмет и испортит все отношения Рима с германскими вождями.

Я делаю движение, как оратор, — рабыня не мигает.

На мгновение я злюсь. Сейчас я бы остался и назвал Церберу заговорил с германкой, узнал бы, как ее зовут.

Я слегка кланяюсь и иду дальше. Заставляю себя идти. Ровнее шаг, Гай, ровнее. Сейчас ты встретишься с трибунами своего легиона — будь же спокоен и сдержан.

А на обратном пути...

Я с усилием тяну носом воздух. Да, будем надеяться, что она окажется здесь.

Она пахнет бедой, думаю я, вступая в атриум. Моргаю с непривычки. В атриуме легкий полумрак — из-за тусклого германского солнца. При моем приближении голоса смолкают. Офицеры оборачиваются ко мне. Один, два... пять, шесть, семь. Все трибуны здесь?

Для всех офицеров легиона их маловато.

— Легат, — приветствует меня один из них воинским салютом. Кулаком в плечо и вправо. Невысокий, черные волосы, лет тридцати пяти. Италик явно. Он в кожаном панцире, украшенном фигурами вставших на дыбы коней.

Остальные тоже в кожаных панцирях — парадных, браслеты на руках блестят — воинские награды. Офицеры вразнобой приветствуют меня. Все, кроме одного — почти мальчика, трибунала-тиклавия, — старые опытные офицеры, отслужившие не один год.

В воздухе повисает некоторая неловкость. И я понимаю почему. Видимо, пока я шел, беседа велась обо мне. Или, возможно, о моем брате. Об Августе, который назначает легатами всяких... мой брат — понятно, он опытный командир, прошедший не одну войну. Но я?

Кто я вообще такой? В воздухе словно завис так и не заданный никем вопрос.

Гражданский. «Тога».

— Воины, — говорю я. Я мог бы назвать их «квиритами» — гражданами, — но это бы их обидело, без сомнения. — Рад вас видеть.

Они нестройно приветствуют меня.

Начинаем знакомиться. Они называют свои имена. Один за самых молодых — префект конницы Гай Метеллий. Он кивает мне и отходит в сторону.

Все правильно — здесь шесть трибунов Семнадцатого легиона. И префект легионной конницы. Ни префект лагеря, ни первый

центурион не изволили почтить нового командира своим вниманием. Это можно списать на занятость — у префекта лагеря и у первого центуриона, который фактически командует легионом в отсутствие легата — то есть меня, — дел по горло.

Но все-таки это вполне ясный намек. Новый легат их несколько не радуется. А трибунов отправили на меня посмотреть.

Раб разливает всем вино, разбавляет водой. Префект конницы явно из самнитов, запомнить.

Я слушаю их речь — с отчетливым варварским акцентом. Почти у всех. А ведь они пробыли здесь... сколько? Пару лет от силы.

— Уверяю вас, я собираюсь идти по стопам брата и не сделаю ничего, чего не сделал бы мой брат.

Это заявление их почему-то не радует. Они начинают переглядываться. Интересно, что я такого сказал?

— Легат, — говорит Прозоний Север, трибун-августиклавий. — Простите, что спрашиваю... Вам приходилось бывать на военной службе? Под чьим началом вы служили?

Хороший вопрос. А главное, такой доброжелательный.

— Младший трибун в Девятом, — говорю я. — Мавритания. Легат Корнелий Насика.

Прозоний Север кивает.

— Понимаю. Вы знаете, легат, в Германии все далеко не так... не так просто, как в Африке. После смерти вашего брата нам пришлось взять на себя больше ответственности. Но префект лагеря Эггин прекрасно справляется с обязанностями заместителя легата... Мы все, в свою очередь, стараемся ему помогать. Сейчас Семнадцатый стоит летним лагерем. Походные условия, вы понимаете. Палатки, комары, грубая пища... Не то что здесь. Вы можете командовать отсюда, легат.

Прозоний смотрит на меня, словно намек недостаточно. Я молчу. Что я должен понять из его слов? Что я никому в Семнадцатом на хрен не сдался — новый легат? Это и так понятно. Я мог не выезжать из Рима, мог вообще ходить с повязкой на глазах и с залитыми воском ушами — и все равно бы это знал.

Они стоят передо мной — боевые опытные офицеры трибуны-августиклавы, узкополосочные, выслужившиеся из центурионов,

участвовавшие в походах Друза и недавнем — Тиберия, кто-то перелез в Семнадцатый из Сирии или Паннонии, кто-то видел туманные берега Британии и раскрашенных синим пиктов — и приказывал «мулам»: коли их, ребята, м-мать, коли... Я все это знаю. Но тем не менее я — их новый легат. И никуда им от этого не деться.

— Хорошее замечание, старший трибун, — говорю я.

Ну же, еще раз посмотри на меня так: «тога», гражданский, что ты здесь вообще забыл... Именно это я забыл.

Я так обожаю, когда у меня много врагов. Назло им я становлюсь лучше.

Врагов вообще надо холить и лелеять, не забывая время от времени уничтожать. Враги сделают из тебя быстрого и умного человека, не пропустят ни одной твоей промашки или слабости. Да, господа трибуны и префекты, я вас понял.

Кровь вскипает и стучит у меня в висках. Мурашки по спине. Спасибо, старший трибун. Вы напомнили мне, кто я и кто вы. Теперь я готов драться. Здравствуй, Семнадцатый.

— Рад, что нашли время ко мне заглянуть, — говорю я своим врагам. — Я так польщен. Думаю, в скором времени я нанесу ответный визит. Не нужно беспокоиться, это не инспекция...

Судя по невольно вытянувшимся лицам, намек понят. Это будет именно инспекция. Беспощадная и жестокая. Мы — враги. Просто у меня меньше боевого опыта и гораздо больше власти.

Нечестно, но — приятно, что скрывать.

— Квириты, — говорю я. — Приятно было познакомиться. Сейчас вам предложат обед, буду рад увидаться после. До встречи.

— Легат, — сухо кивает первый центурион.

Вслед за ним кивают трибуны с узкими полосками, трибун же с широкой полосой — латиклавий, мальчишка двадцати — я сам когда-то был таким, учеником при Мавританском легионе, — надменно вздергивает нос и молчит. Не спеши подражать взрослым птицам, мальчик. Ты еще птенец.

В исполнении трибуна-мальчишки те же самые жесты и те же самые взгляды выглядят смешно, но я сдерживаю улыбку. Мальчик учится. И хотя движения его неловки, а ужимки смешны — он учится быть мужчиной. И учится — у лучших.

Я снисходителен? Пожалуй. Но когда-нибудь этот мальчик будет командовать легионом — не обязательно Семнадцатым — и дайте, боги, мне надежду, что он научится быть хорошим командиром. И не будет кем-то вроде меня, забывшего о военной службе почти все, кроме самого главного. Как рыба, попавшая в аквариум, забывает, что родилась в океане, но не забывает, что родилась в воде. Мои предки сражались в войсках Фабия Максима и Сципиона Африканского, командовали когортами, отражая набег тевтонов (кто-то оказался потом с перерезанным горлом на варварском алтаре — но это мелочи), затем — успешно отражая набег тевтонов вместе с Гаем Марием; позже сражались в горниле гражданской войны — с обеих сторон. В нашем роду были убийцы и злодеи, развратники и прелюбодеи, но трусов — трусов, кажется, не было.

Что ж... надеюсь, и не будет.

Мы прощаемся.

Когда я выхожу из атриума, свет кажется ярче и даже слегка похож на дневной. Неужели я увижу в Германии настоящее солнце? Оно здесь бывает?

Я выхожу из атриума, прохожу крытую колоннаду и попадаю в сад. Свет, похожий на дневной, льется через отсутствующую крышу и ложится на мраморные колонны. Мы в Германии не так давно, но уже успели отстроиться на много лет вперед. Дворец пропретора напоминает римские, разве что света здесь мало и сырость сводит с ума.

Я смотрю на зелень, на садовые растения: мирт, виноградную лозу, акации, красные, желтые, оранжевые цветы, — на пчел, выующихся вокруг них, я слышу их едва различимое гудение, уютное, как завтрак на траве, — и думаю, что видел здесь ее, германку. Высокая. Тонкий стан, волосы светлые, в изгибе стана виноваты Эрот и Венера, соблазнитель, а повадки — дикие, дева-воительница пятнадцати лет. Диана. Я почти наяву чувствую запах ее кожи, нежный. Представляю ее походку...

Оглядываюсь. Но девушки здесь больше нет. Пока я обменивался взглядами с офицерами, она исчезла. Ушла.

И тут мне становится пусто.

Когда-то, много лет назад, когда я служил трибуном при сирийском легионе, мы поехали на охоту. Львы пустыни, желтые убийственные молнии — наша цель и желанная добыча. Десятки черных рабов бегут перед нами и позади нас, едущих верхом. У меня в руке длинное копье с толстым черенком и крепким железным острием длиной в две ладони. Задача рабов — поднять льва, задача лошади — его догнать, моя забота — вонзить наконечник копья в сердце льва. Роль же льва — героически умереть.

Ну, или убить раба, лошадь и охотника.

Ирод Антипа, царевич, сопровождает меня — как друг и белозубый попутчик. Когда он смеется, пустыня замирает — от хищного блеска его зубов немеет шакал. Царевич приехал из Иудеи, он там десятый или двадцатый по счету наследник, но это неважно. Он хищен, как первый и единственный. Он будет царем Иудеи. Я знаю. Я его друг.

В тот день мы проскакали миль двадцать.

Царевич убил двух львов, я посмотрел на нескольких. Царевич смеялся, выдергивая железный наконечник из львиного сердца, я завидовал. Некоторым дается сила и рост, другим ловкость и быстрота движений — ему было дано с избытком и того, и другого. Я тоже убивал львов, но не сегодня — сегодня был день Ирода.

Красный закат ложится на пустыню, словно кровь, текущая из львиного сердца, запекается черной каймой на раскаленном докрасна железе. Красная полоса, черный край, я смотрю на него и вижу, как садится солнце. Гелиос на небесных конях уходит в подземный мир и вернется только завтра. Возможно, он сейчас скачет под моими ногами на четверке — кони хрипят и роняют пену, — а утром он выскочит из-под земли с востока. Возможно, Гелиос никогда не отдыхает.

А возможно, правы Демокрит и Тит Лукреций Кар — все состоит из атомов. Не мне судить. Но я вижу, как красная полоса на горизонте становится все тоньше, солнце в пустыне исчезает стремительно, словно вор, бегущий с твоим кошельком на сирийском базаре. Конь мой устал, я оставил его внизу. Я стою на краю каменного утеса, выточенного ветрами из песка, и смотрю на закат.

Ирод Антипа и чернокожие рабы где-то там, далеко позади. Впереди, в темноте, бродят львы и львицы собирают львят. Я слышу далекий рык хозяин прайда. Царь всегда царь — даже если он ленив, и космат, и не расторопен.

Возможно, поэтому мы, дети Ромула, убили и прогнали своего царя.

Мы — римляне. Дети республики. Львицы и львята, прогнавшие своего повелителя-льва.

Возможно, поэтому царевич Ирод Антипа охотился сегодня со мной, трибуном-мальчишкой, и смеялся белозубо, распугивая шакалов...

Потому что мы покорили полмира.

Топот солдатских калиг слышали варвары от Британии до степей Великого Понта.

Я стою и смотрю на закат, на исчезающую полосу. В животе замирает — и вдруг я слышу за спиной рычание. Мир переворачивается и становится плоским, как мозаика на стене. В ушах — гул крови. Я медленно поворачиваю голову...

...говорят, перед глазами проносится вся жизнь.

Огромная лапа. Кроваво-красная грива, похожая на нечесанный песчаный бархан, на выплеск лавы, еще не до конца остывший, со сполохами огня — в завалах каменных волн тонет последний луч солнца.

Лев стоит и смотрит на меня.

Я смотрю на льва. В его глазах отражаюсь я и разломленная моим силуэтом огненная полоса заката.

Черные глаза. Сердце зверя. Мое копьё — у седла, на моем коне, мирно пасущемся под скалой. Ветер дует в сторону льва, поэтому конь даже ничего не знает и ни о чем не беспокоится. На его шее — сумка с зерном. Беспечный скакун! Впрочем, на его месте я бы тоже не волновался и мирно жевал.

Лев разевает пасть и с шумом зевает. Я вижу темную пасть глотки и розовый язык. Клыки, от которых у меня пробегают мурашки.

Я смотрю на зверя. И не чувствую страха. Я чувствую пустоту.

Лев поворачивается и неторопливо уходит. Я смотрю ему вслед...

Возможно, такую же пустоту я почувствую, когда узнаю, кто убил моего брата. Но в следующий раз, когда я встречу льва, мое копье будет при мне.

Тот германец, Стир, с фигуркой Быка... интересно.

Вернувшись в комнату, я оглядываюсь. Где-то здесь должна быть фигурка птички. Воробья, наверное. Точно, я вспоминаю стаю серых птичек, срывающуюся с песка арены... с песка, на котором темнеют багровые пятна крови — их засыпят служители цирка, когда бой завершится.

Да, это, наверное, Воробей.

— Тарквиний! Тарквиний!

Молчание.

— Старик, где ты? — Я начинаю злиться.

Проклятый день начался плохо и становится все хуже. Зеленый сундук стоит раскрытый. Часть моих вещей валяется на кровати. Видимо, старик начал доставать мне одежду, да и забыл. С ним такое бывает — в последнее время.

«Продай старого раба». Да, интересные все-таки у Катона Старшего были понятия об излишествах.

— Тарквиний! Проклятый старик, где ты?

Молчание. Я переступаю через брошенную им мою шелковую тунику — желтую, как золото, и, Тифон стоглавый, очень дорогую вещь. Если старик начал делать такое, придется искать ему замену.

И тут я думаю: а вдруг что-то случилось? Вещи разбросаны. Вдруг вошел кто-то чужой, вор, местный варвар-грабитель — и убил старика. И теперь убийца ждет меня за дверью...

— Будь ты проклят! ТАРКВИНИЙ!

Я слышу стук, словно за стеной что-то уронили. Рука тянется к ножу — черт, я же безоружен! Я бесшумно передвигаюсь к раскрытому сундуку, заглядываю. Сначала мне кажется, что там ничего нет... кроме груды вещей... Потом вижу рукоять глади под пурпурной лентой. Отлично. С тихим едва слышным скрежетом клинок выходит из ножен.

Теперь при встрече со львом я не буду безоружным.

— Тарквиний! — говорю я на всякий случай. Клинок меча блестит, приятная тяжесть.

На кровати лежит браслет из бронзы. Он дан мне за то, что я организовал доставку воды в отдаленный гарнизон. Моя единственная награда за время военной службы. Я подхожу, поднимаю его. На старой бронзе — царапины. И тут слышу шаркающие шаги, стариковские.

Тарквиний появляется из соседней комнаты. Идет сонный, едва волооча ноги. Зевает. Я выдыхаю. Облегчение такое, словно сбросил с плеч гору. Я опускаю меч.

Ну все, он у меня получит...

— Простите, господин Гай, — говорит старик. Голос дрожит. — Я... задремал... простите. А... а зачем вам меч?

И тут я не выдерживаю.

— Я тебя в пекарню отправлю, — говорю я медленно. — Слышишь?!

Воздух вокруг меня загустевает, словно остывающее на воздухе жидкое стекло, что превращается в сосуд для воды. От ярости у меня пересыхает в горле. Я делаю шаг, хватаю старика за тунику у горла, стискиваю и вздергиваю вверх. Подбородок его с белесой бородой задирается. Еще секунда, и я швырну его в угол. Или ударю головой — пустой и старой — о кроватный столб. Меня трясет от ярости.

— Да, господин Гай, — говорит старик спокойно. — Слушаю.

В следующее мгновение я едва не швыряю его в стену. Будь ты проклят, глупый старик! Будь...

«Он не виноват, что ты упустил девушку». Я закрываю глаза, пережидая приступ ярости. Под веками пульсирует красное. Громкое красное. Не виноват, что трибуны ни в медный обол тебя не ставят...

...проклят, болван!

Не виноват, что твой брат умер, а всем плевать.

В следующее мгновение я открываю глаза. Отпускаю Тарквиния. Он отряхивается, поправляет одежду, словно ничего не произошло. И тут мне становится стыдно. Это как волна. Тебя окатило, и ты стоишь весь мокрый...

«Я сам виноват», — думаю я. Ничего, ничего.

— Господин Гай, — говорит Тарквиний спокойно, словно ничего не произошло. — Вы меня звали?

— Да. — Я дергаю щекой. «Ну же, успокойся!» — Найди мне ту фигурку.

— Какую?

Я прикрываю глаза, чтобы снова не сорваться. Красное с черным. Снова открываю.

— Фигурку, что осталась от Луция.

— Воробей?

Я от удивления забываю про злость. Верно. Именно так я ее и назвал.

— Воробей, — говорю я.

Тарквиний кивает. И только тут я понимаю, что до сих пор держу в руке меч.

* * *

Холодная тяжесть фигурки на моей ладони.

Воробей. У греков воробьи — переносчики душ умерших. Когда человек умирает, они подхватывают его душу и несут в подземный мир.

У нас, римлян, этим же занимаются голуби. Поэтому даже урны для праха у нас в форме голубей. Колумбарии.

Я вспоминаю восковые маски предков, подсвеченные огоньками сальных свечей...

Поэтому лучше — не умирать.

Я качаю ладонью, в амулете отражается дневной свет, играют блики. Стискаю Воробья в кулаке. Почему эта безделушка — хотя и красивая — была так важна для Луция? Почему пришлось разжимать его мертвые пальцы, чтобы вынуть ее?

И почему варвар Стир, раздирающий людей на части голыми руками, носит такую же? Я закрываю глаза и вижу — фигурка Быка, обмотанная веревочкой, на чудовищной шее варвара. Движение ладони — и кровь размазывается по серебристому металлу.

Открываю глаза. Проклятье. Я морщусь. Такое ощущение, что в глаз что-то попало.

— Господин Гай? — Голос старика нарочито ровен. Словно не его недавно я чуть было не прибил в приступе ярости. — Прикажете подавать обед?

Меня передергивает. Нет, только не это.

— Нет, потом.

Тарквиний бесстрастно кивает. Тут я только замечаю, что у него подрагивают губы — от обиды.

— Тарквиний... — начинаю я.

— Что угодно господину? — говорит старик бесстрастно. Я замолкаю, не в силах продолжить. Мне нужно сказать ему: мне жаль, прости меня, старик. Я сорвался... Мне очень жаль.

«Ты слишком импульсивный, Гай». Голос Луция.

Вместо этого я говорю:

— Дай мне какой-нибудь шнурок.

Это для амулета. Для Воробья. Если амулет был так важен для Луция, не думаю, что мне стоит с ним расставаться. Ах, если бы я еще верил в богов! Или верил сам Луций.

...Впрочем, отсутствие веры в богов не отменяет веры в колдовство.

— Мне нужно повесить фигурку.

Тарквиний кивает и уходит, дрожа от обиды. Спина его словно говорит: «Я смертельно-смертельно-смертельно обижен тем мальчиком, который вырос на моих руках». Что-то вроде.

Я усиленно моргаю, правый глаз чешется все сильнее. Ячмень заработал, что ли? Придется делать примочки. Отличное будет зрелище. Легат приезжает в легион с опухшим глазом.

Когда я выхожу в сад, фигурка висит у меня на шее под туникой.

Уже пять часов. Бледный дневной свет льется в открытый проем сверху, ложится на мозаичные полы. Тот, что подо мной, изображает вереницу блюд римской кухни. Вот блюдо с устрицами под медово-чесночным соусом, если я правильно понимаю. Вот — блюдо с зажаренными певчими птичками... Вот...

Фигурка требует приношения крови? — вспоминаю я германца по имени Стир. Интересно, нужна человеческая кровь или достаточно овечьей?

— Как твое имя? — женский голос.

Что?! Я вскидываю взгляд.

Она пахнет молодостью, яростью, мокрой травой и смехом в ночи. Она пахнет длинными ногами под платьем. Она пахнет сероглазым взглядом, обжигающим нутро.

Она пахнет бедой.

Браслет из желтых прозрачных камней на тонком запястье. Песочное платье. Толстая русая коса лежит на плече.

Взгляд исподлобья. Такой прямой, что кажется неприличным.

— Как твое имя? — повторяет она на латыни с варварским акцентом.

Я выпрямляюсь.

— Гай Деметрий Целест.

Она смотрит мне в лицо, словно что-то ищет. Я моргаю.

— Ты похож на Любителя Варваров, — говорит германка неожиданно.

Я слишком хочу протянуть руку и дотронуться до ее губ, поэтому я заставляю себя расслабиться и понять, что она говорит. Любитель Варваров? Барбарофил? Кто это?

И тут понимаю. Вот о ком, оказывается, сплетничали вчера в латерне. Луций — Любитель Варваров.

«Что мы знаем о самых близких нам людях?» Божественный Август.

— Ты знала моего брата?

— Он есть великий человек, — говорит германка торжественно. — Все германцы так считать.

Луций, Луций. Погребальный костер пылает, дым взлетает в раскаленное небо Рима — почти невидимое пламя лижет поляны. Треск.

Я моргаю. Дурацкий глаз чешется, как проклятый.

— Он БЫЛ великим человеком. А сейчас он — прах и пепел.

Я не знаю, почему говорю так. Я помню, как мы с Квинтом, оболтусом, выбирали из пепла обгоревшие кости и складывали в колумбарий. Восковая маска Луция, смеющаяся в атриуме — среди предков.

И — да. Он был великим человеком.

— Прах и пепел, — повторяю я.

Она качает головой. Прекрасна.

— Ты много не знаешь, римлянин.

Ее латынь оставляет желать лучшего. И, возможно, именно поэтому это звучит так... правильно.

— Как твое имя? — говорю я. Хотя надо бы сказать: дай мне свои губы.

О чем я думаю?

— Туснельда, дочь Сегеста.

Сегест. Какое знакомое имя... что?!

— Дочь царя хаттов? — спрашиваю я. Она улыбается.

— Да.

Это многое объясняет. Хотя... я почему-то рад, что Сегест терпеть не может красавца Арминия — и вряд ли подпустит его к своей дочери. Арминий — мой друг, но этому я рад.

— Мой брат, — говорю я. — Луций... ты знаешь, кто его убил?

Она вскидывает взгляд. Темным огнем словно опаляет мне лицо.

— Нет!

Она боится? Прежде чем я успеваю что-то сказать, она разворачивается и идет от меня. Быстро. Проклятье! Не уходи. Не смей уходить!

В два шага я догоняю ее и хватаю за руку. Прикосновение к ее коже обжигает. У меня перехватывает дыхание на мгновение... на два мгновения. Под пальцами бьется ее сердце.

— Скажи мне, — говорю я хрипло.

В следующее мгновение меня толкают в грудь. Что-то черное и маленькое. И злобное. И, Тифон поberi, какого ей надо?! Отпускаю руку германки.

Я отступаю на шаг — скорее от неожиданности. Между мной и Туснельдой стоит та старушенция — нянька, которую я видел утром вместе с германкой.

Нянька шипит, как кусок мяса на алтаре. В ее руке вдруг появляется короткий кинжал. Блеск металла. Я поднимаю брови. О-очень смешно.

— Скажи мне, — говорю я через голову няньки. Туснельда потирает запястье. — Скажи мне, если что-то знаешь о моем брате. С кем он встречался в лесу? В той хижине?

Германка смотрит на меня — с сожалением? с презрением? с жалостью? — и идет прочь. Я вижу ее затылок, изгиб ее шеи... стискиваю зубы.

Она пахнет бедой.

— Пожалуйста! — кричу я. Крик мечется в пространстве атриума, над бассейном с фонтанчиком — я слышу журчание воды. Над розами и настурциями. Над статуей молодого Августа — бронзового и бесстрастного, как бог.

Туснельда вдруг останавливается. Потом поворачивает голову и смотрит на меня.

— Это... опасность, римлянин Гай, — говорит она наконец. Серые глаза. — Не надо ворошить пепел. — Ее губы искривляются на мгновение. — Ты много не знать.

Она поворачивается и уходит. Нянька в черном смотрит на меня так, словно собирается вспороть мне внутренности своим крошечным ножиком.

Я смотрю вслед германке.

Туснельда.

Луций.

Я «много не знать». Но я узнаю.

ГЛАВА 9

ОПАСНОЕ СХОДСТВО

На круглом боку шлема сверкнул луч солнца, ударил в глаза.

Секст моргнул, прищурился. Зевнуть, что ли? Ага, если центурион заметит, неприятностей хлебнешь полной ложкой... Нет уж, лучше потерпеть, решил он. Выпрямился.

Легион лихорадило с самого утра. По лагерю катились слухи — волнами. Мол, на самом деле новый легат — настоящий зверь. Столичная штучка. «Тога». Истинный «паганец», как принято называть на военном языке гражданских, — клеймо ставить некуда.

Но зато он родной брат старого легата, который был отличным командиром, — что уже неплохо. В отличие от трибунов, простые «мулы» не испытывали заранее неприязни к назначенному из Рима легату. Скорее наоборот. Говорят, новый легат служил прежде в Африке. А скоро прибудет с проверкой легиона. И главное... главное: он брат Луция Деметрия Целеста.

Хорошо это или плохо, покажет время. Легионер Секст Виктор скосил глаза — влево. Головы, лица, лица. Шлемы сверкают. Всеобщее построение легиона на санктум преториум — главной площади лагеря. Вторая когорта смотрелась неплохо. Еще бы. Начищенные и смазанные маслом доспехи сверкали, подбородки чисто выбриты, оружие в порядке. В глазах «мулов» — положенная истовость.

Первая центурия второй когорты Семнадцатого Морского легиона. «Мы — лучшие!»

— Равняйся! Смирно! — скомандовал центурион. — Вольно.

Развернулся, прошел вдоль строя и встал справа — на свое место. Секст сделал «вольно» и незаметно почесал руку.

«Скорей бы уже закончить и на обед», — подумал он и все-таки зевнул.

* * *

Все лагеря легионов строятся одинаково — раз сделав удачную вещь, мы сохраняем ее навсегда. Поэтому в любом лагере любого легиона в любом уголке владений Рима я всегда знаю, где находится палатка офицеров, где — площадь, посвященная Гению легиона, а где — отхожие места или место наказаний.

Ну хоть с этим проблем не будет.

Я зеваю так, что рискую порвать мышцы, связывающие нижнюю челюсть с верхней.

На кровати лежит белая туника.

В моих руках — вычурный шлем из луженой бронзы. В эллинском стиле. Он достался мне в наследство от Луция. Из темного металла, в грубых завитках — виноградная лоза, вьющаяся вокруг головы. Весит шлем столько, что нужна каменная шея, чтобы носить его. Очень сомневаюсь, что Луций часто его надевал. Парадная вещь.

— Спрячь эту... штуку куда-нибудь подальше и закажи мне сегодня новый шлем — полегче и попроще, — говорю я Тарквинию. — Еще мне нужны новые доспехи, и приготовь мазь — дурацкое железо опять будет натирать, уж я-то знаю. Как тогда, в Мавритании.

Старик кивает. Еще бы — он тогда был со мной, переносил все тяготы службы в Африке. Смешно. Помню, там, в Мавритании, любая молитва или даже проклятье не обходились без слова «Африка». Считалось, что если не вставить это название, то местные боги обидятся.

Тогда я был моложе. И мог есть вместо еды кашу из нарубленных железных гвоздей. Сейчас же...

— Тарквиний, — говорю я, — у меня ноет желудок.

— Это от здешней воды, господин Гай.

Конечно, от воды. То, что меня трясет с самого утра, тут ни при чем.

Я вытягиваю руки перед собой, растопырываю пальцы. Жду. Проклятье! Пальцы начинают дрожать.

Так, туника с пурпурной полосой, обмотки, браслеты, поножи, панцирь — из серебра, сверкающий как молния. Меч в ножнах, обтянутых пурпурной кожей, на дорогой перевязи, кинжал, украшенный зелеными и красными камнями. Белый пояс с золотыми кистями — символ моей легатской власти...

Почти все готово.

Осталось решить, что мне надеть в лагере Семнадцатого. Вопрос вот в чем. Если я оденусь в доспехи, трибуны будут говорить, что я до смешного хочу походить на настоящего солдата — словно курица, вырядившаяся в павлиньи перья. А если останусь в сенаторской тоге, то начнут скрипеть зубами от злости — гражданский, мог хотя бы доспехи надеть...

Что лучше — смех или злость? Ну, тут выбор очевиден.

Тарквиний:

— И что вы решили, господин Гай?

Я трогаю челюсть пальцами. Она почему-то болит. Слишком сильно зевнул, что ли?

— Господин?

— Достань мою тогу.

— Парадную?

— Ни в коем случае. Самую обычную. Лучше даже чуть-чуть застиранную. Есть такая?

Дожидаюсь, пока Тарквиний принесет одежду, я наливаю себе вина и начинаю пить, не разбавляя водой. Густое и кислое — сойдет. Оно течет по глотке прохладой.

Остаться самим собой — это правильно. Нужно их позлить.

Что бы сделал Луций на моем месте?

* * *

Из Ализона я выехал, когда совсем рассвело. От недосыпа все вокруг казалось хрустально чистым, отмытым до основания. Даже грязь на дороге словно вылеплена из глины — с особым искусством. В лужицах отражается светлеющее небо. Я люблю утро Италии. В Капуе, где находятся наши семейные владения, это самое

благословенное время суток. Солнце еще не припекает, не жарко. И все такое свежее. Недаром говорят, что в это время земля касается неба. Это время богов. Время, когда небо ясное до самого эфира.

Здесь же небо другое, низкое, несмотря на ясную погоду. Под копытами коня мягко стучит земля. Я оглядываюсь — даже воровьев еще нет. За мной едет молодой раб из дома Квинтилия Вара — мой проводник. Далее едут десять преторианцев — я вижу их коричневые плащи. Вообще пропретор не советовал мне путешествовать в одиночестве. «Германия становится цивилизованной, конечно. Но еще не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд».

Я вспоминаю мычание коров и раскаты грома.

Меч, ударяющий в грудь германца... Красные бусины, рассыпающиеся... Нет, видимо, не так хорошо.

Конечно. Я кивнул тогда.

Судя по тому, как меня встретила Германия, я словно приехал выискивать ее язвы.

Жеребец из городских конюшен мотает головой. Я купил его вчера. Отправился сразу после обеда. Его зовут... неважно, как его зовут.

Луций прав. Вернее, прав Тит Волтумий, старший центурион, — полководец должен разделять тяготы со своими воинами.

Это правильно. Это — по-римски.

Ветер дует справа, тербит волосы у меня на лбу. Скоро я буду в легионе. Уже через пару часов.

Уздечка украшена металлическими бляхами. Я держу повод, плавно покачиваюсь в седле. Тут главное, поймать ритм движений бедрами — вперед-назад, в такт с бегом лошадиным копыт — движение характерное, можно кое с чем перепутать. Да.

Вслед за мной скажут десяток всадников — галлов из охраны пропретора. Услышав, что я хочу выехать в легион, Квинтилий Вар настоял на охране.

Я не самый плохой всадник. Вернее, для римлянина я вообще считаюсь хорошим наездником. Упражнения на Марсовом поле, выездка и прочее. А вот брату с конями не везло. Однажды своевольный конь сбросил его во время учебной выездки — и Луций

повредил правое колено. И с тех пор прихрамывал. Ему тогда было лет двенадцать.

Я вспоминаю, что Тит Волтумий рассказывал про Луция. Про то, как брат ходил в пешие походы вместе с воинами. Интересно, чего ему это стоило?

Вперед на дороге лужа. В ней отражается серо-голубое небо Германии, бег облаков. Под свежим ветерком гнется вереск вокруг дороги.

Вперед-назад. Бедами. Ну и чем мы занимаемся, если глядеть со стороны?

Я тяну повод. Мой конь с легкостью перемахивает через лужу — на миг распластавшись в воздухе, становится длинным, как змея легионеров Сципиона Африканского.

Приземление. Удар копыт. И снова бег.

Дорога тянется через лес, взбирающийся по пологим склонам. Сосны и сырой мох, коричневые стволы подступают к самой дороге. Неровные.

Мы едем шагом. Я слышу стук копыт за спиной — словно эхо шагов моего коня.

Когда мы выезжаем из леса, в долине у полотна реки раскинулись три ровных прямоугольника — лагеря Семнадцатого, Восемнадцатого и Деятнадцатого легионов. Гордость Рима. Отличные солдаты, как я слышал — и как писал брат в письмах. Но кроме трех ровных прямоугольников (я вижу, как там везде двигаются крошечные фигурки — утренняя жизнь) я вижу чудовищную кишку, которой обросли легионы за несколько месяцев здесь, в летних лагерях.

Это кастренсис — город, возникающий вокруг любого постоянного расположения легиона. Строения и палатки стоят без всякого порядка, соединяя, как кровеносный сосуд, лагерь в единое целое.

Что лучше объединяет воинов, чем шлюхи?

На самом деле, конечно, не все так просто. Легионеры не имеют права жениться, закон не позволяет этого. Поэтому почти у каждого в этом городке, приросшем, как уродливый гриб к стройному стволу бука, к идеально ровным прямоугольникам лагерей, у каждого солдата и даже нестроевого легионера, а зачастую — и у раба есть в этой кишке временная жена. И временные дети.

Когда солдат отслужит свои двадцать лет, он получит землю или выходное пособие и официально женится на своей подруге. Или — что тоже бывает — уедет в Италию к старой жене. Это если солдат успел жениться до вербовки в легион.

Забавно. Когда легион выступает в поход, за ним движется гигантский хвост с женщинами, детьми и шлюхами. То есть женщин хватает.

А философы до сих пор шутят о целых стадах овец, которых гонят за легионами с одной-единственной целью... м-да. Философы все-таки оторванные от реальности люди.

Я бы не удивился, если бы какой-нибудь философ, завербуйся вдруг в легион, первым делом бы потребовал бы положенную ему козу.

Ученые люди зачастую такие идиоты.

Дорога спускается с холма, огибает другой. Нам все чаще попадают на пути грузовые повозки. Самое интересное, что все легионеры, что едут с повозками, — вооружены. И даже легионные рабы, отправляющиеся за дровами, едут в лес не иначе, как в сопровождении охраны.

Неуютная провинция Германия. Даже здесь, где легионы обжились, как в родной Италии...

Неуютная.

Мы выезжаем на дорогу, ведущую к главным воротам лагеря. Традиционно они обращены на юг. Все наши лагеря одинаковы — вплоть до смешного. Хотя в этом наша сильная черта.

Мы, римляне, умеем находить и присваивать лучшее. Воры в некотором роде.

Ганнибал, напугавший наших предков во время Пунических войн, сделал то, чего сам не ожидал, — он научил их воевать. Война с Карфагеном научила наших предков строить флот и сражаться на море, правильно использовать конницу и убивать слонов. А главное — Ганнибал приучил нас не сдаваться.

Мы теряем в сражении под Каннами шестьдесят тысяч солдат. Мы не сдаемся. Мы набираем новое войско. Заново вооружаем и обучаем его. И снова идем в бой. Ганнибал снова разбивает нас — и снова встречается со свежим войском. Рим тогда почти обезлюдел. Все ушли на фронт.

Вот что главное. Вот почему мы непобедимы.

Если ты видел Рим во время побед — ты не знаешь Рима. Рим нужно увидеть во время поражения. Тогда можно понять, почему мы непобедимы.

За следующим поворотом я вижу тренировку легионеров на лугу рядом с лагерем. Место вытоптано так, что там почти не осталось травы. Копыта мягко стучат. Когда мы подъезжаем к главным воротам лагеря, нам навстречу выходит тессерарий — начальник караула. Кто сегодня дежурный? По чину тессерарий младше центуриона, но когда-нибудь рассчитывает им стать. Но для начала ему придется дорасти до сигнифера когорты, то есть до ее знаменосца и казначея. Все солдатские сбережения хранятся у него, в том числе и похоронная касса.

Тессерарий смуглый, невысокий, с кривыми ногами.

Я тяну повод, останавливаю коня. Он фыркает, переступает. Всадники позади меня чему-то смеются.

— Стой, кто идет! — кричит часовой. Словно мы находимся за милю от него.

Тессерарий видит мой панцирь, мою охрану. И все равно говорит:

— Пароль?

Я киваю: хорошо. Чужим в лагере не место.

— Понятия не имею. Я — Гай Деметрий Целест, ваш новый легат.

Тессерарий не исполняется добрыми чувствами, как вроде бы должен.

— Правда? — Тон его довольно равнодушен.

Конь подо мной тянет повод, идет боком. Капризный. Я дергаю повод. Стоять!

— Вот приказ Божественного Августа.

Я достаю из сумки тубу, снимаю крышку. Вытряхиваю скатанный в трубку пергамент. Резкий запах выделанной кожи.

— Вот приказ, им подписанный.

Тессерарий смотрит на меня, словно это какая-то шутка. Кивает солдату, тот идет ко мне, берет пергамент и несет офицеру.

Сегодня что, никто никуда не торопится?!

Тессерарий разворачивает приказ, читает. Несмотря на желание выглядеть бесстрастным и сдержанным, он удивлен. Он поднимает голову:

— Деметрий Целест? Вы...

— Ваш бывший легат — мой старший брат. Теперь я командую этим легионом.

— Мы вас ждали, легат, — говорит тессерарий.

Мне удастся не поперхнуться от удивления. Ждали... тоже мне, ждали.

Караульный офицер кивает солдату. Нас пропускают.

Я пятками толкаю Красавчика, еду шагом. Чувствую на себе любопытные взгляды. Тессерарий подходит ко мне, протягивает пергамент. Я беру его и передаю рабу вместе с кожаной тубой, чтобы спрятал.

— Рады вас видеть, легат. Слава Августу! — Он четко бьет ладонью в сердце, выбрасывает правую руку вперед и вправо. Воинский салют — таким приветствуют императоров и полководцев. Тот же жест повторяют — с некоторым опозданием — караульные и солдаты вокруг, что случайно оказались рядом с воротами. Я слышу, как шепоток бежит по рядам: «Легат... новый легат... брат...»

— Как твое имя? — говорю я.

— Коммод Артикулей, — говорит тессерарий. В его взгляде спокойное презрение военного к гражданскому.

На военном языке гражданский звучит как «паганец». Довольно обидно.

— Хорошо, Коммодий, — говорю я. — Продолжайте нести службу.

Мы едем по главной улице лагеря. Справа и слева возвышаются серые палатки, их ровные ряды уходят вдаль. Легион — это отдельный город. Около шести тысяч человек — на самом деле больше, потому что обычно не учитывают число нестроевых свободных, приписанных к легиону, и число легионных рабов. Это целый город. Он окружен со всех сторон рвом и частоколом, защищен башенками и метательными машинами.

У некоторых палаток сушится на рогатках белье.

У одной из палаток солдат в тунике поджаривает на костре хлеб, нанизанный на ветку. Я чувствую вкусный запах поджаренного хлеба, в желудке громко урчит. Ну, успеется.

Солдат поднимает голову и провожает нас взглядом. Ему за тридцать, это явно опытный солдат, к тому же «иммунный», то есть освобожденный от работ по лагерю. Он заслужил это выслугой лет. Или, возможно, он просто заплатил центуриону за такое освобождение.

Коррупция — беда не только Рима, но и его легионов. Увы.

Мы выезжаем на санктум преториум, главную площадь лагеря. Здесь храмы для солдат, алтарь Божественного Августа, знамена и золотой орел легиона — ему приносят жертву, это Гений легиона. Охрана вытягивается по струнке, когда мы подъезжаем. Огромная палатка — принципия, там живут офицеры, — напротив знамен, через площадь.

Площадь достаточно большая, чтобы вместить весь легион на утреннем построении, приношении Гению легиона и лагеря, а также при гадании. Я чувствую в воздухе нотки птичьего дерьма — и слышу квохтанье. Где-то рядом находятся птицегадатели со своими курами. Ага, вон они.

Я останавливаю Красавчика, спрыгиваю с седла. Ноги гудят. Мышцы занемели, задница квадратная и ничего не чувствует, кроме того, что ей не хочется обратно в седло. Я бросаю повод рабу и подхожу к знаменам.

Золотые значки и алые вексиллы. Надписи золотом по алому. Ткань колыхается на ветру. Огненно-золотой, начищенный легионный орел над моей головой. Изображение императора — имаго, на котором Август молодой и красивый, — сияет понимающим блеском. Охраняющие его легионеры косятся на меня, но стоят неподвижно.

Я издалека делаю жест почитания. Гению легиона — мои приветствия! Принимай гостя.

Золотой орел молча реет в голубом небе — над лагерем, над серыми палатками, над стиранным бельем, над кострами с жарящимся хлебом... Мощь Рима, величие власти.

Я поворачиваюсь на пятках и иду, преодолевая сопротивление занемевших мышц, к палатке принципии. Два караульных легионера смотрят на меня, но послушно вытягиваются по струнке, когда раб показывает им приказ Августа.

Я откидываю полог и делаю шаг внутрь...

Темнота. Стою, щурюсь. После яркого солнца за порогом здесь почти ничего не видно. Плотная ткань пропускает не так много света, поэтому некоторое время я вижу только отпечатки солнечных бликов, прыгающие на темном фоне. Жмурюсь, открываю глаза. Так лучше.

Отпечатки еще не исчезли, но теперь я вижу коренастого человека в телесном кожаном панцире, стоящего ко мне спиной у стола. Клапан палатки хлопает за моей спиной. Человек поворачивается, видит меня.

— Какого?.. — говорит он. Вздергивает голову, я вижу выбритый подбородок, тяжелый, неуступчивый.

Я поднимаю руку.

— Приветствую тебя, воин.

Излом его бровей становится хмурым и недовольным.

— Кто ты, Тифону в задницу железный гвоздь, такой? — говорит он.

Ну, можно было и повежливей, конечно.

— Гай Деметрий Целест, — улыбаюсь я. — Возможно, вы обо мне слышали?

Пауза. Изменения в его лице напоминают разрушение многоэтажного здания, подточенного дряхлостью и сыростью.

— Новый легат?

— Совершенно верно.

— Префект лагеря Спурий Эггин, — представляется человек.

Эггин? Что ж. Это многое объясняет...

Я о нем уже слышал — от Тита Волтумия, старшего центуриона. Человек, который назначает одного из старших офицеров легиона руководить командой, распинающей варваров. Это означает неприятную тяжелую и малопочтенную работу, с которой справится и младший опцион десятой когорты. Что произошло между этими двумя, интересно?

Спурий Эггин — невысокий, крепкий. Лет пятидесяти, но очень крепкий. Короткая красная шея. Круглая голова. Нос круглый, пористый. Глаза маленькие, словно вдавленные в круглое лицо. По шее идет белый след старого шрама.

Еще бы. Префектом лагеря может стать только бывший примипил — первый центурион, выслужившийся из самых низов. Как я слышал, Эггин получил свой первый чин центуриона — младшего центуриона десятой когорты — на общей сходке, единогласным решением воинов. Такое редко, но бывает. Значит, Эггин начал служить еще до того, как Август сделал назначение центурионов своим личным правом.

На Эггине короткий кожаный панцирь, в руках — калам для письма. Я вижу короткие пальцы префекта, испачканные чернилами. Он смотрит на меня без всякого подобострастия. Он мне нравится... и не нравится одновременно.

— Что привело вас сюда, легат? — спрашивает Эггин.

Скорее не нравится, решаю я.

— Хороший вопрос, префект лагеря Эггин. Это ведь Семнадцатый легион, я правильно понимаю?

Эггин дергает уголком рта. Но лицо его спокойно. Равнодушно-холодный взгляд.

— Верно.

Я киваю и прохожу в палатку, поближе к жаровне. Протягиваю руку над горящими углями, чувствую ладонью поднимающееся от них тепло. Жар. Эггин за моей спиной ждет. Это напоминает камень, стоящий за твоей спиной.

— Прекрасно, — говорю наконец. Поворачиваюсь к префекту. — Значит, я не ошибся.

Эггин на мгновение вздергивает брови. Они почти белесые, что странно — при его темной шевелюре.

— Легат?

— Хорошая сегодня погода, верно, префект?

Эггин пожимает плечами. В этом движении я чувствую некий оттенок раздражения.

— Для Германии, — уточняю я. — Хорошая для Германии.

Он щурится. Но он хороший солдат, поэтому он ждет, когда этот легат — то есть я — выскажется.

— Солдаты уже завтракали, насколько понимаю? — спрашиваю я внезапно.

Эггин моргает. Но быстро берет себя в руки.

— Да, легат.

— Очень хорошо. — Я поворачиваюсь к жаровне и вытягиваю ладони над тлеющими углями. Хорошо. Усталые пальцы расслабляются.

— Легат?

— Знаете что. Я бы хотел видеть всех трибунов здесь. Через... — Я задумываюсь. — Скажем, через полчаса. Префекта конницы тоже.

Если Эггин и удивлен и раздосадован, он старается ничем не выдать своих чувств.

— Но...

— Постарайтесь, я вас очень прошу, Спурий Эггин.

Он вытягивается. Старый солдат, да.

— Понял.

Думаю, трибуны сейчас находятся не в лагере, поэтому Эггину придется приложить некоторые усилия, чтобы найти и известить их. Смешно.

— Разрешите, я отдам распоряжения?

— Конечно, конечно.

Он идет к выходу из палатки.

— Префект, — окликаю я его.

Эггин останавливается. Широкая спина словно излучает раздражение. Он поворачивается ко мне — лицо каменное.

— Легат?

— Вы не против, если я воспользуюсь вашим гостеприимством... хм-м... в ваше отсутствие?

Пауза. Мне кажется, сейчас он все-таки пошлет меня куда подальше.

— Это теперь ваш легион, — говорит он и выходит.

Полог палатки дергается на ходу и опускается. Я остаюсь один. Через некоторое время за стенами палатки раздается резкий голос Эггина, отдающий приказы.

Я подхожу к столу, беру медный кувшин с жаровни и наливаю себе горячего вина с медом. Взлетает пар. Я тяну ноздрями запах корицы, и меда, и вина. Подношу чашу к губам... Ну, все. Начинаем обживать.

Когда мне было четырнадцать, брат на правах главы семьи отправил меня учиться в Грецию, к знаменитому Парасагору. Римлянин из хорошей семьи просто обязан иметь прекрасное образование.

Я взял с собой Тарквиния — тогда он еще не был таким ворчун и развалиной, он был вполне бодр. И я слушал лекции под сенью акаций и кипарисов, под темно-зелеными листьями платанов ходил из портика в портик по тропинкам вслед за учителем, который рассказывал нам — несколькими «эфебам», как называются юноши такого возраста у греков, — о философии, устройстве мира, литературе и поэзии, созвездиях и стратегии, ораторском мастерстве и трагедиях Эсхила.

Я до сих пор с ностальгией и теплым чувством вспоминаю то время. Усыпанные сухими иголками красные тропинки... Лазурное море. Глубокая, ненормально яркая синева. Я никогда не думал, что море может быть такого цвета. Средиземное море более бледное, серое — в отличие от Эгейского.

Синий — цвет смерти, думаю я. Оратор Атраксий преподавал мне несколько важных секретов ораторского мастерства. Говори грудью, а не горлом. Говори голосом, а не руками. Говори мыслью, ярко, с живым чувством и подчеркивай жестом. Жест никогда не должен быть полным, он только намекает на движение — остальное дорисует воображение слушателя, увлеченного твоей речью. Речь готовь заранее. Она должна содержать три акта, как в трагедии... или поэме. У нее должны быть вступление, завязка, развитие, катарсис и развязка. Все, как писал великий Аристотель.

Сейчас я оглядываю трибунов, собравшихся в палатке принципия. Вижу тех, кто приезжал ко мне в дом Вара.

Сейчас они были вне лагеря, поэтому собрались не сразу. Думаю, Эггину пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать их так быстро.

— Когда я был ребенком, — начинаю я. Трибуны поднимают брови, переглядываются недоуменно, — мне говорили, что в мире существует несколько незыблемых правил. Не прекословь воле

отца, будь послушен воле римских богов... Никогда не води переговоры с врагом, который тебя сильнее. Не пей пива, германцем станешь. И все такое.

Трибуны смеются. Даже сам Прозоний Север вскидывает голову. Похоже, я все-таки привлек его внимание.

— А теперь серьезно. Я не собирался командовать Семнадцатым легионом. Я мирный человек... «тога».

Прозоний Север усмехается. Префект лагеря Эггин сидит в глубине палатки, в полутьме, поэтому я не вижу его лица. Свечи на столе бросают отсветы на их лица — на лица моих офицеров.

— Да, я мирный человек. Как каждый гражданин Рима. В старое суровое время наши деды пахали землю, выращивали скот, пекли хлеб, варили кашу... Они были мирные люди, конечно. Но когда приходил враг, когда приходили тысячи и тысячи врагов — тевтоны, кимвры, пуны, прочие варвары, — наши деды надевали кольчуги, брали в руки мечи и укладывали варварские толпы в землю. Одну за другой. А потом отмывали кровь с натруженных рук, снимали кольчуги и шли обратно — пахать, сеять, выращивать урожай и печь хлеб.

Я не собирался становиться вашим командиром. Потому что был тот, кому эта ноша по плечу, — мой брат Луций. Мой умный старший брат. Но он мертв.

Но волей того, кто выше нас, — сената и народа Рима... И Божественного Августа, конечно! Я здесь, чтобы подхватить груз, что нес на своих плечах мой старший брат...

Они слушают. Прозоний Север кивает — скорее из вежливости, чем потрясенный моим ораторским мастерством.

— И надеюсь на вашу помощь. Спасибо, что уделили мне ваше драгоценное время.

Я оглядываю присутствующих, кто-то даже выглядит смущенным.

— Воины, — говорю я. — Благодарю, что откликнулись на мой зов! Не смею больше задерживать вас...

Спору на талант серебром, сегодня ночью они будут ночевать в лагере — как и положено офицерам. Если нет, то завтра мы повторим утренний сбор.

Трибуны кивают, бормочут, что, мол, очень приятно, и выходят один за другим. Хлопает клапан. Мальчишка-трибун покидает палатку одним из последних, теперь он смотрит на меня другими глазами. Смешно. Теперь я для него — легат. Префект лагеря Эггин резко кивает мне и выходит. Гордый римлянин. Такого кувалдой не прошибешь. Последним идет префект конницы...

Перед выходом из палатки Метеллий останавливается, поворачивается ко мне. Я жду.

— Вы действительно хотите найти убийцу Луция? — спрашивает он наконец.

— У меня не так уж много братьев, трибун. И я очень не люблю их терять.

Он смотрит на меня. Я вижу в его глазах невольное уважение.

— Я слышал от солдат, что вы убили нескольких германцев, напавших на вас по дороге сюда.

Солдатская молва лучше любой почты. Слухи летят быстрее курьеров. Что там! Быстрее почтовых голубей...

— Всего двоих, — говорю я.

Рыжий сполох. Багровая кровь, льющаяся из разреза над ключицей...

Смешно.

Метеллий явно впечатлен. Он молодой и порывистый, этот наш «шестимесячный» трибун конницы.

— Так это правда. Э... как вам это удалось?

— Мне повезло, — говорю я. — Видимо, эти варвары тоже посчитали меня «тогой».

Он сначала смущается, затем смеется.

— Это верно. Скажите, легат, — он поднимает взгляд и смотрит мне в лицо, — вам никогда не говорили, что вы похожи на вашего брата?

Если учесть, что Луций — вылитый отец, а я лицом пошел в мать, пухлощекую римлянку из рода Корнелиев, то нет.

— Не говорили.

Метеллий замечает:

— Вы очень похожи на Луция.

Что тут скажешь? Я вежливо киваю. Ну, хорошо, что на Луция. А не на какого-нибудь греческого купца. Был с Августом смешной

анекдот... очень похожий на правду. Как-то встретил он на форуме одного грека...

— Спасибо, префект, — усмехаюсь я.

— Рад, что мы познакомились, — говорит Метеллий.

Я протягиваю руку, и мыжимаем друг другу запястья. Его пожатие твердое, рука сильная, с бронзовым браслетом за храбрость — прохлада металла.

— Взаимно, — говорю я.

Метеллий кивает и уходит, слегка растерянный. Я вижу, как хлопывается клапан палатки, возвращаюсь к столу. Долго смотрю на язычок пламени. Надо загадать — если не погаснет, все будет хорошо. Если погаснет...

Потом резко провожу ладонью над свечой. Язычок свечи дергается, пламя рвется... гаснет на мгновение (у меня замирает в животе)... снова разгорается. Треск горячей свечи. Запах паленого воска.

— Вот я и легат, — говорю я. Луций, Луций. Что бы ты мне сказал сейчас? — Слышишь, брат?

Мой мертвый старший брат. Мой умный старший брат.

Пламя свечи вдруг рвется под порывом ветра. Проклятье! Я едва успеваю подхватить опрокидывающуюся чашу с вином...

Все это — ерунда, думаю я упрямо, глядя на горящую точку на конце фитилька. Она медленно тускнеет. Все будет хорошо. Я сжимаю в пальцах серебряную чашу и думаю: все будет...

Фитилек гаснет. В палатке — темнота. Я только слышу, как ветер рвет натянутую парусину палаток.

Все будет хорошо, даже если все против меня.

* * *

Я не знаю, что происходит в душе префекта лагеря Эггина. До моего здесь появления он был фактически командиром легиона, верховным жрецом Гения легиона, судьей и повелителем шести тысяч «мулов». Сейчас он смотрит из полумрака палатки на меня, и глаза его слегка поблескивают.

— Прогуляемся, префект? — говорю я.

Эггин смотрит на меня, явно ожидая подвоха.

— Легат? — говорит он своим глухим, плебейским насквозь голосом. Ему не ставили дикцию, не ставили правильного ораторского дыхания, никто не занимался исправлением вульгарного акцента...

Но уверен, что, когда необходимо, префект орет так, что легко перекрывает вопли атакующей центурии. «Бар-ра-а-а!»

«Интересно, — думаю я, — берет ли префект лагеря подарки от легионеров?» Меня передергивает. Я слышал, в некоторых легионах это в порядке вещей. Узаконенная взятка.

«Твоего брата подозревали в том, что он брал взятки у варваров». Август.

Я сжимаю зубы и встаю.

— Я хочу осмотреть лагерь, префект. Если, конечно, вы не против?

Эггин думает пару мгновений и кивает. Значит, в своем лагере он уверен — уже хорошо.

— Прошу за мной, — говорит он глухо, с отчетливым варварским акцентом. Интересно, сколько лет префект не был в Италии? Лет двадцать?

Клапан палатки распахивается, мы выходим во всепоглощающий дневной свет, словно тонем в нем. Проклятье. Я моргаю, щурюсь, на глазах выступают слезы. Солнце.

Часовые вытягиваются по струнке, салютуют нам. Эггин кивает. Я киваю.

Идем.

* * *

Ряды палаток — как серые ромбы. Символ упорядоченности. Лагерь, легион, люди — все пронизано идеей порядка насквозь, нанизано на эту идею, как на железную спицу.

При нашем с Эггином появлении солдаты встают по стойке «смирно».

«Легат... легат... легат...» — звучит, бьется, наплывает звуковая волна над лагерем. К моменту, когда мы доходим по главной улице лагеря (виа претория) до главных ворот, о нашей «прогулке» уже знает весь легион.

Я киваю знакомому тессерарию (кривые ноги) и легко избегаю на дорожку, она идет по валу вдоль частокола по всему периметру лагеря. За время, что легион провел здесь, в летнем лагере, — а это пара месяцев как минимум, — в придачу к обычному частоколу легионеры выстроили сторожевые башенки. На них замерли часовые.

Эггин следует за мной.

Дорожка вдоль частокола вытоптана сотнями ног. Она твердая и удобно ложится под мои мягкие сапоги.

Эггин топает своими подкованными гвоздями калигами. Молодец префект. Не забывает, что сам когда-то был простым «мулом». А для «мула» главное — это ноги.

Мы идем по валу. Во рву по другую сторону частокола масляно блестит застоявшаяся вода. Ее немного.

Вал и частокол лагеря — священное место, как и главная площадь. За попытку пересечь вал легионера будут сечь кнутом, а в военное время — приговорят к смерти. Впрочем, самоволки, думаю, в легионе — обычное дело. Особенно когда рядом — такое.

Я иду. Потом останавливаюсь и смотрю. На расстоянии примерно сотни шагов от вала тянется импровизированный городок. Строения разного качества из местного леса, палатки и шатры. Там кипит жизнь. Чумазы детишки разного возраста гроздьями облепили дома, из открытых окон выкрашенного красным дома — лупанарий? — смотрит на меня раздетая девица. Рыжая, как вспышка от удара по голове. Бесстыдная. И красивая, несмотря на боевую раскраску. Золотые браслеты на запястьях.

Увидев нас с Эггином, девица насмешливо улыбается и посылает мне воздушный поцелуй. Жрица любви, ага. Я хмыкаю.

Да, лагеря легионов одинаковые по всем провинциям. Так и городки, которыми они обрастают, тоже не особо различаются.

Я вспоминаю, как мы с иудейским царевичем Иродом Антипой навещали публичный дом в Мавритании. Было весело. Боги, действительно было весело. Вот было же время...

Я машу «волчице» рукой. Эггин неодобрительно переступает за моей спиной — тяжелый и неудобный, как круглый камень. Лицо мраморное.

Эггин смотрит на рыжую «волчицу» в окне, и взгляд его тяжелый, как гроза. У меня ощущение, словно что-то произошло, а я не понял.

Рыжая посылает поцелуй — насмешливый, бесстыдный — префекту лагеря, но Эггин становится только мрачнее. Лицо почти черное, дурная кровь. Он что, знаком с ней?

— Кто это? — говорю я. — Ты ее знаешь?

— Какая-то шлюха, — бурчит он и отворачивается.

У нее полные темные губы.

— Красивая, — говорю я.

Префект дергается, словно от удара. Да, Гай, умеешь ты заводить друзей, думаю я. Я даже спиной чувствую, как он меня ненавидит. Из-за шлюхи? Смешно.

Идем дальше. Рыжая «волчица» остается в окне позади.

* * *

Через открытое окно врывается ветер, обдувает мокрое от пота лицо. Она стоит в проеме окна и глядит туда, куда ушли эти двое.

— Вернись в постель, — просит центурион.

Тит тянет руку, заросшую темным волосом, в шрамах. Когда ты дерешься в строю, твою правую руку постоянно задевают. Шрам на шраме, плюнуть некуда.

От этого рука кажется бугристой и неровной. Грубой. Особенно рядом с ее гладкой кожей.

— Или прикройся, что ли, — добавляет он, понимая, что говорит лишнее.

— Ты ревнуешь?

Тит поднимает брови. Хороший вопрос. Если она про префекта-мать-Эггина, то да — он уже не ревнует. Хотя холодок в брюхе все еще остался.

— Немного.

— Кто это? — спрашивает она.

Стоит перед ним, и кажется, что воздух вокруг нее плавится. «Рыжая, — думает он. — Красивая. Рыжие — они все красивые». Тит дергает щекой, поднимает голову, разминает шею медленными

движениями — щелк, щелк. Позвонки встают на место. А вот сердце — не совсем.

— Тот, кому ты посылала поцелуи? — спрашивает центурион. Что ты со мной делаешь, рыжая? — Не надейся, не твоего полета птица.

— Посмотрим.

Скулы каменеют. Кажется, все лицо сводит. Тит Волтумий, старший центурион, дергает щекой, откидывается к стене. Он обнажен, сидит, закрывшись одеялом по пояс. Голые ноги стоят на холодном полу. Постель под одеялом все еще хранит тепло ее тела. Когда-то она дарила это тепло и Эггину. Тит сжимает кулаки.

— Симпатичный, — говорит она, словно не замечая его гнева. — Кто это?

Молчание. Проклятое Тифоном молчание. Надо отвечать.

— Новый легат, — говорит Тит нехотя. «Мне сорок три года, — думает он. — А мной вертит какая-то... какая-то шлюха... стоп».

Рыжая поворачивается. Губы манят. Глаза подведены темной краской, размазавшейся от пота и поцелуев. Так она еще красивей.

— А ты не должен его поприветствовать?

— Я все еще в Ализоне, если помнишь, — говорит Тит. — И буду там до завтра. У меня раненые.

— Ты оставил раненых ради «волчицы»?

Она насмешливо улыбается. Боги, за что? Центурион ненавидит в этот момент ее губы и готов за них убить любого. Рыжая. Моя, моя.

Раненых... Его окатывает стыдом, горячим, как смола. Лицо пылает. Уши пылают.

— Да, — говорит старший центурион. — Да.

Он откидывает одеяло — резко. Встает. Где она? Находит свою одежду, начинает одеваться. Чувствует спиной, что она смотрит на него.

— Что ты делаешь? — говорит она, когда он затягивает поверх туники ремень с кинжалом. Рукоять больно бьет по его бедру.

Проклятье! Вспышка ярости на мгновение его ослепляет. «Да что со мной?!» — думает он. Комната вокруг сжимается и разжимается, словно желудок огромного животного. «И мы внутри».

— Ты напомнила мне о моем долге, — говорит Тит. — Отлично. Я говорю: спасибо. Мне нужно идти.

Рыжая подходит — медленно, как убийственная кошка. «Если она сейчас вырвет мне сердце из груди, я буду только рад, — думает центурион. — К Ахерону все. Мне нужны мои «мулы». Там я на своем месте. Там, а не здесь».

Комната лупанария довольно большая. У рыжей свои привилегии. Она вдруг оказывается рядом с ним, с медленной тягучей лентой в движениях бедер — большая опасная кошка, — от ее близости у центуриона бежит озноб по спине. Затылок сводит.

Он застывает. Она проводит ладонями по его коротко стриженной макушке. Медленно, играючи. От бешеного приступа наслаждения Тит выгибает шею. «Я огромный и угловатый. Грубый. Что она во мне нашла? Зачем я ей нужен?»

Рыжая пригибается всем телом, поднимается на цыпочки — чтобы почти коснуться губами его правого уха и выдохнуть:

— Останься.

Мир взрывается. Огненно-красное. Темное. Блеск.

Тит мгновенно оборачивается — так быстро, что она не успевает среагировать. Миг — и он уже держит ее в объятиях, стискивает, под ладонью гладкая бархатистая кожа. Кажется, что грубая жесткая ладонь Тита тонет в этой мягкости и соблазне. У него сводит скулы, мышцы шеи сводит так, что болит все тело.

— Мой, — говорит рыжая тягуче и гортанно. Глаза ее темные и глубокие, как мрак подземного мира. Победно мерцают. — Мой. За окном раздается тоскливый медный звук войсковой трубы.

ГЛАВА 10

СЕМНАДЦАТЫЙ

В атриуме моей палатки — в том месте, где в обычном доме находится бассейн для дождевой воды, — возвышается небольшой стол из черного дерева. На нем полчаса назад был мой завтрак. А сейчас там стоит бронзовая ванночка для масла, рядом лежат на чистом полотне сверкающие бритвы, кусачки для ногтей, бронзовые ножницы и щипцы для завивки волос. Выглядит зловеще.

Я слышу бряканье металла. Толстый сицилиец, глава легионных цирюльников, любовно протирает инструменты. Словно собрался как минимум меня вскрывать. Для бальзамирования, ага.

Раб приносит и ставит на стол большую чашу с горячей водой. Над ней поднимается пар. Изгибается, плывет... Прохладно здесь с утра, в вашей Германии.

Я потираю ладонью подбородок и шею. Колется. Зарос легат. Горячая вода нужна, чтобы распарить кожу, — цирюльник опускает туда полотенца, которые приложит затем к моему лицу. А масло... Масло необходимо, чтобы на моем лице осталось немного кожи — после того, как по нему пройдет лезвие бритвы.

Масло. Иначе лезвие не скользит.

— Доброе утро, префект, — говорю я. — Как спалось?

Эггин оглядывается, словно никогда здесь не был.

— Легат, — резко кивает он.

— Располагайтесь, префект. Нам нужно поговорить.

Цирюльник достает полотенце из чаши с горячей водой, отжимает его — руки у него становятся красные, словно обваренные, — и прикладывает к моей щеке. Ох! Горячо.

Пока цирюльник отжимает другое полотенце, я смотрю на Эггина. Щека нагревается.

— У нас с вами возникли... некоторые разногласия, префект, — говорю я.

Эггин глядит исподлобья.

— Разве? — говорит он желчно. — Я не заметил.

Даже так? Как с вами трудно. Цирюльник собирается приложить следующий компресс, тянет руку... Я отстраняю. Цирюльник смотрит удивленно. Я снимаю прежнее, уже почти остывшее полотенце и встаю.

— Позже, — говорю я и вручаю мокрый ком цирюльнику.

Тот вздергивает брови, кланяется и выходит из палатки.

Эггин с интересом смотрит на происходящее, но ничего не говорит. Когда клапан палатки закрывается, я поворачиваюсь к префекту.

— А теперь прямо. С кем должен был встретиться Луций? Там, в лесу?

Эггин пожимает плечами. Мне откуда знать, мол. Хорошо, зайдем с другой стороны.

— Но что-то вы знаете?

Префект опять пожимает плечами:

— Я не интересовался делами легата. Это его дело, чем он занимался и что делал в том лесу. Но мне жаль, что он погиб — так глупо. И еще сильнее жаль, что он угробил вместе с собой девятнадцать отличных солдат.

Что там сказала Туснельда? «Твой брат — великий человек. Все германцы так думать». Так вот, «римляне так не думать». Я говорю:

— Вам не нравился Луций, префект. Я это вижу. Почему?

Молчание.

— Префект?

— Ваш брат слишком любил варваров, — говорит Эггин наконец.

— Это не ответ на мой вопрос.

— Слишком, — повторяет префект лагеря.

И я не могу понять — то ли он издевается, то ли префекта на самом деле это задевало. Проклятье, как все сложно. Другая страна, другие люди...

В воздухе плывет пар, поднимающийся от чаши с водой. Изгибается... течет, как некий призрачный зверь.

На большие игры в Рим привозят животных — чем экзотичнее, тем лучше.

Однажды привезли белого медведя. Настоящее чудо. Говорят, такие звери водятся где-то очень далеко — на самом севере, в местах, где круглый год лежит снег. Там никогда не заходит солнце, а если заходит, то не возвращается обратно годами. И там живут эти медведи — огромные, гораздо больше наших, бурых.

Длинное вытянутое тело. Желтая свалывшаяся шерсть. И совершенно жуткая морда. Говорят, те, кто его видел, этого медведя с белой шкурой, испытали самый жуткий страх в своей жизни...

Я хмыкаю. Смешно. Видимо, там, за Ахероном, обитают только германцы и белые медведи.

Интересно, что подумал белый медведь, когда его привезли в Рим? Слишком тут жарко? Или — что это за фигня вокруг меня творится?

«Действительно, — думаю я. — Что это за фигня вокруг меня творится?»

— Мой брат... Луций. Я слышал, его называли Любителем Варваров, — говорю я. — Что это значит?

Другими словами: «Брал мой брат взятки или нет?» Я хочу знать.

Эггин некоторое время рассматривает меня так, словно это я — белый медведь, привезенный в Рим на большие игры. И, кроме своей клетки, ни хрена в Риме не видел.

— Понятия не имею, — говорит он. — Я простой солдат, где мне размышлять о высоких материях...

...Рыжая «волчица» в окне лупанария. Высокие материи, ага, ага.

— А если попробовать?

Эггин усмехается уголками губ.

— Думаете, его так прозвали за любовь к варварам? Думаете, ваш брат понимал и ценил гемов? Тифону в задницу железный гвоздь! Конечно нет. Любил ли он варваров? Ага. — Префект ухмыляется. — Кого-то из них и любил, да.

— Что вы имеете в виду, префект?

— Как вы все-таки молоды, легат, — говорит Эггин. — Хотя, возможно, это чересчур сложно для гражданского...

Меня только что обозвали «мальчишкой» и «дураком». Забавное утро, ничего не скажешь.

— Мы отклонились от темы, — говорю я.

— Как бы вам объяснить, легат... Ваш брат Луций любил не самих варваров...

— А кого?

Пауза. И тут я понимаю: кого. Но все равно позволяю Эггину ударить первым. Он прав: я мальчишка и дурак. И еще — белый медведь, впервые оказавшийся в Риме. Как я раньше не догадался...

— А их женщин, — говорит Эггин. — А в последнее время — одну женщину. Та девчонка... как ее? Туснельда.

Туснельда, думаю я. Во мне нет ни злости, ни особого удивления — Луций и германка, почему бы и нет? Мой брат — необыкновенный человек, Туснельда — прекрасна. Будь все проклято, думаю я. Тифон стоглавый... чтоб тебя...

Я молчу.

Над головой Эггина медленно изгибается дым от курильниц. Я чувствую запах горящих благовоний. Мирра и сандал. Ладан и дохлые комары.

Ты смотри. Отомстил мне префект за рыжую «волчицу» в том окне. Отыгрался.

— Спасибо, префект, за откровенность. Еще вопрос: у моего брата здесь были враги?

...Когда префект уходит, я некоторое время сижу без движения, глядя перед собой. Думаю.

Луций и Туснельда. Мой серьезный старший брат и — юная германка. Интересное сочетание. Мне трудно представить их вместе. Возможно, потому... Я сжимаю зубы, качаю головой. Надо же, не ожидал от себя.

Возможно, потому, что совсем не хочу этого представлять.

* * *

Пасмурно. Серые ряды палаток. Утренняя суeta. Легион готовится к торжественному построению.

Я иду, завернувшись в плащ и ежась от сырости. Мне нужно прогуляться — слишком много мыслей. Ветер в лицо обычно помогает.

Очередь выстроилась к цирюльнику. «Мулы» перетаптываются, болтают, смеются. Перед цирюльником на складном стуле сидит здоровенный «мул» с выбритой налысо головой, в темной тунике. Лицо резкое и недовольное. Вокруг шеи солдата обернуто покрывало — некогда белое, сейчас в желтовато-зеленых пятнах оливкового масла.

Цирюльник берет бритву, бесцеремонно хватая солдата за лоб, наклоняет ему голову — и ведет лезвием по щеке. С неким оттенком страсти. Словно хочет зарезать, но пока только примеривается...

Солдаты, стоящие в очереди, переступают с ноги на ногу и смеются. Самоубийцы.

Ветер треплет край покрывала.

Цирюльник быстрыми привычными движениями соскабливает щетину с солдатской щеки, вытирает лезвие о покрывало. Снова прицеливается...

Я иду. Солдаты при виде меня вытягиваются, затихают...

— Вольно, — говорю я. — Продолжайте, продолжайте.

У костра один солдат бреет другого. Сокращение расходов. Тоже верно — цирюльник стоит денег. Рядом на очаге хлюпает и шумит в медном котелке пшеничная каша. Контубернии — палатки по восемь человек — готовятся к завтраку.

Иду к главной площади лагеря.

Порыв ветра доносит до меня запах пригоревшей каши. Кто-то явно зазевался. Где-то вдалеке кричит центурион, сгоняя новобранцев на утреннюю разминку...

Я иду вдоль рядов палаток. Ветер рвет натянутую плотную ткань. Завидев меня, «мулы» вытягиваются по струнке, салютуют. Складные стулья вокруг костра, на огне булькает медный котелок.

Один из легионеров, высокий и крепкий, с коротким ежиком, при моем приближении вскакивает. Он кажется мне смутно знакомым...

— Легат! — слышу я голос. Поворачиваю голову... ага, теперь я его узнаю.

Точно. Это один из людей Тита Волтумия, тот самый громогласный хвастун и любитель похабных шуток. Как его? Секст Победитель?

— Легионер Секст, — говорю я, с удовольствием глядя на статного, подтянутого солдата. — Как твои дела, воин?

— Все отлично, господин. Спасибо!

— А Тит... — говорю я и тут вспоминаю. Конечно. Я приказал Титу Волтумию остаться в городе, чтобы он все время был у меня под рукой.

— Он в городе, легат, — отвечает Секст.

— Как раненые?

— Вашими молитвами, легат. К ним приходил медик. Спасибо вам!

Я киваю.

— Хорошо, Секст. Увидимся на плацу. — Я подмигиваю и иду.

За моей спиной затихает восторженный шепот. В отличие от младших командиров, легатам позволено легкое панибратство с воинами.

Возвращаюсь в палатку командира легиона. До торжественного построения остается полчаса...

Главный над цирюльниками успел задремать. Когда я вхожу, он вскакивает. Толстый, смешной.

— Что ж, — говорю я, сажусь на стул. — Легатом я уже стал. А теперь сделайте меня красивым легатом.

* * *

Три часа утра. Моросит мелкий противный дождик.

Ровные ряды манипул. Легион выстроен на санктум принципум — главной площади лагеря. Общее построение по когортам и центуриям — легионеры стоят молча, центурионы по краям. Ветер с треском треплет алые знамена когорт и шевелит конский волос на гребнях центурионов.

Священный орел легиона реет над головами — древко в руках аквалифера, орлоносца. Суровое лицо, шрам на левой щеке. Немигающий, застывший взгляд. Львиный оскал на его шлеме. С длинного желтого клыка мертвого льва срывается

капля и летит вниз. Когда она пролетает мимо лица, аквалифер моргает...

Бульк! Капля разбивается у его ног.

— Воины! — Мой голос разносится над площадью, над круглыми шлемами солдат, над орлом, раскинувшим крылья в пасмурно-сером небе...

Трепещут, как живые, алые вексиллы, застыли неподвижно золотые значки когорт. Имаго — лик императора Августа на золотом фоне — смотрит бесстрастно, как и положено живому богу. Ровные квадраты когорт и манипул. Неподвижные лица солдат. Тысячи глаз смотрят прямо на меня. Очень, очень торжественный момент.

— Воины! — повторяю я, поднимаю правую руку.

Я стою на возвышении — трибуне — выпрямившись. Справа и слева от меня мои офицеры и слегка отдельно — префект лагеря Эггин, зараза эдакая. Лица квадратные. Морды кирпичом. Эггин хмурится.

Жрецы-гаруспики поставили походный алтарь, выстроились рядом. Самый тощий из жрецов держит на привязи белую овцу, другой, чуть потолще, — черного петуха. Белая, как снег, овца предназначена Гению легиона, она одурманена травой с сонным настоем; петуха же просто держат за шею — никуда не денешься. В опущенной руке главного из гаруспиков — священный нож.

Слева жрецы-птицегадатели замерли у клеток с курами и тоже ожидают приказа начинать. У помощника в руке ведро с кормом.

Легионеры ждут.

В клетках для священных кур — они такие важные, словно их самих поназначали легатами направо и налево, — утренний форум. Квохтание. Куриные сенаторы обсуждают свои священно-куриные дела и плевать хотели на окружающих их гордых потомком Ромула.

Отлично. Один из лучших римских легионов ждет, что скажут гадания. Затаив дыхание, воины смотрят перед собой. Львы по храбрости и выучке, они трепещут... Судьба львов зависит от кур. Смешно.

— Воины! — говорю я в третий раз. — Мы начинаем гадание!

Поворачиваюсь и киваю жрецам: вперед. Главный дает знак помощнику, тот начинает раскидывать зерно морщинистой рукой.

Куры с удовольствием клюют корм. Не оторвать. Я почти физически чувствую облегченный вздох «мулов». Куры клюют корм, который дал им новый легат, — это хорошая примета.

Новый легат — это я. И с гаданием все чисто. Ну... почти. Если не считать того, что я заранее отправил двух рабов, приписанных к палатке претория, чтобы они набрали в лесу гусениц. Потолще и покрупнее. Мы с Метеллием нарубили их кусочками и смешали с зерном. Теперь кур от этой смеси за уши не оттащишь — даже если бы они у них были, эти уши.

Львов нужно накормить заранее и до отвала — так учил мой брат.

Главный жрец поднимает руки. Легион замер, солдаты перестали дышать. Если знамения благоприятные, все будет хорошо (и новый легат никого не съест), если плохие — лучше бы отложить любые дела на другое время.

В древности решающие сражения не раз переносились на другой день — только из-за плохого аппетита легионных кур.

Жрец чуть медлит, скашивает глаза. Я смотрю на него молча и упорно: давай, старик. Да-вай.

Жрец натывается на мой взгляд, вздрагивает. Затем произносит дребезжащим старческим голосом:

— Священные куры охотно клюют корм. Боги благословляют Семнадцатый!

Пауза. Потом легионеры начинают кричать — разом, словно воздух взрывается. Тысячи глоток открываются одновременно. По ощущениям напоминает извержение вулкана.

— А-а-а-а! — это радость.

Я оглядываю свой легион. Солдаты довольны. Приметы отличные. Что ж... Раз курицы дали добро, думаю, можно начинать смотреть...

* * *

Огромный луг на берегу Визургия служит учебным полигоном для «мулов». Марсово поле — германский вариант. Здесь проводятся строевые учения легионов.

У самого берега вкопаны деревянные столбы, к ним привязаны соломенные чучела. Это враг. На них «мулы» отрабатывают удары мечом.

Я слышу вопли центурионов, вижу, как бегут солдаты. Резкие крики. Это центурион гоняет «тиронов» — новобранцев. После трех месяцев начального обучения они станут «милитами», произнесут воинскую клятву, и их распределят по центуриям. Благословенный момент. Я видел такое в Мавритании. Во время церемонии посвящения, когда звучала клятва, бывшие тироны стояли с мокрыми глазами.

Пока же это время не пришло, они — «мясо», «зелень» и «вонючая подстилка для шелудивой собаки». Вся черная работа по легиону — это для них. Бедняги.

* * *

Начальная подготовка. Уверен, эти тироны уже пожалели, что поддались на уговоры вербовщика.

— Вы думаете, вы воины?! — орет центурион так, что брызги слюны долетают до последних рядов. — Нет, девочки! Вы — дерьмо! Запомните это! Вы подстилка для козлов! Вы — потные вонючие обмотки последнего паршивого раба!

Новобранцы стоят, боясь лишней раз моргнуть. Известная штука. Кто из тиронов первый обратит на себя внимание инструктора — тот попал. Центурион будет «любить» в лице этого новобранца весь отряд.

— Думаете, вы похожи на воинов?! — орет центурион.

Тироны стоят, вылупив глаза. Нет, они так не думают.

От крика центуриона сдвигаются с места горы и реки выходят из берегов. Кипит лава. Земля становится круглой, норовит выскочить из-под ног, убежать куда-нибудь и спрятаться.

— Если вы так думаете, у вас навоз вместо мозгов! Запомните! Вы — никто! Вы — грязь под моими ногами! Губка, которой подтерли жирную задницу и забыли в отхожем месте! Вы — говно! От вас — воняет! Жалкие твари! Я, б... ь, научу вас, б... ь, любить мой, б... ь, любимый, б... ь, Семнадцатый, б... ь, Морской легион! Я!

И все — на одном дыхании, почти без пауз. Впечатляет.

Крик такой вдохновенный, что физиономия центуриона становится багровой. От нахлынувших патриотических чувств к Семнадцатому Морскому, видимо.

— Есть тут умные? — спрашивает центурион с надеждой.

Поиск «любимцев» продолжается. И тут главное — не выделить сразу, иначе центурион назначит тебя любимцем и козлом отпущения — и будет любить в твоём лице все прибывшее пополнение. За все настоящие и вымышленные провинности.

— Ты! — жезл центуриона упирается в грудь молодому новобранцу. У него рыжие волосы и короткий веснушчатый нос. — Твое имя?

— Нерий Галька, центурион!

Бух! Голова тирона мотается, на щеке тут же наливается красным след от удара. Новобранец поднимает голову, лицо бледное.

— Что?! — орет инструктор. — Кто центурион?! Ты ни хрена не центурион, зелень, это я здесь хренов центурион! Понял, Ягнечек?!

— Цэн, так точно, цэн!

— Не слышу!

— Цэн, так точно, цэн!

Новый удар — теперь под дых. Тирон, нареченный Ягнечком, задыхается и падает на землю.

— Встать, зелень! Встать, встать! Встать!!!

Тирон кое-как поднимается. Центурион все равно недоволен. Оглядывает строй, засовывает палку из виноградной лозы под мышку. Смотрит на всех, выпятив нижнюю челюсть.

— Что вы как бабы?! Мне что, набрать пополнение в ближайшем лупанарии?!

— Цэн, так точно, цэн!

— Что-о?!

Тираны соображают, что подставились.

— Цэн, нет, цэн!!!

От слитного вопля дрожит воздух. Во взгляде каждого новобранца написано: «Сдохни, урод». Сдохни, сдохни, сдохни!

Пожалуйста.

Центурион улыбается. Теперь он наконец-то доволен.

У солдата в легионе определенный путь. Сначала он тирон, зелень легионная, новобранец, который не имеет никаких прав, зато обязанностей у него — выше головы. Тиронов дрючат так, что они, кажется, даже спят стоя. Каждый день — марш на двадцать миль с полной выкладкой, а это кольчуга, толстая туника под ней, железный шлем с подшлемной повязкой, щит-скутум, два пилума, меч и кинжал-пугио. Вдобавок к этому у каждого тирона есть рогатка — особая крестовина, ее несут на плече, на ней висит сумка с личными вещами и фляжка с водой. Плюс лопата, кирка, деревянный молот, котелок, сковорода и один из кольев для будущего лагеря.

Это сдохнуть можно, сколько тащить. Но они тащат. Недаром легионеров прозвали «мулами». Легендарный Гай Марий, разгромивший тевтонов и кимвров, когда-то преобразовал римскую армию — избавил ее от обоза, перегрузив все необходимое на самого солдата. Теперь легион может пройти за день тридцать — сорок миль и построить на новом месте укрепленный лагерь.

От непрерывного ора центурионов и оптионов стонет воздух. Виноградный жезл, символ власти центуриона, гуляет по спинам.

Вперед, вперед, вперед! Держи шаг! Равнение! Подтянись, левый край! Четче шаг, сукины дети.

После месяца обучения они дают присягу и становятся милитами, легионерами. Это уже не «зелень», это воины. Но это еще самый низкий разряд, почти дно легионной иерархии. Все самые тяжелые и грязные работы — для них. У них нет освобождений, нет выходных, нет отпуска. Они крепко влипли.

После нескольких лет службы милит становится опытным воином, который может все: строить дороги, ставить лагерь, рыть подкоп, атаковать в сомкнутом строю, лезть на стену. Теперь он — арматура. И может по праву этим гордиться.

— Коли! Коли! Коли! — кричит центурион.

Раз, раз, раз.

— Выше щит! Вперед, обезьяны, или вы хотите жить вечно?!

Арматура — костяк легиона. Становый хребет. Выше него только иммуний, опытный солдат, освобожденный от работ по лагерю,

и ветеран — солдат, отслуживший шестнадцать лет и переведенный в особый «вексиллум ветеранорум». По большей части это собрание калек, покрытых шрамами. Но — гордых и опасных, как адские псы. Когда легиону приходится туго, в бой бросают именно их. Ветеран, вернувшийся добровольцем на службу, называется эвокат. Ну, круче его уже никого нет.

— Спите, сволочи?! А ну, проснулись! Держи строй! Шаг! Коли! Шаг!

Голос центуриона достанет тебя даже в Преисподней. Центурион орет так, что, когда стоит рядом, рискуешь оглохнуть...

Терпи, новобранец. Теперь ты — в легионе.

* * *

Вдоволь полюбовавшись на учения, мы уходим с Метеллием перекусить. Возвращаемся к самому интересному: тиронов учат владеть мечом.

А чтобы в живых остался хотя бы один из новобранцев, мечи им выдают деревянные. Каждый — раза в два тяжелее боевого глядия.

— Начали! — командует центурион.

Пока новобранцы лупят друг друга, я подхожу ближе. Целый ящик запасных деревянных мечей. Я хмыкаю, беру один и пробую взвесить в ладони — да, тяжелый. Шершавая рукоять. Когда-то я такой деревяшкой намахался досыта.

Делаю взмах, другой. Палка со свистом рассекает воздух.

Рядом два новобранца сражаются. Рыжий делает довольно ловкий выпад и выбивает у другого палку. Тот держится за пальцы и воет. Да, больно.

Я отстраняю центуриона и встаю на место того новобранца, что выбыл.

— Попробуем?

Рыжий открывает рот, но центурион соображает быстрее.

— Захлопни рот, зелень, — командует он. — И попробуй побить легата!

Я усмехаюсь, киваю. Метеллий, глядя на все это, явно веселится.

— Начали! — дает отмашку центурион.

Тирон топчется на месте, затем выкидывает руку с мечом в мою сторону. О-очень неловко.

Я с легкостью выбиваю гладий из руки тирона. Раз! И заносу руку для последнего, добивающего, удара. Острие деревянного меча нависает над незащитной шеей новобранца. Рыжий замирает. Он насквозь мокрый от пота, по его влажной коже сбегает капли... Глаза круглые.

— Ты убит, Ягненочек, — констатирует центурион. — Легат только что зарезал тебя, как свинью.

У меня стучит сердце — громко, на весь лагерь. Бух, бух, бух. Что-то я разволновался.

— Это был храбрый Ягненок, — говорю я. — Его глаза горят, как у Волчонка. Молодец, парень.

Центурион говорит:

— Легат только что дал тебе имя, зелень. Что нужно сказать?

Тирон наконец соображает.

— Цэн, спасибо, цэн!

— Теперь ты не Ягненочек, — улыбается центурион. — С этого момента я буду звать тебя Волчонком. Нравится тебе новое имя?

— Цэн, да, цэн!

— Не слышу!

Волчонок орет:

— Цэн, да, цэн.

— Свободен.

Я взвешиваю в ладони деревянную палку, называемую мечом. Смотри ты, еще не все забыл. Только соперник нужен поинтересней.

— Теперь вы, центурион. Попробуем?

— С удовольствием, легат. — Он берет меч Волчонка и становится напротив.

В этот раз все будет намного сложнее. Центурион тяжелее меня. К тому же гораздо опытнее.

— Начали!

Палки стучат. Когда центурион заезжает мне по ребрам слева, я охаю. Но тут же выпрямляюсь и снова иду в бой. Тук, бам, тук. Ох, говорю я, получив палкой по руке. Боль такая, что на глаза наверачиваются слезы... Я моргаю.

Бей. Теперь очередь центуриона стонать от боли. Тук-тук, бам!

Проклятье! Теперь я опять на земле. Падаю, но все равно поднимаюсь. И опять поднимаюсь. Нельзя терять лицо. Я — легат. Центурион останавливается, опускает меч.

— Легат?

— Еще раз! — приказываю я.

Иду в атаку. Тук-тук-тук. Палки стучат друг о друга. Я снова пропускаю удар. Да что ж такое. Центурион останавливается. Я опять нападаю. Пот льет градом, я весь мокрый. Тук-тук, тук-тук. Центурион словно угорь, его не достанешь. Ну конечно, он же инструктор по фехтованию.

Наконец мне все-таки удастся его достать. Центурион охает, роняет палку. Я делаю шаг — бей! Но, прежде чем я успеваю добить его, он изворачивается, хватает палку и впечатывает ее мне под колено. От вспышки боли темнеет в глазах.

Падаю. Центурион помогает мне подняться.

— Еще? — спрашивает он.

— Все, — говорю я. — Сдаюсь. Вы круче меня, центурион.

Он кивает. Мы оба мокрые, красные, избитые и — довольные. Я тяжело дышу и оглядываюсь. Да сюда половина легиона собралась. Всем интересно посмотреть, как новый легат получает удары палкой. Когда мы останавливаемся ижимаем руки, зрители разражаются аплодисментами. Bravo! Bravo!

— Где вы научились драться, легат? — спрашивает центурион. На щеке у него синяк от моей палки.

Я пожимаю плечами, охаю. Все тело болит. Вот что значит — как следует подраться.

— В доме моего отца обучались гладиаторы. Ну и я тоже.

Центурион кивает. Зрители кричат. Так что там Август говорил про мой боевой опыт? Смешно.

* * *

На следующий день смотрим другую группу тиронов.

После пробежки новобранцы разбирают мечи. Эти тироны уже прошли начальный курс с деревянными мечами, так что теперь очередь настоящего железа. Стоимость оружия, кстати, из их жалованья уже вычли. На всякий случай.

— Когда бьешь, надо помогать себе криком, — говорит центурион. — Резче, злее. Эй, зелень, покажи, как это делается! Где твой боевой оскал?

Тирон показывает.

— Это, что, боевой оскал?! Это детская улыбка! Еще раз!

Они делают еще раз. Наконец, когда тироны мокрые насквозь, наставник дает им передышку. Но своеобразную. Я удивленно поднимаю брови.

— Молитву меча! — приказывает центурион. — Начали!

— Это мой меч. Таких мечей много, но этот меч — мой, — заводят молитву новобранцы. Хором. — Я буду убивать им своих врагов. Я буду хорошо о нем заботиться, чтобы убивать много врагов. Мой меч и я — всегда вместе. Мой меч...

— Интересная штука, — говорю я Метеллию. — Никогда не слышал о такой молитве.

Трибун кивает.

— Да, я тоже — пока меня не прислали сюда. Мне говорили, это особая традиция Семнадцатого Морского, больше такой молитвы ни в одном легионе нет. Какой-то центурион придумал ее. Это было очень давно.

Тироны продолжают хором:

— ...мне дороже, чем все женщины в мире. Я буду убивать им своих врагов.

Они говорят, я слушаю. Смешная штука эта молитва.

— Мой меч — это я.

* * *

— Что еще вы хотели бы увидеть, легат? — спрашивает Метеллий ближе к вечеру.

Я оглядываю учебное поле. Так, что я еще не видел?

— Атаку центурии.

Метеллий улыбается.

... — Шагом — на меня! — командует центурион. — Строем, без дротиков, молча.

Центурия наступает. Синие щиты, перечеркнутые желтыми молниями Юпитера, единой стеной идут на нас — молча, как и приказано.

— Раз, раз, раз, — командует оптион, затем и он замолкает. Потому что команды уже не нужны...

Ноги «мулов» все делают сами.

Слитно стучат калиги. Раз! Раз! Раз! Мы идем по Африке. Мы идем по Греции. Мы идем по...

У меня пробегает по спине озноб, охватывает затылок. Атака легиона — это страшно.

Они идут. Это уже становится невыносимым. Они — волна, которая сомнет все и вся.

Бум, бум, бум.

Семнадцатый Морской наступает — как наступал на полях сражений гражданской войны. Как наступал под командой Друза и Тиберия, покоряющих Германию.

Под ногами «мулов» дрожит земля. Кто может выстоять против легиона?

Ответ: никто.

— Приготовиться! — командует центурион. — Шагом — вперед! Строем! Без дротиков! Молча!

Центурия сдвигается и идет. Строем, без дротиков, молча. Ноги ныряют в песок, клинки мечей тускло блестят, капли дождя оседают на них. Руки сжимают рукояти гладиев.

Больше нет ни политики, нет интриг, нет ничего. Только мы и они. Момент красоты. Ethos Аристотеля. История, спрессованная в краткий миг перед тем, как все рухнет необратимо и сокрушительно.

Это миг такой звенящей красоты, что у меня перехватывает дыхание. Голова кружится. Я на миг замираю, словно пораженный молнией — озноб по хребту. Шагом вперед! Строем, без дротиков, молча.

Я поворачиваю голову и вижу — во взглядах «мулов» единое выражение, слепленное, пронизывающее строй насквозь. Холодный синеватый блеск Средиземного моря. Нашего моря. Оливы и акации. Запах нагретой земли. Волны, разбивающиеся о зубчатые скалы...

Рим — это не мраморные колонны, не статуи Августа... Не блеск золота и даже не крики толпы в цирке.

Рим — это мы.

* * *

И под вечер — учение вспомогательной когорты.

Трубач играет сигнал. Конница разворачивается во фронт, выравнивает строй. Следующая команда — резкий вой трубы. Вперед!

Конница начинает набирать ход. Атака!

От топота копыт дрожит земля. Это прекрасно.

Рядом с конями бегут пешие солдаты, держась за гривы. Я слышал про такое, но видеть не приходилось. Мол, так конница способна наносить чудовищный по силе удар — потому что пехотинцы, бегущие вместе с конями, придают ей ударную мощь.

— Ти-ваз! — гремит над полем.

Слитный вопль разносится над лугом, над рекой, медленно катящей свои воды, над лесом. Потревоженные криком, взлетают птицы над лесом. Я смотрю на черные птичьи силуэты, летящие вправо, к реке... опускаю взгляд.

Конница наступает. Рослые, огромные люди. Крупные фракийские кони кажутся под варварами не такими уж большими. Это германцы. Прирожденные воины. А в придачу к этому хорошие кони и римская военная выучка... Отличная конница. «Интересно, — думаю я вдруг, — кто победит в столкновении бронзовой змеи легиона и стального клина варваров? Что за ерунда? — одергиваю я себя. — Они же наши союзники... вроде бы».

От отряда всадников отделяется командир в греческом панцире — черненое, направляет коня в мою сторону. Я стою и смотрю, как он скачет. Во весь опор. Конь раздувает ноздри, рвется — птица, огненный змей. Во лбу белая полоса. Из-под копыт вылетают комья травы.

Радужный свет на мгновение озаряет луг за спиной всадника, едущие вереницей германцы почти исчезают в золотистом сиянии, затопившем, как приливная волна, лес и речную долину. Они едва видны, прозрачно-золотые.

Всадник же, что приближается ко мне, наоборот, выглядит черным силуэтом. Я вздрагиваю. На мгновение мне стискивает ознобом затылок.

Всадник. Над его головой качается черный гребень. Стук копыт. В этом есть что-то зловещее. Черные комья летят из-под копыт.

Словно я опять в белом сиянии, лежу на кровати. И тишина, словно я оглох. Медленно падающий кувшин...

Я моргаю.

Наваждение пропадает. Всадник вполне обычный. Проклятье! Самый обычный. Он, не доезжая до меня нескольких шагов, осаживает коня. Тот идет шагом, нервно поднимая передние ноги... Красивый. Явно не местная порода, скорее африканская.

Всадник едет против света, так что, только когда он оказывается рядом со мной, я узнаю, кто это.

— Приветствую, легат! — говорит знакомый голос на отличной, звенящей латыни.

Я поднимаю голову, щурюсь. Конь заслоняет заходящее солнце... в глазах пляшут отсветы... поднятая рука, прямой нос. Арминий!

Я смотрю на царя херусков и невольно улыбаюсь. Он меня почти напугал. Смешно.

— И тебе привет, префект! — говорю я.

Хорошая встреча. Я вспоминаю свои мысли. Когда командует Арминий, я спокоен за верность германцев.

Арминий улыбается, спрыгивает с коня. Похлопывает его по шее. Развязывает узлы, снимает шлем... Светлые волосы слиплись на мокром лбу, глаза сияют голубым светом.

Я делаю шаг, протягиваю руку.

— Рад встрече, префект. Отличная была атака.

Он протягивает руку, смотрит мне в лицо... и вдруг вздергивает брови, замирает. Отводит на мгновение взгляд, снова смотрит на меня. Со мной что-то не так? Кто-то нарисовал мне на лбу охрой слово «тупица» — как сделал однажды Квинт-оболтус, когда мы были маленькими?

— Что-то не так? — Я провожу рукой по лбу, смотрю на пальцы. Нет, все в порядке, никаких следов краски.

Арминий вдруг улыбается. Широко и чуть странно, словно ему чуть неловко.

— Все в порядке, легат. Задумался.

Сегодня всех интересует мое лицо — что странно. Я вспоминаю разговор во дворце Квинтилия Вара. Туснельда, она говорила про сходство. А до нее — Метеллий, молодой трибун конницы.

— Почему-то сегодня все считают меня похожим на брата, — говорю я. — Возможно, я выгляжу таким же умным, нет?

Арминий вдруг усмехается.

— Ну, это просто объяснить, легат. — Он смотрит на меня с насмешливым прищуром. — У тебя с братом одинаковые глаза.

— Правда? — Я озадачен. Что-то никогда не замечал.

— Конечно, — усмехается он. — У тебя глаза разного цвета...

— Что?

Арминий кривит губы, улыбается.

— Да, как у твоего брата. Зеленый и голубой.

* * *

Когда темнеет, я выхожу в солдатский городок, связывающий три лагеря. На узких улочках кастрениса горят огни, звучат голоса. Иногда надо почувствовать себя живым. Выпить вина, поиграть в кости или в мяч...

Но лучше сделать кое-что другое.

Я оглядываюсь. Так, солдатские лупанарии — вон там, а офицерские... Где-то, скажем, на соседней улочке этого веселого городка. Над улицей на веревках висит разноцветное белье. С верхних этажей на меня смотрят дети. М-да. Похоже, тут, в этой части городка, обитают в основном контуберны — временные жены солдат. Я иду, где мы проходили тогда с Эггином. Этот лупанарий где-то рядом. И он, видимо, как раз офицерский. Не высший разряд, но где-то рядом.

Я вспоминаю «волчицу», виденную мной в окне лупанария. Найти, что ли, ту рыжую?

— Легат! — окликают меня. Голос вроде знакомый, но сразу не сообразить, чей.

Я поворачиваюсь... Ничего себе. Целая толпа «мулов» идет ко мне, полупьяная, разгульная. Факелы ярко горят, нетерпеливые руки держат их над головами. Лица полукрасные, полутемные. Станные.

— Легат, это вы?

Я выпрямляюсь. В первый момент я даже начинаю думать, что они пришли как следует врезать мне за мои фокусы с учениями...

Потом я узнаю.

— Простите, легат. Выпьете с нами? — говорит Секст по прозвищу Победитель. Надо будет все-таки спросить, почему его так называли...

Выпить? Я поднимаю брови. Интересное предложение.

— Смотря по какому поводу. А что за праздник, солдат?

Товарищи его кричат. Я сначала ничего не понимаю. Потом из толпы легионеров выталкивают верзилу, огромного и крепкого.

— Это оптион Марк по прозвищу Крысобой, — говорит легионер Секст. — Из четвертой центурии! У нас большая радость. Марка переводят в пятый Македонский — он будет командовать там восьмой когортой. Наконец-то мы от него избавимся! — В толпе хохочут. — Марк будет настоящим центурионом. Покажет македонской «зелени», как надо правильно чистить сортиры!

Легионеры хохочут так, что дома вокруг грозят обвалиться.

Марк сдержанно кивает. Он огромный, веселый и, видимо, уже слегка пьяный. Или его развезло от радости? Не знаю. Лицо оптиона озаряет широкая улыбка. И он смотрит на меня сверху вниз и сутулится, как многие люди, смущаясь своего роста.

— Крысобой?

— Он у нас в бою настоящий убийца крыс! — смеются легионеры.

Я оглядываю будущего центуриона. Настоящий великан. Да уж. Не всякий германец вырастет в такую машину.

— Что ж... раз такое дело. Поздравляю, центурион Марк Крысобой! — говорю я.

Шепоток бежит по рядам. Из рук в руки передают, а потом подносят мне чашу. Серебро, оцениваю я. Нашли самую дорогую — для легата. Спасибо, ребята. Принимаю чашу, она чуть теплая от чужих ладоней.

Я выплескиваю немного вина на землю — приношение богам — и поднимаю чашу.

— Твое здоровье, центурион Марк!

Вокруг одобрительный рев. Я приближаю чашу к губам (надеюсь, чистая?) и отпиваю. Катаю на языке. Вино неразбавленное, густое и кислое. Не фалернское точно. Глотаю, усилием воли заставляя себя не морщиться...

Поднимаю чашу, киваю: мол, хорошее вино.

Ну, теперь самое сложное. Я беру чашу и начинаю пить. Сила воли. Голова начинает кружиться — крепкое, зараза.

Допиваю и переворачиваю чашу донцем вверх, смотрю на Секста Победителя. «Мулы» молчат. Я демонстративно встряхиваю чашу. Ни капли внутри не осталось.

— До дна! — кричит Секст. Легионеры радостно ревут.

Марк по прозвищу Крысобой улыбается. В свете факелов его лицо кажется рваным, красное на черном. Лицо Геракла с греческой амфоры. Я слышу крики солдат и слышу, как тоскливо звучат греческие трубы где-то далеко. Одинокие мерные удары цимбал.

Мне страшно.

...Погасший фитилек свечи.

Порыв ветра налетает, и факел в руке Секста начинает вдруг трещать, плеваться искрами, почти гаснет. И вдруг словно выстреливает. Секст отдергивает руку, когда на руку ему попадает капля смолы. Факел падает на землю. Я отступаю на шаг — невольно.

Холод. Факел горит на земле. Пламя дергается, как в припадке.

— Дурацкий факел, — говорит Секст. — Вот дешевка какая. Легат, вас не задело? Простите, я...

Марк стоит, прижав ладонь к щеке, и глупо улыбается.

— Все в порядке, солдат, — говорю я. — Продолжайте праздновать! Удачи, Марк!

Будущий центурион отнимает руку — там небольшой ожог, брызнуло смолой. Марк разглядывает свою ладонь.

Я иду прочь, шагаю ровно и медленно, чтобы это как можно меньше походило на бегство. Возвращаюсь в свою палатку и долго сижу в темноте, глядя перед собой. Что-то не так.

...Все будет хорошо — даже если не будет.

Когда факел выстрелил, мне почудилось... Нет, не так. Не почудилось. Я — увидел. Вместо приятного, хотя и простоватого лица центуриона Марка — чудовищную изуродованную харю с приплюснутым носом. И десятки смеющихся черепов вокруг него...

Ерунда. Приметы. Знаки. Предопределение, говорите?! Не верю.

ГЛАВА 11

ТИШИНА В ЭФИРЕ

Тарквиний, около 70 лет, домашний раб.

Странная все-таки штука — жизнь.

Стариков все больше, а молодые умирают. Словно молодость — это болезнь, которая одних убивает, других же оставляет калеками. И вот они живут — те, кто выжил: изувеченные, изломанные, с согнутыми спинами, искореженными суставами, ослепшими очами. Волосы их побелели, зубы выпали, ноги у них трясутся, а воспоминания — неполны.

Счастливишки.

Мы выжили. Нам — повезло.

Доказательства? Это легко. Когда мой хозяин Гай учился у греков, я тоже кое-чего наслушался. Пожалуйста: доказательство от противного. Покажите мне хоть одного человека, что дожил до старости — молодым. Не можете? Все. Вопросов больше нет.

Я не помню, что я вчера ел на ужин. Не то чтобы мне хотелось это помнить — но надо, я каждый раз даю себе задание, чтобы не занеметь в этой неподвижности, что подступает ко мне со всех сторон. Она все ближе. Стоит замешкаться, дать неподвижности шанс — и она проникнет в тебя, заохлодит конечности и заставит сердце биться через раз... через два... через... три... Вообще не биться.

Поэтому я сражаюсь. Вареное пшено, вспоминаю я. И овечий сыр... кажется. И что-то еще. Всегда есть что-то еще.

Я так стар, что помню деда моего Гая, салажонка гордого. Деда звали так же, как и отца, — Луций Деметрий Целест, у них в семье

старший сын завсегда — Луций, словно они других имен не знают. Высокомерие и гордость, проклятые римляне.

Я когда-то тоже был свободным. Наверное. Я уже не помню, как это было, я попал в Рим совсем мальчишкой. Узкие улочки, мощенные камнем, раскалялись докрасна под моими ногами. Я хорошо бежал тогда. Нас, мальчишек, гоняли как посыльных — беги туда, беги сюда, отнести то, не знаю зачем. И неважно кому. Важно — вовремя. В общем, беги, мальчик, беги. Опаздывать нельзя, выпорют.

А потом, когда я уже был взрослым, моя жизнь изменилась. Я до сих пор не знаю, почему дед мальчишки выбрал меня. Чем я отличался от других рабов? Я долго потом старался понять. Всегда хочется быть особенным, не таким, как остальные... Теперь знаю.

Я прожил на свете достаточно долго, чтобы понять. Ничем. Ни-чем. Здорово, да? Деду Гая это было не нужно. Ему был нужен раб для его внука. И все. Это я сейчас понимаю. А тогда много ерунды придумывал. Это бывает. Но тогда, в общем, я был доволен своей жизнью. Пока одним все, другим — ничего. И остается время поболтать с девчонками на господской кухне... Боги, как давно это было...

Многие умерли. Когда я закрываю глаза, мертвые мальчишки окружают меня. Иногда я даже с ними разговариваю. Им там одиноко, в их молодости.

А когда они уходят, я сражаюсь. Вареное пшено, вспоминаю я. И овечий сыр... кажется. И что-то еще. Всегда есть что-то еще...

Молодость — это болезнь. Жаль, что мы так быстро выздоравливаем.

* * *

Давно замечено — утром все кажется лучше. И судьба, и время, и люди... И даже собственное лицо. Я разглядываю отражение в лезвии кинжала.

У людей, отмеченных богами, глаза разного цвета. У Александра Великого, рассказывают, один глаз был зеленый, другой карий. Или, по другой версии, зеленый и голубой. Впрочем, дело в другом. Александр Македонский захватил к двадцати пяти годам

половину мира и дошел до далекой Индии. Потом, правда, умер. Его огромная империя развалилась на куски, когда тело Александра не успело даже остыть...

Кстати, это мысль. Может, мне к своему имени добавить прозвание «Счастливый»? А что, Гай Деметрий Целест Счастливый. Или, скажем, Гай Деметрий Целест Разноглазый Урод. Звучит.

Я убираю кинжал обратно в ножны. Прохожу по палатке — она огромная. Вот то, что я искал. От брата-легата мне в наследство досталось большое зеркало, я снимаю с него покрывало. Отлично! Полированная поверхность бронзы отражает напряженное лицо нового легата. Разноглазое.

Разве можно внезапно стать «Счастливым» в возрасте двадцати восьми лет? Впрочем, почему нет — цвет глаз же я поменял? Может быть, какая-нибудь местная Юнона Косматая положила глаз на красавца-легата (то есть меня), когда он проезжал мимо ее рощи по пути в легион. То-то у меня на днях спина чесалась... под левой лопаткой...

Положила глаз. Хм-м. Глаз... Глаз?

Я хлопаю в ладоши. Раб откидывает занавесь. Сонный, ленивый.

— Господин? — Он склоняет голову, ждет приказаний. Или спит на ходу — толком не разберешь.

— Передай преторианцам, что мы отправляемся в Ализон через час. Пусть будут готовы.

— Слушаюсь, господин.

Раб исчезает. Когда занавесь за ним перестает колыхаться, я выуживаю из ворота амулет, кладу на ладонь. Серебристая фигурка, обмотанная цветным шнурком, чтобы можно было носить на шее, отражает свет — куда там бронзовому зеркалу.

Она сделана очень искусным мастером. Птичка Воробей. А у германца по имени Стир — Бык из такого же металла. Я против воли вспоминаю, как германец выдергивал гладиатору конечности — легко, почти не напрягаясь. Р-раз! И готово. Капли крови, летящие над ареной, — почти черные... м-да.

Разные глаза и чудовищная сила — какой из этого вывод? А, Гай? Правильно. Я для интереса пробую поднять зеркало одной

рукой. О боги. Потом двумя. Тяжеленное. Пальцы скользят по полированной поверхности. Мне удастся приподнять зеркало на ладонь от пола.

Нет, моя сила с фигуркой не связана, похоже.

Трудно оставаться равнодушным к богам, когда так хочется поверить. Кто из обитателей Олимпа благословил меня? А сначала — Луция? А потом, видимо, — германца Стира?

Забавно быть любимцем богов. Особенно если эти боги — подземные. У греков Воробей — птица Плутона. Душеводитель. Я смотрю на фигурку. О Плутон! Я принесу тебе в жертву черного ягненка... Знать бы еще — зачем?

— Господин, — занавесь поднимается, там ленивый раб. — Они сказали, что лошади сейчас будут готовы.

Я киваю. Хорошо. Пора ехать.

* * *

Я натягиваю повод, лошадь идет шагом. Преторианцы Квинтилия Вара следуют за мной вереницей, зевают, негромко переговариваются. Деревья шумят. Зелень вокруг — северная, особый оттенок зеленого, очень светлый — на грани с желтым.

Туман уже улегся. Воздух прозрачный. Поворачиваю голову и вижу, как мимо, покачиваясь, проплывает огромное дерево — древнее, вылепленное из местной толстой коры. Листья резные, видны до мельчайших деталей. Красиво.

Германия. Я что, начинаю привыкать?

Через несколько часов мы оказываемся у города. Ализон изначально строился как зимний лагерь легионов, так что он в точности повторяет лагерь Семнадцатого — те же рвы, окружающие город по периметру, те же стены и сторожевые башенки, те же улицы и расположение главных зданий. Только все немного крупнее — Ализон рассчитан на три-четыре легиона разом.

На въезде в город я замечаю у входа в казарму знакомую фигуру. Очень знакомую. Человек стоит, задумавшись, облокотив руки на перила. Я приказываю преторианцам подождать, сам подъезжаю к казарме. Он смотрит на меня снизу, подняв брови. Удивлен?

— Легат? — в голосе легкое замешательство.

— Доброе утро, центурион.

У Тита Волтумия покрасневшие опухшие глаза. Он что, вообще не ложился?

— Вам надо больше спать, старший центурион, — говорю я.

— Да, легат. Вы правы, легат. Конечно, легат.

Старший центурион выпрямляется, смотрит на меня с прищуром. Насмешливый. Непрост центурион, ох, непрост... Но, кажется, я хотел узнать мнение человека, которому можно доверять?

— Центурион... какого цвета у меня глаза? — смотрю на него сверху вниз.

Волтумий щурится, моргает.

— Э... что вы имеете в виду, легат?

— Не волнуйтесь, центурион, я не собираюсь за вами ухаживать. Я не по этой части. Мне нужно знать... в общем, отвечайте на вопрос.

Он смотрит озадаченно.

— Карие, кажется, — говорит он неуверенно. — С серым, нет?

— А если внимательнее?

Центурион задирает голову, смотрит мне в лицо. Глаза его расширяются. Понял, похоже.

— Как это? — говорит Тит Волтумий. — То есть они... ну, разноцветные, как у вашего...

— Как у моего брата, — заканчиваю я фразу. — Что я и хотел узнать. Спасибо, Тит. Да! И еще, центурион...

Тит поднимает голову.

— Легат?

— Вы понимаете германский?

Центурион окончательно сбит с толку. Лицо его странное.

— Немного. То есть я вполне могу объясниться с местными, но понять германца из дальнего племени мне будет сложновато... Но, — добавляет он, видимо, чтобы совсем меня не разочаровать, — если понадобится, я могу допросить пленного. И, клянусь задницей Волчицы, он заговорит на латыни.

— На латыни?

— На чистейшей, легат.

Я поднимаю брови, смотрю на центуриона. Человек-загадка. Какие еще бездны откроются мне в нем?

Конечно, варвар заговорит. Уж в этом я ни капли не сомневаюсь.

Обычно допросом пленных занимаются спекуляторы — особые люди принцепса, «мулы» их не слишком любят. Разведка, дознаватели и шпионы. И пыточных дел мастера, если надо. Но любой солдат должен уметь выведать у пленного, где находятся спрятанные ценности.

Рассказывают: когда у одного «мула» украли ночью сумку с деньгами, он так расстроился, что в следующей атаке первым вошел в неприятельскую крепость. Получил крепостной венок и денежную награду. Когда полководец, впечатленный его подвигом, предложил герою так же войти в следующую крепость, то храбрец в ответ похлопал по туго набитой сумке с золотом. «Зачем, когда кошница полна?» — спросил он по легенде. Полководцу осталось только развести руками.

Храбрость и алчность — две основные добродетели римского солдата.

— Понятно, — говорю я, чтобы что-то сказать. — Хорошо, Тит. Не уезжайте пока из города. Я вас найду.

Центурион кивает.

Все будет хорошо, думаю я, поворачиваю коня. Даже если не будет.

* * *

На улицах блестят лужи. На пороге храма Марса — раскрашенные охрой колонны, каменные ступени — сидит воробей. Пока я проезжаю мимо, он смотрит на меня крошечным черным глазом. Чвирк! — и улетает.

Мол, Плутон не спит, Гай. Смешно.

Дворец Вара.

Я отдаю коня рабу, лохматому молчаливому фракийцу. Киваю преторианцам, спасибо, и вхожу в дом Квинтилия Вара. По привычке читаю на полу вестибула надпись, выложенную черной мозаикой: «Пещера собаки». Рядом мозаичное изображение черного пса, больше похожего на Цербера родом из Преисподней. Язык его — длинный, как змея, — торчит из оскаленной пасти. Морда зверская.

Что-то вроде «добро пожаловать».

Гул голосов. Прохожу в атриум. Здесь сегодня много народу. Несколько германцев громко спорят между собой — шумные, волосатые варвары. Некоторые в шкурах. От них пахнет зверьем. По другую сторону, стараясь не замечать гемов, беседуют несколько римлян и итальянцев. Это торговцы и местные чиновники. Они все — клиенты Вара.

Я киваю знакомому преторианцу. Проход в таблиний, кабинет хозяина дома, занавешен плотной красной тканью. Там Вар принимает посетителей. Если, конечно, он уже проснулся...

Подхожу к занавеси, что закрывает проход в глубину дома. Преторианец узнает меня и отступает в сторону.

— Легат, — кивает он. Вот, меня уже здесь все знают.

Я оказываюсь в крытой галерее — колонны из местного камня, туфа, светлые. Слева малый перистиль — садик с фонтаном, скульптурами и живыми кустами. Ярко-оранжевые цветы, красные, желтые. Здесь я тогда встретил Туснельду с нянькой... Но сейчас их нет.

Жаль. Я был бы рад увидеть даже ту черную крошечную бестию с ножом.

Моя комната в глубине дома, в левом крыле. Солнце (все-таки оно здесь бывает!) сегодня разошлось по-летнему, внутренний дворик залит светом. Даже жарко. У меня вся спина взмокла. Иду.

На скамейке около фонтана — бронзовый мальчик с крыльями — дремлет одна из вольноотпущенниц Вара. Красивая. Жена пропретора, племянница Августа, осталась в Риме — что ей делать в Германии? А у пропретора как у мужчины есть свои потребности...

Я усмехаюсь. Верно.

Почему-то вспоминаю рыжую «волчицу» в окне лупанария. Бесстыдная. Кто-то у нее там был в комнате, точно.

Я вхожу в прохладный переход, ведущий к внутренним комнатам. Правое крыло — хозяйское, левое — для гостей.

Интересно, мой Тарквиний завел себе подружку из местных рабынь? Этот старик когда-то был еще тот бабник. Ни одной рабыне проходу не давал. Мне самому с трудом верится, но когда-то Тарквиний был силен и крепок. Статный, красивый, веселый. Многие рабыни по нему вздыхали. Помнится, я маленький сажу на

кухне — по уши в сладостях, а Тарквиний в это время перешучивается с кухаркой. Смутные детские воспоминания.

Я улыбаюсь. А это мысль... Надо бы свести ту маленькую черную няньку с Тарквинием. А что? Прекрасная будет пара — особенно если она не знает латыни или, скажем, глухая. Тогда она сможет выносить его бесконечное ворчание! По-моему, великолепная идея. Высокий, хотя и ставший пониже с возрастом, седой Тарквиний и крошечная восточная старуха-нянька с черными глазами.

Заодно мне будет обеспечен свободный доступ к Туснельде.

Прекрасная германка.

Навстречу мне выбегает с корзиной белья в руках молодая рабыня, вскрикивает «ох!». Поднимает голову и замирает с открытым ртом. Разные глаза — это забавно, думаю я. Можно производить впечатление на девушек.

Я улыбаюсь, рабыня невольно тоже улыбается в ответ. Потом спохватывается, кланяется и бежит дальше.

Я иду.

Жизнь — прекрасна.

* * *

Наше родовое прозвище — Целест — означает Небесный. Это цвет. И высота полета. И, кажется, еще чистота помыслов... не помню. В общем, какая-то хрень в этом духе.

Верхний слой воздуха, самый легкий, по-гречески называется «эфир». На латыни его принято называть «квинт эссенция», пятый элемент.

В верхнем слое воздуха живут боги. Они дышат им, этим эфиром. Когда мы взываем к ним, наши мольбы должны преодолеть все слои воздуха, вплоть до верхнего, который, кстати, небесного — голубого — цвета.

Но молитва — это не самое главное. Главное — дожидаться ответа.

* * *

Когда подхожу к своей комнате, я слышу чириканье. Жизнерадостное, шумное и — очень громкое. Не удержавшись, я сворачиваю и выглядываю в сад.

Проклятье! Мне становится не по себе... Все деревья, кусты, весь внутренний сад усеян, словно яблоками, коричнево-серыми птичками. Они шевелятся. Живой ковер устилает внутренний двор дома Квинтилия Вара — плотный, дышащий, чистящий перья, дерущийся, чирикающий. Воробьи сидят даже на статуях и на крыше дома... Их тысячи здесь. Тысячи.

Я моргаю. Потом облегченно вздыхаю. На самом деле воробьев немного, вряд ли больше сотни. Просто вольноотпущенница Вара решила поразвлечься, покормить птичек. Она бросает воробьям крошки и смотрит, как они дерутся.

Я слышал, Апулей, некогда любимый Августом писатель-декламатор, любитель сомнительных шуток, заказал себе в спальню мозаику: мертвый воробей, лежащий на медном блюде. Ему, мол, захотелось сделать вызов вкусам общества...

Ага, думаю я. Интересно, что бы сказал Апулей, увидев это?

Я вхожу в комнату, замираю на пороге. В моей комнате на полу лежат несколько мертвых воробьев.

Я моргаю. Еще раз. Нет, ерунда! Это всего лишь разбросанные вещи.

Вещи разбросаны — так, словно сюда ворвалась шайка мародеров. От моего хорошего настроения не остается и следа. Ну что за дела... Тарквиний!

— Старик, проклятье! Сколько раз говорить! — Теперь я действительно разозлен. Ну я ему задам. Я его отправлю на мельницу, молоть муку. Я из него вытрясу душу...

Я!..

Я замираю.

* * *

Он лежит, позади тянется след крови. Белый и как будто... сломанный, что ли?

Все будет хорошо. Даже если не будет.

Я опускаюсь рядом с ним на колени — так, что ударяюсь об пол, поднимаю его на руки. Голова Тарквиния откидывается... Нет, думаю я, нет! Он всего лишь задремал, старый соня.

— Тарквиний! — зову я.

Морщинистые веки прикрыты, словно он задремал. Я прижимаю к себе его голову, пытаюсь поднять тяжелое, какое-то неудобное тело.

Не умирай. Не смей умирать!

— Старик, — зову я. Провожу по седым волосам. — Старик!

В груди — рукоять ножа. Я боюсь ее задеть. Я тянусь к ней... одергиваю себя. Нельзя. Иначе он истечет кровью.

— Кто-нибудь! — кричу я. — Сюда! Слышите?!

За окном шумит ветер. Я слышу щебет птиц.

Тарквиний вдруг вздыхает. Еще жив. Сначала я думаю, что это кажется, но он с усилием открывает дрожащие старческие веки.

— Госпо... Гай... — Он делает попытку встать, но я держу его. — Я за... дремал... простите.

— Чтоб тебя, старик! Ну почему с тобой всегда одни неприятности? — говорю я и чувствую, что у меня дрожит челюсть. Глаза режет от слез. — А?

Молчание. Тишина в эфире.

* * *

Я не знаю, зачем люди это делают. Всегда трудно понять. Вот ты вглядываешься в свое отражение в воде пруда — а там какой-то идиот на тебя смотрит и плавают равнодушные карпы. Или мурены с угрями змеятся в тусклой воде. А ты изгибаешься в воде с глупым видом и думаешь: тебе скоро тридцать, и тога тебе не идет.

Я говорю: ну что за ерунда... Потом выхожу в сад и сажусь у фонтанчика. Здесь бы могла сидеть та черная нянька Туснельды. А рядом бы охал Тарквиний и ворчал, что у него болит спина... или бок... или еще что-то... и пить хочется, а вина молодой хозяин не дает... не ценит он меня, а я для него...

А нянька бы говорила: старый дурак, дай я тебе потру спину.

«Это всего лишь раб». Старый, глупый, вечно ворчливый раб.

Я сижу на скамье около фонтана и смотрю, как переливается вода. Каменная чаша заполнена вровень с краями. Вода плещется и стекает по стенам чаши, оставляя мокрые следы, наполняет бассейн.

Кажется, вокруг все темнее и темнее. Я поднимаю голову — нет, небо ясное. Моргаю.

Бешено пахнут цветы — азалии, кажется. Запах наплывает на меня волнами и клубится, в ночном воздухе борются друг с другом ароматы тамариска и розы, и эти мелкие красные... забыл, как их.

— Смешно, — говорю я.

«Я отправлю тебя в пекарню, глупый старик», — сказал я ему тогда.

Стыд пахнет цветами. Почему нам всегда так нестерпимо стыдно перед мертвыми?

Вода льется в чашу, расходится широкими кругами к краям... стекает по стенкам.

— Господин, что с вами?

Я поднимаю голову. Передо мной стоит та молоденькая рабыня, что шла с корзиной белья. На ее лице — ужас. Потом я смотрю на свои руки... свою тунику...

Багровое.

— Это не моя кровь, — говорю я.

* * *

«Ты ворошить пепел. Не надо».

Слова юной германки. Туснельда, Туснельда.

Похоже, пепел уже разворошен. И теперь летит мне в лицо — без всякого моего участия.

«Ты много не знать, римлянин». Но я — узнаю.

* * *

— Легат!

Кто-то стоит передо мной и зовет меня. Я вижу только ноги в зашнурованных мягких сапогах, такие носят офицеры легиона. Я нехотя поднимаю взгляд. Туника с двойной красной полосой, медный панцирь...

— Кто вы? — говорю я.

Латинянин. Невысокий, жилистый — кажется, его хорошенько просушили на солнце. Волосы с сединой, лицо, изрезанное вялыми морщинами. Крупная бородавка на левой щеке.

— Дидий Цейоний, префект лагеря, — представляется он. Красавчик, м-мать.

Я обдумываю его слова. Медленно, словно это что-то мне совершенно незнакомое.

— Какого лагеря? — спрашиваю наконец.

— Девятнадцатого легиона, — говорит Цейоний. Он удивлен. — Вы не ранены, легат?

— Нет, — говорю я. — Кажется, нет.

На самом деле я не знаю.

У старика в волосах застряли куски цветной штукатурки. Я протягиваю руку и убираю их — один за другим. Бросаю в сторону. Они падают на пол и разбиваются. Синие и красные... Синий — цвет смерти.

— Легат?

Я поднимаю голову. Префект лагеря Цейоний все еще здесь и продолжает болтать:

— Мне жаль, легат. Мои люди оцепили дворец. Убийца не уйдет далеко, я обещаю. Вы в порядке?

Я моргаю. Глаза болят. В левом — словно застряла крошечная пружинка. И дергается. И вместе с ней дергается веко.

Потом я понимаю, что должен что-то сказать.

— Спасибо, префект.

Я с усилием поднимаю непослушное тело Тарквиния, оно выскальзывает. Большое. Словно я рыбак, пытающийся вытащить на берег слишком крупную для себя рыбу.

Уснувшую.

— Помогите мне, — говорю я. — Ну же! Кто-нибудь!

Цейоний кивает, два преторианца подбегают ко мне, помогают поднять Тарквиния и положить на кровать. Теперь он лежит спокойно. У него белые, очень белые руки с синими прожилками вен.

Синий — цвет смерти.

Я выпрямляюсь. Поправляю руку старика, чтобы она лежала рядом с бедром. Она большая. Его ладонь. Я вдруг понимаю, что забыл сказать ему... Тарквинию... Важное. Наверное, важное.

— Эй, старик. Старик!

Молчание. Тишина в эфире. Нам так недосуг всегда. Поэтому тысячи слов — важных — остаются несказанными.

Я помню, как сидел у него на плечах, когда праздновали сатурналии. Мимо нас шли мимы... кривляющиеся, шумные... Я был тогда совсем маленьким.

Я закрываю глаза. Сейчас я проснусь, и все будет по-прежнему. Черта с два.

* * *

— Поймали! Поймали! — кричит раб. Пробегает мимо меня — с факелом в руке. Все в доме Вара знают, что случилось. Да весь город, наверное, тоже знает.

— Вам что-нибудь нужно, легат?

Я открываю глаза. Передо мной стоит знакомый преторианец. Один из тех, что был со мной в лагере Семнадцатого.

Я выпрямляюсь. Хватит, Гай. Пора брать себя в руки.

— Вызовите сюда старшего центуриона Тита Волтумия. Он должен быть в городских казармах у главных ворот. Скажите ему: он мне нужен.

Преторианец смотрит на меня, затем молча кивает и уходит. Я слышу его удаляющиеся шаги... Оглядываюсь.

Везде факелы. Желтые отсветы мечутся по саду — мертвому саду. Пламя светильников.

Преторианцы и легионеры Цейония сейчас обшаривают окрестные улицы. Разбуженный Вар — возмущенный Вар — уже не возражает против обыска среди ночи.

В доме римского наместника совершено преступление. Это скандал. Да, убит всего лишь раб (в голове эхом: всего лишь раб, всего лишь...), но мог погибнуть и кто-нибудь из римских граждан. Или даже сам Публий Квинтилий Вар. Это никого не обрадует. Вар представляет Божественного Августа в провинции. У него даже есть ликторы, целых шесть. Поэтому он должен заботиться о своей репутации.

Я смотрю.

Преторианцы носятся так, словно их ошпарили.

* * *

Я провожу ладонью по сухой, словно пергаментной коже Тарквиния. Ненужная, запоздалая нежность... Прости, старик.

Я не видел Луция мертвым. Вернее, я видел его тело — но тело уже забальзамированное, подготовленное к похоронам. С ним поработал опытный мастер. Даже щеки подкрашены для эффекта. Розовый цвет лица.

Розоволицый.

От этого Луций казался еще более мертвым. А Тарквиний выглядит живым. Но он тоже мертв.

«Я отправлю тебя в пекарню, старик».

«Я не хочу есть, не хочу пить. Оставь меня в покое!»

Проклятое ощущение несправедливости...

В горле першит. Однажды, когда я был в Греции и мы гуляли по красным дорожкам, усыпанным засохшей хвоей, учитель спросил: что такое скорбь? Кто-нибудь может мне ответить?

Что такое скорбь? Теперь я могу ответить. Скорбь подобна огромному листу золоченой меди. Одному из тех, что берут для обшивки корабельного днища. Огромный лист. И он такой... неудобный, что ли? Гулкий. Громоздкий. Как ни возьми, все неудобно. Или пальцы порежешь, или выронишь... И лист этот ни взять толком, ни перехватить. Ты его поднимаешь, держишь. Он срывается и углом — по горлу.

Гулкая медная пустота.

«Деда! Деда!» — как я называл Тарквиния когда-то в детстве.

У меня перехватывает дыхание.

* * *

Префект Цейоний врывается в комнату. Белый сполох тоги, довольное лицо...

— Мы его поймали, легат!

Я поднимаю голову. Цейоний улыбается так, словно только что получил золотой венок за взятие крепости — прямо из рук Августа, который к тому же пообещал префекта усыновить и сделать наследником в обход Тиберия.

— Поймали? Кого, если не секрет?

— Что?

Вспышка ярости.

— Говорите четко, префект, — говорю я холодно. — Кого поймали и где?

Цейоний моргает, молчит. Префект ошарашен. Потом он все-таки берет себя в руки:

— Человека, который это сделал... испортил ваше имущество...

— Что испортил?

— Гм-м... — Цейоний несколько теряется. — Убил вашего раба, легат.

Несколько долгих мгновений я молчу.

Имущество.

И-мущество.

И-спортил. И-мущество.

«Всего лишь раб».

Всего лишь?! Все сдвигается. Темное. Красное. Блеск. В последний момент я сдерживаюсь, останавливаю себя. От чудовищного усилия в груди болит, комната вокруг кружится. Цейоний моргает.

— Хорошо, — говорю я хрипло. — Я хочу его видеть. Покажите мне этого человека...

* * *

Два преторианца приводят убийцу. Я молча смотрю. В нем нет ничего особенного, просто варвар. Германец, длинные светлые волосы, кажется, довольно молод. Они все здесь так похожи — для нас, римлян, что кажутся братьями-близнецами.

Молоденькая рабыня, это ее я видел с кувшином. Сейчас она стоит и нервно комкает передник.

— Кажется, он был чуточку повыше, — говорит служанка неуверенно. — Я... я не знаю...

— Посмотри еще, — предлагает Цейоний. — Ну же, не бойся. Этот варвар ничего тебе не сделает. Это он, тот, кого ты видела?

Рабыня смотрит и неуверенно кивает.

— Отлично. — Цейоний улыбается, физиономия совершенно мерзкая. — Умничка.

Не знаю, почему он меня так бесит.

Варвар угрюмо молчит. У него разбито лицо, и он постоянно облизывает распухшую нижнюю губу.

— Кто она? — спрашиваю я.

— Климентина, она работает на кухне, — поясняет Цейоний. — Она говорит, вы должны ее знать.

Я пытаюсь сосредоточиться. Ах да! Кажется, я ее знаю.

— Привет, Климентина, — говорю я. — Как поживаешь?

Рабыня нервно сжимает руки. Явная неуместность вопроса пугает и ее, и меня.

— Хорошо, можешь идти, — говорит Цейоний.

Рабыня кивает и убегает. Мы остаемся — я, Цейоний, два преторианца и пойманный варвар. Убийца Тарквиния. Варвар снова облизывает разбитую губу. Скоро у него лицо станет совсем черным.

— Где вы его поймали? — спрашивает Цейоний, причем, видимо, специально для меня.

— В переулке за домом. Пытался убежать, даже нож достал. Он ранил Квинта, — говорит преторианец. Глаза у него сверкают. — У-у, сволочь!

Воин замахивается дубинкой.

— Отставить! — кричит Цейоний так резко, что я вздрагиваю.

Проклятье, зачем же так орать. Преторианец в последний момент останавливает руку. Молча смотрит на префекта, скулы напряжены. Дубинка стиснута в руке. Преторианец сплевывает и выходит.

Ноги германца, босые и синие, скованы колодками.

— Мы будем его судить, — говорит Цейоний с явным удовольствием. — По римским законам.

Германец с трудом поднимает голову, я встречаюсь с ним взглядом. У варвара — заплывшие от ударов светлые глаза, почти уже щели. По его виску стекает струйка крови — черной.

ГЛАВА 12

РИМСКИЙ СУД

В судебных покоях царит полутьма. Горят огни. Я смотрю на стоящего передо мной человека.

Белая тога, круглощекое лицо. Толстый. Я не могу оторвать взгляда от пухлой руки, унизированной кольцами. На одном из пальцев — кольцо из золота, знак римского всадника. Это самая скромная вещь из тех, что он носит. Вокруг этой золотой полоски — камни: сапфиры, жемчуг, коралл, изумруды и рубины. Томный блеск драгоценных камней. Все пальцы унижены...

Это судья.

— Ликий Пизон, — представляется он. Со значением в голосе. Можно подумать, я всю жизнь мечтал с ним познакомиться. — Пропретор поручил мне рассудить это дело. Благородный и милостивый Квинтилий Вар настаивает, чтобы решение было вынесено как можно быстрее. В кратчайшее время.

— А справедливость? — спрашиваю я с иронией. Сегодня у меня отвратительное настроение. Ну, у меня есть причины...

Ликий Пизон улыбается. Благостно и фальшиво.

— А справедливость — не помешает.

Чиновники, думаю я. Они могут любого заставить плакать от бессилия.

* * *

В городской базилике собирается суд. Одетые в тоги квириды собираются разыграть чисто римское представление. Правда, зрителей маловато. Ну, это как раз понятно. Кому интересно убийство старого раба?

По римскому праву раб — рес, «вещь». За убийство раба положено возместить хозяину «вещи» убыток. Всего лишь.

А вот ранение преторианца — это уже интереснее. Это пахнет распятием.

Рассаживаемся. Чадят факелы. Горят сальные свечи и масляные светильники на высоких бронзовых канделябрах. Но света все равно мало. В Германии сегодня опять пасмурное небо, собираются тучи — поэтому световой колодец в потолке, в сущности, бесполезен.

Красноватый неровный свет лежит на всем. Дело не особо сложное — убит раб. Всего лишь. Сломалась вещь.

— Сочувствую, легат, — негромко говорит Тит Волтумий.

— Спасибо, что пришли, Тит, — пожимаем руки.

Он садится неподалеку. Мест хватает с избытком.

В зале негромкий гул голосов. Я оглядываю сидящих, встречаюсь взглядом с легатом Девятнадцатого Нумонием Валой, он кивает. Я киваю в ответ. Нумоний мне нравится. Я слышал про него много хорошего — человек необыкновенной храбрости и честности, он сражался в нескольких военных кампаниях и везде был отличен наградами. Кажется, у него два дубовых венка за спасение товарища в бою... Неплохо.

Когда все занимают свои места, судья дает знак. Распорядитель объявляет:

— Достопочтенный Ликий Пизон будет судьей и вынесет решение по делу об убийстве раба, принадлежащего легату Семнадцатого легиона Гаю Деметрию Целесту. Убийца — некий Хирем, свободный человек из племени фризов. Просим богов даровать нам ясность разума и помочь вынести решение согласно божественной справедливости... Введите варвара!

Поднимается шум, тут же стихает. Мы слышим неровные шаги. Легионеры приводят германца, оставляют его в центре зала. У варвара на шее и на ногах — деревянные колодки. Лицо черно-желтое от побоев. Жалости к нему я не испытываю. Спасибо, нет.

Распорядитель продолжает:

— К вышеназванному германцу Хирему была применена пытка, полученные показания будут вам сейчас оглашены.

Присутствующие оживляются. Национальное римское развлечение — суд — началось. Даже театр и выступления мимов нас так не увлекают. Потому что театр с его песнями, хором, трагическими случайностями и длинными монологами — это одно, мимы с их простонародными ужимками и непристойными шутками — другое, а суд — это все вместе. К тому же здесь, как в цирке, можно делать ставки и болеть за своего кандидата.

Я замечаю в зале еще несколько лиц — я видел этих граждан на играх в свою честь. Теперь вижу на суде. Тоже, видимо, в мою честь.

«А он тут откуда взялся?» — думаю я. Гортензий Мамурра, легат Девятнадцатого, — с лицом таким, словно ему пришлось съесть ложку пшеничной каши и он теперь не знает, что с этим делать. Все-таки еда простонародья тяжела для аристократического желудка.

Пока я разглядываю людей, распорядитель зачитывает показания германца под пыткой. Там все ясно — виновен. Забрался в дом, хотел украсть, тут раб, убил, бежал. Погнались преторианцы, напал, ранил. Хоть сейчас вешай. Правда, тогда мы лишимся еще одной забавной вещи...

— Допросим обвиняемого! — говорит Ликий Пизон. Вот эта «забавная» вещь.

Судья сидит, пухлая рука лежит тоге. Сверкание колец ослепляет. Я отсюда вижу — одно из них с белым камнем. Камень выглядит как мутный белый глаз вареной рыбины. Этот глаз смотрит с холеной руки судьи — на всех присутствующих.

— И начнем, достопочтенные квиниты, время не ждет.

Он стоит, выпрямившись. Высокий, хотя ему и приходится сутулиться из-за колодок. Легионеры рядом с ним кажутся коротышками.

Я смотрю в небритое лицо варвара и хочу его ненавидеть. Я должен его ненавидеть.

— Как твое имя? — спрашивает Ликий Пизон.

Германец что-то отвечает. Потом еще что-то отвечает.

— Что? Я не понимаю. — Судья раздраженно оглядывается. Переводчика нет. И, как назло, в зале нет ни одного германца.

Я наклоняюсь к центуриону, сидящему на ряд впереди меня.

— Тит, переведите, пожалуйста.

Старший центурион прислушивается. Морщится.

— Что-то не так, Тит?

Центурион виновато разводит руками.

— Он откуда-то из других мест. Не отсюда. Половину слов я вообще не понимаю. Да и говорит гем слишком быстро... Простите, легат.

То, что германец не знает латыни, понятно. Но то, что переводчика в зале нет, тоже наводит на определенные мысли. Видимо, рассчитано было, что хватит показаний под пыткой.

Новость вносит смятение в ряды поборников римского правосудия. В зале слышны смешки, хохот. Суд стремительно превращается в фарс.

— И как нам его понять? — спрашивает Ликий Пизон. Брови его изгибаются — жалобно.

— Как-как, — повышаю я голос. Гул стихает. Головы присутствующих поворачиваются ко мне. Я говорю: — Надо решить это так, как делают в Риме.

Ликий Пизон откашливается.

— Кхм. Что вы имеете в виду, легат?

Некоторые чиновники смотрят на меня, словно я прямым ходом из Рима, из покоев Августа, сам глас божественного принцепса... Мне становится смешно. Да уж, привкуса комедии в этой драме все больше.

— Очень просто, — говорю я. Обвожу зал взглядом. — Позовите иудея.

— К-какого иудея? — Ликий Пизон запинается от волнения.

Я пожимаю плечами.

— Любого, какой найдется в этой дыре. Хотя я сильно удивлюсь, если в какой-нибудь дыре не найдется своего любителя «субботы». Старший центурион, прошу вас, распорядитесь.

Тит Волтумий резко кивает. Встает и спускается к выходу. Уходит, клацая железом калиг по мраморным полам. Бух, клац... Клац, бух...

Калиги стучат по мрамору. Ликий Пизон, префект Цейоний и остальные в атриуме провожают центуриона взглядами. Я усмехаюсь невольно: ну вот такой он! Что поделаешь.

Не проходит и получаса, как центурион возвращается. И не один. Ну, что я говорил? Иудей найден.

Ему лет сорок. Он высокий и тощий, с горбатым носом и черными маслянистыми глазами. На нем обычная одежда купцов из Иудеи — полувосточная-полугреческая. Вдобавок обычная для иудеев круглая шапочка. Черные глаза сверкают живо и слегка лукаво.

— Игемон? — Он кланяется.

— Как твое имя? — спрашивает Ликий Пизон.

— Левий Ицхак, я учитель грамматики и торговец стеклом, игемон.

Что еще за «игемон»?

— Почему ты называешь меня этим странным словом? — поднимает брови судья. — Что оно означает?

— Прости, господин. Оно означает — тот, кто выше, повелитель всего. Здесь повелители римляне.

— В Иудее — тоже, — замечает Ликий Пизон. — Обращайся ко мне «господин». Единственный повелитель всего здесь, — судья показывает пухлой рукой навверх, в небеса, — Божественный Август!

Все делают вид, что принимают это высказывание за чистую монету.

— Простите, господин. — Иудей снова кланяется.

— Переведи ему вот это. — Ликий Пизон кивает, и распорядитель передает иудею свиток с записью вопроса. — И спроси, что он может сказать в свое оправдание.

Иудей переводит. Свет факелов падает на изуродованное лицо узника. Мы ждем реакции варвара.

И — ждем. Я дергаю щекой. «Всего лишь раб».

Германец кричит. Черно-лиловое лицо и так не слишком красиво, а сейчас еще и перекошено от ярости. Зубы, что забыли выбить преторианцы, обнажаются в оскале. Летит слюна.

Германец кричит, ревет и пытается вырваться из кандалов. Легионеры вдвоем едва могут удержать его на месте. «Зверюга», — говорит кто-то почти с восхищением.

Все это время иудей молчит и слушает. Мы ждем. Тит Волтумий, старший центурион, морщится — я вижу сверху, он сидит в самом низу теперь. Видимо, кое-что центурион из речи варвара все-таки понял.

Наконец, варвара затыкают. Действительно. А стало слишком скучно...

— Что он сказал? — спрашивает Ликий Пизон. — Почему ты молчишь?

— Он... хм-м... не выбирает выражений, господин, — говорит иудей Левий Ицхак. — Простите.

Иудей склоняется низко — я вижу, как качаются черные завитки волос около его лица. Взгляд покорный. Мол, простите, я стараюсь.

Ликий Пизон поднимает пухлую руку, украшенную перстнями.

— Не бойся и переведи точно.

— Слушаюсь, господин, — говорит иудей.

Мы готовимся получить удовольствие.

— Римляне, вы жирные уродливые собаки, — негромко говорит иудей. По залу прокатывается общий вздох. Потом раздаются смешки. Хорошее представление, все довольны. — Вы лгуны, воры и дураки. Вы все неправильно написали. Я ничего этого не делал и не говорил. Я не убивал какого-то вшивого раба, про которого вы говорите. Я ничего не украл. Это ложь. Вы нанесли мне смертельное оскорбление...

Иудей на мгновение замолкает. В зале — гробовая тишина. Почему-то без сопровождения воплей, ярости и бешеного сверкания глаз это производит впечатление. Я дергаю щекой. В исполнении негромкого спокойного голоса иудея речь германца звучит гораздо веселее.

— Дальше, — говорит Ликий Пизон.

— Сила человека — в его копье, — переводит иудей. — В его мече. А не в ваших лживых речах и бумагах, проклятые римляне. Из того, что змея громко шипит, еще не значит, что она сильнее зубра.

Надменные квириты слушают. Цивилизованные, утонченные, образованные — куда там этим варварам. Я слышу реплики в зале:

— Образно выражается.

— Ну варвары и задвигают. Куда там Цицерону.

Они смеются. Я бы тоже посмеялся, но мне сейчас совсем не смешно.

— Хватит. Чего он хочет? — спрашивает судья со вздохом. Толстый, вальяжный распорядитель жизни и смерти. Иудей переводит.

Германец взрывается водопадом слов. Тит Волтумий морщится, слушая.

Иудей начинает переводить слова германца:

— Он просит суда богов.

Я поднимаю брови. Все озадачены.

— То есть? — спрашивает Ликий Пизон.

— Поединок. Он требует поединка с обвинителем.

Интересный поворот. Я с интересом смотрю на толстого судью. С ним поединок?

Германец показывает в сторону толстяка.

— С этим? — спрашивает иудей. Слушает варвара, поворачивается и говорит всему залу: — С этим.

Германец кивает. Да, да, да.

Божий суд против римского права. Смешно.

Все уставились на судью. Ликий Пизон на глазах бледнеет. Бедняга. Щеки становятся пергаментными, словно из толстяка всю кровь выпустили.

— Со м-мной?

Разве можно быть таким недоверчивым? Я встаю. В зале — шум и смешки. На меня оглядываются.

— Что же вы, Ликий Пизон? — говорю я насмешливо. — Вам выпала великая честь выступить в защиту цивилизации и римской культуры — против, скажем прямо, воплощения варварства. Вы же об этом так горячо говорили? Каким оружием предпочитаете биться?

Ликий Пизон порывается что-то сказать, но не может. Вокруг откровенный хохот. Мы римляне. Мы любим, чтобы наш суд был настоящим представлением.

Я продолжаю:

— Возьмете гладий? Или, может быть, фракийский меч? Или вы предпочитаете спату? Благородный Ликий Пизон, расскажите нам о своих предпочтениях.

Я почти не издеваюсь. Я действительно жду ответа. Мне на самом деле интересно.

Зал уже лежит. Хохот такой, что германец растерялся. Он не понимает.

Бедный Ликий Пизон пытается взять себя в руки. Мне его почти жаль. Цвет его лица меняется от красного к белому и обратно. Причем очень быстро. Так не бывает, но так есть.

Наконец, бедняга находит способ сохранить остатки достоинства:

— Римское право — вот главное, чем мы должны руководствоваться!

Отличная фраза. И главное — ни о чем. Я вспоминаю, как Цицерон презрительно поддел одного из подобных знатоков: «Хорошо, давай поговорим о римском праве. Ведь это как раз то, о чем ты ничего не знаешь». Хороший был оратор, пока его не убили.

Хохот уже всеобщий. Легионеры, охраняющие варвара, стоят с красными лицами, пытаются сдержать смех.

— Тогда позвольте мне, — говорю я.

Молчание. Теперь уже такое — совсем полное. Полнее не бывает.

— Что? — спрашивает Ликий Пизон. — Что вы имеете в виду, легат?

«Всего лишь раб». Я готов выйти и вонзить в германца клинок. Что, я тоже становлюсь варваром?

Нумоний Вала поднимается, просит внимания. Все затихают — легата Восемнадцатого здесь уважают.

— Легат Деметрий Целест шутит, — говорит Нумоний громко и четко. — Конечно, он уважает римское право и власть, данную Августом пропретору. Так, легат?

Он смотрит на меня с намеком — отступи.

Я молчу. В голове звучит только: «Это мой меч. Я убиваю им своих врагов». Дурацкая молитва новобранцев...

Я — не варвар.

— Легат?

Я говорю:

— Конечно. Я уважаю. Простите, судья. Прошу вас продолжать.

Наступает время огласить приговор.

Входят ликторы, их шесть человек. Они несут снопы розг, но без воткнувших в них топоров. Пропретор, конечно, имеет право выносить смертные приговоры — всем, за исключением римских граждан. Утвердить смертный приговор гражданину Рима имеет право только принцепс.

За ликторами выходит пропретор. Надо признать, сегодня Вар — само достоинство.

— Вы вынесли решение? — спрашивает Квинтилий Вар.

— Да, пропретор. — Ликий Пизон почтительно склоняет голову.

— Огласите.

Ликий Пизон начинает зачитывать приговор. Пухлые руки его изгибаются в изящном ораторском жесте, который сейчас, здесь, выглядит издевкой.

Ликий Пизон говорит. Я почти не слушаю — выхватываю из речи судьи только отдельные фразы.

— Онный варвар уличен в проникновении в дом пропретора Публия Квинтилия Вара, освященный властью Рима... Можно расценивать это... как попытку посягнуть на жизнь римского гражданина... государственного лица... наделенного властью... с этой целью проник в комнату легата... и убил раба, принадлежащего Гаю Деметрию Целесту... о чем получено признание под пыткой. Свидетелями доказано ранение преторианца... попытка сопротивления при аресте... что расценивается как умышленное покушение на жизнь римского гражданина. Наказание за подобное преступление должно быть жестоким и незамедлительным. Варвар Херим из племени фризов приговаривается...

Драматическая пауза. Чуть передержал, думаю я.

— ...к позорной смерти через распятие!

Зал шумит. Впрочем, в обвинительном приговоре никто и не сомневался.

Квинтилий Вар слушает судью и кивает. Да, все понятно. Все достаточно просто. Раб — ерунда, за убийство раба положен штраф, а для негражданина Рима — бичевание. Но за покушение на

убийство римского гражданина — тут наказание должно быть самым жестоким. Жесточайшим.

— Я утверждаю приговор, — говорит пропретор. Секретарь подносит ему пергамент и тростниковый калам, обмакнутый в чернила. Пропретор выводит закорючку, кивает. Сделано. Секретарь уносит приговор, который будет подшит вместе с сотнями других официальных бумаг. Рим — это в первую очередь горы бумажной отчетности.

И это все?

Пропретор в задумчивости потирает руки, на них — пятна чернил. Поднимает голову, взгляд его падает на Тита Волтумия. Тот вскакивает, вытягивается.

— Центурион! — приказывает Квинтилий Вар. — Возьмите своих людей и сделайте это.

Лицо Тита Волтумия на миг застывает. Затем центурион берет себя в руки.

— Пропретор?

— Что вам не ясно, центурион? Распните этого варвара!

Я качаю головой. Очередная насмешка судьбы. Центуриона опять заставляют заниматься тем, чем заниматься он, по сути, не должен. И не хочет.

— Слушаюсь, пропретор.

Вар кивает всем и уходит. Всеобщее обсуждение.

Германец смотрит то на одного, то на другого римлянина. Возможно, он убийца, но глаза его, заплывшие и растерянные, вызывают жалость. Он ничего не понимает. Он пробует что-то сказать, на него никто не обращает внимания. Смешно.

Иудей уже куда-то исчез. Наконец я не выдерживаю:

— Квириты! — Они все оборачиваются. Ликий Пизон смотрит на меня, Тит Волтумий смотрит на меня. Остальные в атриуме — тоже смотрят на меня. — Переведите ему кто-нибудь приговор, — говорю я устало. — И давайте с этим закончим.

Нет ничего хуже неопределенности. Даже варвар и убийца имеет право знать, что скоро умрет.

ГЛАВА 13

БОГ ИЗ МАШИНЫ

— Ни-и! Ни-и! Ду ис двала! Двала! — кричит германец.

Я в испуге открываю глаза. Проклятье. Некоторое время лежу, переживая тревожное биение сердца. Потом оглядываюсь. Все в порядке. Я в своей комнате в доме Вара. Надо мной — тент, натянутый над кроватью. Надо поспать. Надо.

Но стоит закрыть глаза, я снова вижу, как уводят германца, он кричит:

«Ни-и! Ни-и!» Нет! Нет!

Я лежу и не могу заснуть. Завтра похороны Тарквиния. Его тело будет сожжено на костре. Сейчас мой бывший воспитатель лежит, завернутый в саван, в одной из каморок пристройки для рабов. Одинокий и беззащитный, словно сломанная игрушка.

Перестань, Гай! Месть свершилась, можешь спать спокойно. Убийца пойман, его вина доказана, наказание неотвратимо. Казалось бы, чего мне еще? Что не так? Я не знаю.

В театре существует такая штука, как «машина». Механическое устройство, вернее, особый кран, который поднимает и торжественно опускает на сцену актера, изображающего одного из олимпийских богов. Божество появляется в самом конце — во всем блеске, чтобы карать или миловать...

Другими словами, если сюжет пьесы зашел в такой тупик, что злодеи рискуют остаться без заслуженного наказания, а герои — без положенной награды, появляется он — бог из машины.

На самом деле тут, конечно, интереснее не сам бог, а его машина. Машина, которая разрешает все проблемы.

Трагедия, да.

Великий Аристотель говорил, что в трагедии развязка должна вытекать из самого развития фабулы, а не разрешаться «машиной». Мол, машина — это дурной тон, нечистая работа. Плохая пьеса.

Ну, мало ли что говорил великий Аристотель... Я бы совсем не отказался, если бы сейчас мне помог кто-нибудь из богов.

Я лежу, глядя в потолок, и слушаю, как щебечут за окном птицы.

«Машина, — думаю я. — Мне не помешала бы машина. Иначе кое-кто рискует остаться неотмщенным».

* * *

Германца уводят. Он рычит от ярости, пытается вырваться, он силен — легионеры сбивают его на пол, бьют ногами.

— Ни-и! Ни-и! — кричит германец. — Ду ис двала!

Центурион сказал, что в переводе это означает: «Нет! Нет! Ты дурак!»

«Неужели все так просто? — думаю я. — Ты дурак, Гай. Ду ис двала».

Германца несколько раз называли вором. Почему? Там, на суде, я не обратил на это внимания, я просто хотел, чтобы убийцу Тарквиния наконец распяли...

Дрема накатывает, качает меня на винных волнах.

Еще раз. Убийца забирает жизнь, вор крадет вещь. Убийца забрал жизнь Тарквиния, потому что тот... Думай, Гай... Мои вещи разбросаны... Вот старик входит в дверь, а там... Там — вор.

От неожиданности я просыпаюсь. Вода журчит, падает в каменную чашу. Вокруг фонтана вьются комары.

Казалось бы, простой вопрос... Совсем детский. Ду ис двала.

Что украл вор?

* * *

Зеленый деревянный сундук. Я нагибаюсь, провожу пальцами по почерневшему замку — металл холодит кончики пальцев.

Старик открывал его много-много раз. Сколько ворчания, наверное, пришлось услышать ни в чем не повинному дереву...

Понимание вдруг пронзает меня насквозь, даже затылок немеет.

Осталось проверить. Я открываю крышку сундука, она со скрипом и грохотом откидывается. Бух. Внутри все перевернуто, смятые

вещи лежат как попало... Вот будет заботы тому рабу, что заменит Тарквиния... У меня вдруг к горлу подкатывает комок. Я моргаю. Не сейчас, проклятье. Не сейчас...

Начинаю доставать вещи и бросать на пол. Туники разных цветов и отделки летят вон, устилая комнату. Следом отправляется дорожный набор для письма, «кодекс» из соединенных вместе деревянных пластин, между которыми вложены листы пергамента — для важных писем. Сейчас в Риме принято называть туповатого человека, не понимающего шуток, — «кодексом». То есть «дубиной», деревянными досками, в которые забыли вложить что-нибудь умное, написанное на пергаменте...

Дальше, дальше. Я стервенею, выбрасываю уже все подряд, без разбора. Дальше, дальше, дальше! Вещи летят. И лишь когда передо мной оказывается голое дно сундука, деревянное, выстеленное соломой от сырости, я останавливаюсь. Молчу. Поднимаюсь и думаю: и что я этим доказал? К чему пришел?

«Кодекс ты, Гай, — думаю я. — Ду ис двала. Вот же ответ, прямо перед тобой».

Пустой сундук.

Пустота — это пространство, заполненное эфиром. В ней нет кое-чего важного. Кое-чего, что объяснит смерть Тарквиния...

Я поднимаюсь и выхожу в коридор. Темнеет. Все залито синим вечерним светом. Иду в перистиль, опускаюсь на скамейку перед фонтанчиком... Долго сижу, слушая, как журчит вода. Начинает темнеть.

Синий — цвет смерти. Точно.

— Смешно, — говорю я. Потому что ответ все время был у меня перед глазами.

Почему вещи были разбросаны по всей комнате? Что искали? Что украл вор?

Я на всякий случай проверяю комнату, заглядываю во все углы. Посылаю рабов проверить повозку и мой багаж. Ничего. Ее нет.

Шкатулка из черного дерева, крышка расписана красками. Я купил ее когда-то давно в Лабезе, когда еще служил младшим трибуном. Третий Августов легион, Африка. Хорошее было время...

Бегущие кони на фоне ливийской пустыни, гривы развеваются. Желтый фон нарисован золотой краской, но со временем та облупилась, появились черные полосы.

Шкатулка до сих пор пахнет сухой африканской пылью.

В последний раз шкатулку открывал Тарквиний... Да, именно! Чтобы достать для меня фигурку из странного серебристого металла. Воробья.

Вот оно.

Что украл вор? Шкатулку. А что он хотел украсть? Это хороший вопрос.

Я открываю глаза. Кажется, нашел.

* * *

Германец не убивал Тарквиния. Возможно, это сделал кто-то другой... кто-то, кто знал, что у меня есть фигурка Воробья. И что она находится в шкатулке с другими вещами Луция... Вернее, находилась до того, как я надел ее на шею.

Зачем Луций оставил мне эту вещь?

Мой умный старший брат. Мой мертвый старший брат. Луций, Луций. Во что ты ввязался?!

Шкатулка пропала. Среди вещей германца ее не было. Хотя, возможно, он передал шкатулку кому-то другому. Надо бы узнать — кому. Вопрос: как?

Я поднимаю голову. Вода журчит, круги разбегаются. Но германца уже не спросишь. Его казнили... стоп. Я замираю, чтобы не спугнуть мысль.

Его распяли, так? Позорная и... очень *затянутая* казнь.

На кресте умирают долго. Иногда — по несколько дней. Я поднимаю голову, медленно выдыхаю... А значит, у меня остался шанс все узнать.

* * *

Что ж... пора начинать. Смелее, легат.

Я зажигаю свечу, смотрю, как колыхнется на сквозняке пламя. Ставлю ее на стол.

— Легат. — Квинтилион почтительно склоняется. Старый хитрый раб, прожженная бестия. — У вас ко мне дело?

— Да, Квинтилион, — говорю я распорядителю дома. — Спасибо, что пришли. Мне нужна ваша помощь. Мне понадобятся веревки и инструменты. Топор, может быть. Что-то такое. Есть у вас топор?

Он явно озадачен, но кивает.

— Спасибо, Квинтилион. Я пришлю рабов. И еще. Отправьте, пожалуйста, кого-нибудь в казармы у главных ворот.

Все будет хорошо, думаю я. Или...

— Вызовите сюда старшего центуриона Тита Волтумия.

...не будет.

Распорядитель кивает. Проходит почти час — я уже начинаю терять надежду. Когда центурион появляется в моей комнате, свеча почти догорела. Я ставлю на стол еще одну чашу, беру кувшин. Наклоняю...

Темное, почти черное вино с тихим плеском льется в серебряный сосуд.

— Выпьете, Тит?

Центурион смотрит на меня из полутьмы. Я вижу его высокий темный силуэт, свет факела за спиной центуриона обрывается жесткой линией головы и плеч.

— Спасибо, легат, — отвечает он, но стоит неподвижно.

Я думаю, что когда-нибудь я научусь принимать решения так же, как мой брат, — без судорожных колебаний, быстро и четко.

Где-то вдалеке грохочет гром. Будет гроза.

— Вы звали меня, легат, — напоминает центурион.

— Вы когда-нибудь делали что-то, Тит, что казалось вам самому невероятно глупым... но при этом вы чувствовали, что поступаете правильно?

Кажется, мне удалось его удивить.

— Легат?

— Ответьте на вопрос, Тит. Пожалуйста.

Несколько долгих мгновений он молчит. Я слышу далекий перестук падающих в бассейн в атриуме капель. Кап. Кап. Кап. Холодный сырой воздух тянется оттуда, пронизывает весь огромный дом Вара, пропретора Германии.

— Да, легат, — говорит Тит наконец. — Я понимаю, о чем вы. Мне приходилось такое делать.

Кап. Кап.

Кап.

— Я так и думал, — говорю я. Все, времени мало. Я беру со стола меч в деревянных ножнах на перевязи, перекидываю через голову, надеваю. Теперь меч висит у меня под правой рукой — как у рядового легионера. Это короткий гладий, солдатского образца. Железное лезвие длиной в локоть. — Мне понадобится ваша помощь, Тит. Вы помните, где распинали германца?

— Конечно, легат, — говорит Тит Волтумий. Усмехается — почти весело. — Я покажу.

Он совсем не удивлен. Я киваю.

— Тогда ведите, старший центурион. Мне нужно кое в чем разобратся.

— Сложное сделать простым, — говорит Тит Волтумий, старший центурион.

Я вскидываю голову — он щурится, насмешливые морщины в уголках глаз. Спокойное твердое лицо.

Я говорю:

— Да, центурион. Именно так.

* * *

Воробьи перестали чирикать. Я не сразу это замечаю.

Но тишина вдруг оборачивается огромной плитой прозрачного сланца. Он слоится и крошится, он засыпает все вокруг кусочками безмолвия — все эти темные деревья, качающие ветвями под напором ветра, дорогу и кусты, темнеющие вдоль обочины. Даже хор лягушек перестает выводить вступление, которое обычно включают в трагедии перед появлением первого актера. Первый актер всегда изображает главного героя. Он встает в картинные позы, ломает руками и телом ритм и мелодию музыки. Потом задирает вверх голову и начинает говорить. Что-нибудь пафосно-трагическое.

А потом будут страшные предсказания, смерти, женитьбы на матерях и прочие глупости. И в конце — раскаты грома, вспышки молний и «машина», которая расставляет все по местам. Карает злодеев, награждает героев и спасает историю, зашедшую в тупик.

Дорогу нам перебегают темная тень. Заяц. Лошади бегут рысью. Я еду. За мной Тит Волтумий. И за ним еще — два моих раба.

— Я охотился на львов, — говорю я. — Давно, еще в Ливии...

Железный наконечник длиной в две ладони. Красная грива в свете заката. Черная засохшая кровь на камнях.

— Местные охотятся на зубров, — говорит Тит. — Вы их видели?

Я киваю. Когда мы ехали в легион, мы видели издалека этих чудовищ. Косматые и огромные. Горы плоти в отвалах рыжеватой шерсти.

Один из них — вожак стада, стоящий поодаль, — с короткими толстыми рогами, торчащими из зарослей шерсти, почуял нас, замотал огромной башкой. Зафыркал, повернулся в нашу сторону. Я почти видел, как ярость застилает его крошечные для такого тела глазки. Кровавая пелена. Она закрыла крошечное соображение быка мутной толстой пеленой. Он заревел, косматый, страшный... Окажись мы ближе, нам бы было несдобровать.

— Для молодого гема убить зубра и принести трофей — рога чудовища — настоящий подвиг. Это ценится очень высоко. Это доказательство мужества.

Да уж, думаю я. Сразить такого великана... Это все равно, что выйти голым против десятка вооруженных разбойников и вернуться невредимым.

— Почему только у некоторых германцев бороды? — спрашиваю я. — Мне почему-то казалось, что варвары носят их поголовно. Но тут и бритых полно.

— Очень просто, — пожимает плечами центурион. Я вижу его резкий профиль. — Они тут все воины. Понимаете, легат? Молодой гем не может сбрить бороду, пока не убьет своего первого врага.

Вот как. И тут до меня доходит смысл сказанного Титом.

— Сколько же нужно убить врагов, чтобы я увидел столько бритых германцев?

Тит Волтумий качает головой так, что чуть не вываливается из седла.

— Не очень много, на самом деле. До того как мы пришли сюда, в Германию, гемы постоянно резали друг другу глотки. Теперь это римская провинция. Мы уже два года не даем гемам убивать друг

друга... Поэтому новое поколение растет бородатым. Почти все германцы, что недавно вышли из детского возраста, носят бороды. А кто из молодых оказывается с бритой рожей — тот, скорее всего, убил одного из наших. С такими у нас разговор короткий... простите, легат. Что-то я увлекся.

Однако. Как все запутанно.

— И часто здесь убивают римлян?

Он пожимает плечами.

— Иногда случается.

— Но за что?

— Мы не даем им убивать друг друга.

Я поднимаю брови.

— Всего лишь?

— А вы знаете лучшую причину для ненависти?

Я впечатлен. Действительно.

* * *

Быстро темнеет. Огромная грозовая туча ползет сюда — дальше, над лесом, уже глубокая чернота, провал в бесконечность.

Времени мало. Теперь мы скачем во весь опор. Рабы жалобно стонут. Тит Волтуций не очень хорошо держится в седле, он «мул», пехотинец, но центурион не жалуется — хотя его и болтает на пегой лошади, как мешок с овсом... Он мучительно пытается удержаться в седле.

Дорога, вымощенная камнем. Подковы лошадей звонко стучат по булыжнику.

Издали до нас доносятся глухие раскаты грома. Сюда идет гроза. Поднимается ветер, перекачивает по вершинам деревьев штормовые медленные волны. По вересковым пустошам с обеих сторон от дороги словно катается невидимый великан. Становится свежо... Я сжимаю пятками бока лошади. Настолько свежо, что мне приходится пригнуться, чтобы не сдуло. Ветер дергает меня за волосы, лепит одежду к телу.

Справа кресты, слева кресты. Мы их уже много проехали.

Глубокая синева вокруг окутывает лес, заросли вереска, квакающие болота.

Топот копыт.

— Здесь, — говорит Тит Волтумий. У него воспаленные от усталости глаза. Голос мучительно спокойный — и оттого кажущийся еще более измученным.

Я резко осаживаю коня — слишком резко. Проклятье! Тот взбрыкивает и чуть не выбрасывает меня из седла.

Но прежде чем он толком успевает остановиться, я уже оказываюсь на земле. Оглядываюсь. Здесь? Я поднимаю взгляд, вижу чьи-то изуродованные лодыжки. Мухи вьются вокруг них. Почерневшая шляпка железного гвоздя...

Выше голову!

Острые колени. На бедре засохшая черная кровь. В этом распятом подобию человека трудно узнать того гордого резкого варвара, что требовал божьего суда... Требовал еще совсем недавно... Теперь это тень прежнего человека — хотя прошло совсем немного времени. Ребра едва не прорывают кожу. Мне кажется, что я вижу...

Прорывают. Смешно. Проклятье! Мы опоздали. Опоздали! Я спрыгиваю с коня. Проклятье! Прокля...

— Быстрее! — кричу я рабам. — Снимайте его! Что встали, придурки?! Ну!

— Легат, — говорит Тит негромко. Он смотрит на меня сверху вниз, сидя в седле неровно и неловко. Вообще удивительно, что он не выпал из него по пути.

— Что — легат?! — Я поворачиваюсь к рабам. — Я жду. Снимайте его, чего ждете?

— Легат!

В голосе центуриона затихают раскаты далекого грома. Он смотрит на меня спокойно и просто.

— Он мертв.

* * *

Помню, когда Квинта в детстве ударило качелями, он — мокрый от слез обиды и ярости — стоял и пинал деревянный столб. Долго пинал.

Я подхожу к столбу и пинаю его ногой. Потом еще. Боль пронзает лодыжку, но я не останавливаюсь. Н-на! Н-на! Н-на!

Когда боль в ноге становится невыносимой, я поворачиваюсь и, хромая, иду обратно к лошади. Глаза от усталости провалились. Лицо напоминает восковую маску, разохшуюся от старости и осыпающуюся...

Лошадь от меня шарахается. Смотрит испуганно, раздувает ноздри. Я протягиваю руку, лошадь отступает.

— Ну и пошла ты тогда, — говорю я. Оглядываюсь. Крест с германцем чернеет на фоне фиолетовой вересковой пустоши и недалекого леса. Он последний в ряду крестов, тянущихся от Алисона. Так. Прошел всего день с момента казни. Германец не мог так быстро умереть, на кресте мучаются долго...

Может, он еще жив? Просто кажется мертвым? Такое бывает. В Африке я видел фокусника, которого связывали, укладывали в ящик и закапывали в землю. А потом через три дня откапывали — а он живой!

Я сам не знаю, почему пытаюсь ухватиться за такие глупости. Ду ис двала. Ты дурак.

Я поворачиваюсь к рабам. Центурион смотрит на меня сверху.

— Хорошо, — говорю я. — Слезайте и снимите его с креста.

Рабы молча переглядываются, но с места не двигаются. Почему-то косятся на центуриона.

— Снимите его, — приказываю я. — Ну же!

— Выполняйте, — говорит Тит, словно моего приказа им недостаточно. Рабы вдруг начинают шевелиться.

Старший центурион усилием воли приподнимает себя над седлом и перекидывает ногу. Неловко спрыгивает на землю, охает, со стоном приседает. Начинает растирать бедра. Несладко ему сегодня пришлось.

Рабы вынимают из мешков, притороченных к седлам, привезенные инструменты. Складывают на землю. Потом опять смотрят на центуриона. С надеждой. Мол, центурион здесь самый нормальный. Он сейчас образумит хозяина, и делать ничего не придется.

— Снимайте, — говорит центурион. — Это приказ легата.

* * *

Раб перебрасывает веревку через перекладину креста, упирается ногами. На ней завязаны узлы. Другой начинает взбираться вверх, зажав в зубах нож...

Режет веревки, привязывающие руки германца. Потом нужно что-то сделать с гвоздями. В общем, работы много. Помогаем даже мы с центурионом, иначе бы рабы возились до завтра.

Снять человека с креста сложнее, чем его туда прибить.

Наконец германца удастся уложить на землю. Ветер дует все сильнее, рывками. По вересковой пустоши гуляют темно-синие волны. Усиливающийся, пульсирующий шелест листьев напоминает биение сердца. Деревья качаются. В стороне севера, за лесом, там, где река Визургий и лагеря легионов, скапливается глубокая черная темень. Бездна.словно небо куда-то проваливается.

Напряжение в воздухе такое, что он вот-вот лопнет.

Я наклоняюсь к германцу.

— Легат! — говорит центурион.

— Вижу, Тит.

В боку германца, слева, под ребрами, небольшая колотая рана. Бок залит черной засохшей кровью. Вот и ответ, Гай. Что, легат, допрыгался? Кто-то не стал надеяться на римское правосудие и медленную смерть. А решил ускорить дело. Но кто?!

Если бы мертвые могли говорить. Если бы... Я прикладываюсь ухом к его груди. Тихо, только что-то булькает. Встаю и пинаю его по ноге. Нога дергается, падает. Может, он притворяется? Бред.

— Ну же, давай! Ты же сильный!

Бесполезно. Германец мертв. Я поворачиваюсь к центуриону:

— В городе же есть медики?

Тит Волтумий качает головой. Да, мне тоже понятно — если и есть, мы просто не успеем довести германца в город, даже если он хоть чуточку жив. И тем более не успеем привезти доктора из Алисона сюда.

Это не считая того, что мы нарушаем закон. За снятие преступника с креста без позволения пропретора мы рискуем сами оказаться на кресте. Конечно, до этого дело не дойдет, но...

Проклятье. Проклятье. Проклятье.

Надо ехать. Центурион стоит рядом с германцем, но разглядывает меня, а не его. Когда вдалеке вспыхивает молния, Тит моргает. Смотрит на меня, прищурившись.

— Надо ехать, легат, — говорит он мягко. — Гроза идет.

Раскаты грома. Я киваю.

— Сейчас. Еще немного, Тит.

Я смотрю на синее лицо германца и думаю, что слишком надеялся получить ответ. Нагибаюсь, чтобы закрыть ему глаза, и из ворота моей туники выпадает что-то. Я по привычке ловлю, раскрываю ладонь — там лежит фигурка. Ну, конечно.

Фигурка отражает свет. Воробей, Воробей. Кто твой хозяин? И зачем ты нужен убийце Тарквиния?

Германец лежит рядом. Я двумя пальцами закрываю ему глаза. Холодная мертвая плоть. Зато теперь он выглядит спокойным. Прости, варвар, ты был не виноват. А кто виноват? Кто добил тебя? Если бы мертвые могли говорить...

Я поднимаюсь. И вдруг понимаю: что-то не так. Опускаю взгляд. Воробей лежит на моей ладони. Что это?!

Дрожь пронизывает меня от макушки до пяток. Волосы стоят на голове дыбом, по всему телу бегут мурашки...

Это похоже на удар молнии. Синий разряд.

Ну же, давай! Я сжимаю пальцы — так, что острые края фигурки врезаются в ладонь. Если бы мертвые...

«Скажи мне!» — приказываю я мысленно.

Меня пронзает насквозь. На одно мгновение мне кажется, что все мое тело стало прозрачным. Вспышка. Синие разряды ветвятся сквозь прозрачные мышцы и кости, обрамляют светящимся ореолом вены и артерии. «Молния, — думаю я. — Неужели в меня попала мол...» Мир сдвигается и плывет куда-то в сторону. Все становится далеким, ненужным, словно я смотрю на это откуда-то из другого мира...

Ладонь свело. Я опускаю взгляд и вижу — фигурка Воробья выпала из пальцев и лежит в лужице на камнях. Под тонким слоем воды. Грязные потеки на слое серебристого металла... Я медленно наклоняюсь и поднимаю фигурку. Меня все еще трясет.

— Легат!

Я поворачиваюсь и иду к лошадям. Ноги подкашиваются, слабость. Все кончено, мне здесь больше нечего делать. Зачем только ехали?

— Легат! — кричит Тит Волтумий. В голосе — ничего человеческого.

Я поворачиваю голову.

— Он шевельнулся, — говорит центурион. Смотрит на меня, волосы у него дыбом. — Я видел.

Я молча разворачиваюсь и шагаю обратно — к мертвецу и к центуриону. К ним обоим.

— Где? — говорю я. Германец выглядит в точности так же, как и минуту назад. Изувеченное смертью бледное тело в синяках, с выступившими ребрами. Левая сторона покрыта растрескавшейся коркой высохшей крови. Ничего нового. Дышит?

— Тит, ничего тут не...

Мертвый германец вдруг открывает глаза.

Ох! Я отшатываюсь, падаю на задницу — прямо в лужу. Упираюсь пятками, отползаю на два шага. Германец медленно, как во сне, моргает. Глаза начинают двигаться, словно пытаются найти меня. Потом германец начинает подниматься... Твою м-мать. Тит чертыхается так, что заглушает раскаты грома.

Он садится. Поворачивает голову, смотрит на нас с Титом. В мертвых глазах германца клубится вечность.

— Вот дерьмо, — говорит старший центурион потрясенно. И я не могу с ним не согласиться...

Тишина в эфире, говорите? Боги не отвечают на вопросы, говорите?!

Боюсь, мы получили ответ.

Я встаю.

ГЛАВА 14

МОЛИТВА МЕЧА

Однажды, когда я учился в Греции, мне объяснили, что такое красота.

— У вас, римлян, не религия, а нагромождение суеверий, — говорит мой учитель-грек, неспешно прогуливаясь. Вокруг тропинки растут кипарисы, а с высоты обрыва видно яркую лазурь моря. — В том, во что вы верите, нет стройности, нет смысла, нет ясности и гармонии. И это объяснимо. У суеверий не может быть системы.

Вы верите в гадание по птицам, вы принимаете чужих богов, вы не можете из дома выйти, прежде чем не принесете жертву и не узнаете от жреца, стоит ли вообще это делать.

Отсутствие стройности — это не-красота. Во всем должна быть красота.

— А что это такое? — спросил я тогда.

— Красота — это смерть, — вот что ответил мне грек-философ. — Допустим, ты оборачиваешься и видишь великолепную статую... или прекрасный вид... нет. — Грек смотрит на меня, понимающе улыбается. — Хорошо, давай выберем пример нагляднее. Представь, Гай, ты оборачиваешься и видишь...

— Прекрасное здание? Статую? Отличный вид? — говорю я.

— Девушку.

Я открываю рот. Грек смеется.

— Девушку, Гай, девушку. Такую, что у тебя при взгляде на нее перехватывает дыхание. Ты когда-нибудь видел такую? Когдамотришь на нее, весь мир исчезает. Все исчезает. Есть только она, настолько красивая, что когда ты, Гай, сможешь дышать снова,

то готов будешь кричать, словно младенец, только что появившийся на свет.

Понимаешь, мальчик? Смерть связана с отсутствием дыхания, чувством потери и неподвижностью. За ней следует новое рождение.

Поэтому я говорю: настоящая красота — это смерть.

Это короткий миг, когда тебя не было.

* * *

— Легат, смотрите, — говорит Волтумий. В его голосе не осталось ничего человеческого.

Левое веко германца подергивается, все тело сотрясается, словно в припадке падучей. Еще бы... он же умер. Мертвец смотрит на меня — я отшатываюсь. Вынести этот взгляд невозможно. В глазах германца тлеют отблески огня Преисподней.

Растрескавшиеся губы варвара с трудом разлепляются:

— Васс... васса...

— Он просит воды, — поясняет Волтумий зачем-то.

Я поворачиваюсь, иду к лошадям. Один из рабов сидит верхом, держит остальных лошадей, другой рядом, закрыв лицо руками. Его бьет дрожь. Ну, знаете, я тоже не обрадован тем, как все вышло.

— Хозяин!

— Все хорошо, — говорю я. — Вы молодцы, скоро поедем обратно.

Моя кобыла нервничает. Заставляю ее стоять ровно, снимаю с седла фляжку — болтаю. Булькает. Что-то есть. Возвращаюсь. Краем глаза замечаю движение, поворачиваю голову...

Другой бежит к лесу, оглядывается — лицо белое-белое — и снова бежит. Решил податься в бега? Идиот.

Я возвращаюсь. Германец сидит скрюченный. При моем приближении поднимает голову. Меня передергивает. Что я там говорил про бога из машины?

Да уж, «машина» сработала так сработала.

Воробей, думаю я. Все дело в Воробье.

Показываю германцу фляжку. Он смотрит, задирает подбородок. Поднимает руку, движения дерганные, неловкие. Я кидаю фляжку,

германец пытается поймать... М-да. Фляжка ударяется в ладонь и отлетает. Катится, вода льется на дорогу... Отлично. Мертвый германец мычит.

Ну что поделаешь.

— Тит! — окликаю центуриона. Он молчит.

Я поднимаю флягу. Сажусь рядом с мертвецом, преодолевая отращение.

Открываю крышку и подношу ему к губам. Он не может пить. Я лью по чуть-чуть. Варвар фыркает и все равно захлебывается, начинает кашлять. Вода выплескивается ему на синюшную грудь. Бульк. Он пытается взять фляжку сам, я отстраняю его руку. Его пальцы сжимают, словно пытаются ухватить воздух. Еще. И еще.

Какой упорный варвар, однако. Я всовываю фляжку ему в пальцы — они сжимаются так, что белеют ногти. Варвар медленно подносит фляжку ко рту, начинает пить. Кажется, что с каждым мгновением он действует все уверенней.

Германец допивает воду, обливаясь и кашляя. Голый, весь в синяках и страшный.

И начинает вещать. Я ничего не понимаю.

— Тит, что он говорит... Тит!

Центурион молчит. Я заглядываю ему в лицо. Взгляд стеклянный.

— Старший центурион?

Молчание. Вдалеке грохочет гром.

Ах, так...

— Равняйсь! — ору я так, что у самого закладывает уши. — Смирно!! Равнение на! Орла!

Центурион вздрагивает. По привычке вздергивает голову, ищет глазами золотой символ легиона. И тут понимает. Взгляд становится осмысленным. Центурион моргает.

— Легат, я...

— Сейчас не время извиняться, Тит. Что он говорит?

Варвар снова начинает хрипеть и щелкать. Тит Волтумий слушает. Смотрит на меня и произносит с издевкой:

— Что презирает нас, паршивых толстых римлян.

— Он это уже говорил, — замечаю я. От внезапно нахлынувшей слабости кружится голова. — Это уже скучно... может, пусть лучше споет нам песню, а? Что думаете, центурион?

— Думаю, он не станет. — Центурион вздыхает.

Германец оскаливается — видимо, это усмешка.

— Тогда спросите у него: зачем он убил моего раба?

Тит говорит, потом слушает. Долго.

— У него жуткий выговор. Я понимаю одно словно из трех. В общем... Он не убивал вроде.

В общем, так я и думал. Но переспросить не мешало.

Бледное лицо дергается. Дыхание с хрипом и клекотом выходит из разбитых губ. Мертвец — или уже не мертвец? — говорит и говорит.

— По-настоящему его зовут Эрманн, что значит «храбрый человек», — переводит центурион. — И он всех нас убьет...

Я морщусь. Что мне до его имени? Тем более на суде оно было названо, и не раз. Лучше оно от этого не стало.

— Спроси, что он делал у дома Вара. Только пусть ответит правду.

Тит Волтумий рычит и хрипит. Грубые длинные слова звучат в его варианте звучно, как латынь. Раскатистая звонкая «р» вместо горлового клекота варваров.

Германец смотрит на него, не мигая. Затем, помедлив, начинает выталкивать слова.

Я уже не могу ждать.

— Ну! Что он говорит?!

— Сейчас. — Центурион переспрашивает, мертвый германец — он ведь все-таки мертвый? — отвечает.

— Он хотел купить подарок... для своей невесты. Он собирался жениться.

Я смотрю на синюшное лицо германца. Подарок. Невесте. Ага, как же. Он меня просто растрогал.

— Скажи ему, что он мертвый. А мертвым врать стыдно.

Центурион смотрит на меня. Поднимает брови:

— Вы уверены?

— Скажи ему!

— Хорошо. Как прикажете, легат.

Тит Волтумий начинает говорить. Германец слушает и переспрашивает. Я вижу, как шевелятся его белые, растрескавшиеся, совершенно бескровные губы. Дыхание с сипением вырывается изо рта. Запах разложения и смерти настолько силен, что мне хочется отодвинуться подальше. Но я, наоборот, придвигаюсь ближе.

Зажмуриваюсь.

Запах гниющих роз. Белеющий в полутьме саван брата. Я слышу его смех. Это не может быть, но это так. «Смотри, Гай».

Я с усилием втягиваю сырой воздух, наполненный грозой, и открываю глаза.

Германец продолжает смеяться. Потом говорит. В темноте мелькают остатки его зубов.

— Что он сказал?

— Он говорит, что знает.

— Знает что? — Я смотрю в лицо германца.

— Что он уже мертвый. Вроде так. Некоторые слова мне не совсем понятны... Но, похоже, он успел побывать в подземном мире...

— Где именно?

Тит Волтумий, старший центурион, морщится, словно у него внезапно заболели все зубы.

— По-нашему, это где-то за Ахероном... они называют это Вальхал... или Вальгале... Там ждут воинов. Короче, сложно перевести. Он попал в длинную пещеру, полную рисунков, и видел их бога — Тиваза. Одноглазый бог, самый главный у германцев. Бог сказал ему важное. Он сказал, что...

Центурион замолкает. Ветер треплет ворот его туники. Проклятье, а ведь холодает. Порыв ветра доносит до меня запах дождя. Похоже, там, за лесом, он уже всюю идет.

Я говорю:

— Ну!

— Что всех нас скоро убьют. В Германии не останется ни одного живого римлянина.

Я смотрю на изуродованное судорогой лицо германца.

— Это правда?

Мертвый германец смеется — словно прекрасно меня понял. Снова начинает говорить. Я слушаю.

— Всех убьют. Мы оскорбили богов, — переводит Тит Волтухий. — Тиваз сказал, что на нас падет гнев богов. Один человек приходил и говорил, что так будет. Это посланец, боги выбрали его. Это особый человек... хм, человек с чужим лицом? Как-то так.

Германец рычит и булькает. Глаза — мертвые — сверкают гневом.

С «чужим лицом»? Это в маске, что ли?

— Римлянам вспорют животы и вытащат кишки, чтобы сжечь на алтаре Тиваза. — Центурион говорит бесстрастно, словно его это не касается. — А римским судьям вырвут их змеиные языки.

Я молча гляжу в глаза варвара. Желтый оскал мертвеца вспыхивает в синеватом свете молний. Я опускаю взгляд и вижу, что из раны германца снова течет кровь. Черная, блестящая. При очередной вспышке молний она кажется желтой.

— Кто его убил? — говорю я. — Я хочу знать. Это он может сказать?

Старший центурион смотрит на меня. Брови заломлены, скорбные складки пролегают от крыльев носа до губ. Он выглядит почти старым. Ему сорок с лишним лет... Тит моргает.

— Хорошо.

Он снова говорит германцу что-то на рычащем, хрипящем, плюющемся языке. Обычно звучный голос Тита звучит глухо, как из-под земли.

Я жду.

«А римским судьям вырвут их змеиные языки...»

Берегись, Ликий Пизон. Смешно.

* * *

Поднимается ветер. От треска гнувшихся деревьев, бешеного шелеста листьев вокруг такой шум, что я почти не слышу слов. Вспышка молнии раскалывается небо на сотни кусков. Это как засохшая, старая, облупившаяся фреска. Рисунок кровеносных сосудов на плоти черного неба...

Синий — цвет смерти.

— Легат!

— Да, Тит.

Раскаты грома столь оглушительные, что ему приходится кричать.

— Он сказал, что это не так важно! Но это был какой-то германец... херуск или хавк! Он точно не знает. Но самое главное...

— Что?! — Меня качает ветром. Напор воздушной среды (эфира!) настолько сильный, что мне приходится наклонить голову и встать против ветра. Гроза, когда доберется сюда, будет совершенно чудовищной.

— Он говорит... я не знаю, как это...

Вспышка молнии. Раскат грома заглушает слова Тита.

— Что?! — кричу я.

— Неполный человек. Я не знаю, как это перевести...

— Ну!

Германец с усилием поднимает руки и что-то показывает. Из его пробитых ладоней сочится темная кровь, капает на землю. Германец делает жест, словно отрубает себе кисть, и смеется.

Центурион говорит:

— Он хочет сказать...

— Не надо, я понял. У него не было одной руки, верно?

Тит поднимает взгляд на меня, потом кивает.

— Да, легат.

Однорукий германец. Которого я видел на рынке. Он сбежал, прихватив с собой меч легионера. Мятежник, а теперь еще и убийца. Может быть, он один из тех, кто заманил Луция в ловушку.

Зачем добивать распятого германца, как не затем, чтобы скрыть следы?

— Вы его знаете? — спрашивает центурион. — Человека без руки?

Я киваю. Потом спохватываюсь. Отчего я так уверен? Это мог быть любой другой однорукий. Точно. Хотя бы тот тип, которому Арминий отрубил кисть на рынке. Ну, это вряд ли.

— Зачем ему было убивать вашего раба?

— Думаю, ему нужна была вещь, доставшаяся мне от брата. Поэтому он проник в мою комнату. А тут входит старик... Это если двумя словами. Все просто.

Молчание. Вой ветра.
— Сложное сделать простым, — говорит Тит наконец.
— Верно, старший центурион.

* * *

Германец откидывается, дышит все чаще. Дыхание прерывистое и сиплое.

— Что с ним?

— Он истекает кровью, — говорит старший центурион.

Я вижу, что это правда.

Пурпурная, почти черная кровь течет из ран в его запястьях, из колотой дыры под ребрами. Я опускаю взгляд. Германец практически сидит в луже собственной крови. Он хрипит.

— Будьте вы прокляты, римляне, — переводит Тит бесстрастно. — Передайте моей Хельге... Это, видимо, его невеста... Что я... Что? — Он поворачивается к нему. — Что передать-то?!

Нет ответа. Германец валится набок и замирает. Голова медленно опускается на грудь. Глаза широко раскрыты, огонек жизни в них медленно гаснет. Кончено. Сначала я не понимаю, что случилось. Потом...

Не смей умирать! Я еще не спросил про своего брата.

Мертвые все должны знать.

Германец ожил, Воробей вернул его душу с того света — в то же израненное тело, увы. Залечить раны — не в силах фигурки. Хотя...

Я достаю Воробья, стискиваю в ладони. Залечить раны, мысленно приказываю я. Напрягаюсь до того, что темнеет в глазах. Ну же, начинай, велю я Воробью... Бесполезно.

Германец мертв. Впрочем, сегодня я один раз уже вернул его с того света. Я могу сделать это еще раз. Воробей дает не силу, думаю я. Воробей дает возможность.

— Что вы хотите сделать, легат? — спрашивает центурион.

Слабость такая, что в глазах темнеет. Мир убегает куда-то в сторону... Падаю.

В следующее мгновение Тит Волтумий оказывается рядом, помогает мне встать. Боги, как я устал. Голова кружится. Фигурка

в ладони совершенно ледяная. Я пытаюсь шагнуть обратно к германцу...

— Я не все узнал, — говорю я упрямо. Сжимаю в руке Воробья — до боли. — Мне нужно еще раз попробовать...

— Поздно, — говорит Тит Волтумий.

* * *

Меня всегда интересовало, как я встречу свою смерть. Наверное, нет человека, который бы об этом никогда не думал. И, конечно, все происходит не так, как представлялось... Жаль.

— Поздно, — говорит старший центурион.

Взгляд жесткий. Морщины рассекают лоб.

Я поворачиваюсь... Да чтоб тебя!

На дороге перед нами с центурионом выстроились темные фигуры. Вспышка молнии освещает их — это германцы, шестеро. Длинные волосы и плащи развеваются на ветру. Посланцы Преисподней. Воины с той стороны Ахерона.

— Что скажете, легат? — говорит Волтумий. Голос совершенно спокойный.

Я говорю:

— Смешно.

Варвары все с мечами. Ветер развевает их плащи и рвет полы рубах. Лица суровые.

Мечи пока в ножнах. «Договоримся?» — думаю я. Потом вперед выходит предводитель варваров, и я понимаю: проклятье, не договоримся.

У предводителя нет руки, кисть замотана грязной тряпкой. Однорукий!

— Он говорит: узнаешь меня, римская собака? — Тит Волтумий почти весел. — Меня зовут Демериг. Что ему ответить?

— Скажи, что... Проклятье, сейчас не время... Скажи, что собаки плохо видят в темноте. Пусть приходит утром.

Варвары смеются. Сверкает молния.

— Это тот? — спрашивает центурион.

Я качаю головой, опускаю ладонь к рукояти гладия. Пальцы совсем рядом от нее, я почти ощущаю тепло костяной рукояти.

— Не тот, — говорю я. — Даже обидно, Тит. Это другой однорукый. Проклятье... как глупо.

Вожак — тот варвар, которому Арминий отрубил руку на базаре. Похоже, он все-таки затаил на меня обиду. А у меня нет времени с ним ссориться.

Или... или его натравили. А я только кое-что начал понимать.

Один из германцев взмахивает рукой, я отшатываюсь. Что-то темное и круглое летит, описывает дугу... падает в грязь передо мной. Подкатывается к моим ногам.

Пауза. Я смотрю на спутанные темные волосы, следы крови. Лицо у мертвеца смуглое.

Германец что-то кричит. Тит Волтумий переводит:

— Он говорит: это ваше.

Я смотрю. Потом носком сапога переворачиваю голову. Хмыкаю от неожиданности. Передо мной голова одного из моих рабов — того, что бежал к лесу. В глазах застыл ужас.

Что ж... Я поднимаю взгляд. Беглец сам выбрал свою участь. Но мне все равно его жаль.

* * *

Мы стоим напротив: римляне и варвары. С одной стороны — я и старший центурион. С другой — шестеро германцев.

Мы пониже ростом, они, соответственно, повыше. То есть, если бы не рост, мы могли бы победить в этой схватке. Смешно.

Где-то вдалеке грохочет гром. Раскаты его чудовищны, кажется, в небесах сошлись на битву тысячи титанов и сотни богов. Мы стоим. Раскаты грома напоминают удары боевых молотов по медным воротам.

Гиганты, штурмующие небо. Мне всегда нравилась эта история...

Глаза германцев мерцают в свете молний.

— Не делайте резких движений, легат, — говорит центурион, не поворачивая головы. — Иначе они решат, что мы нападаем. А нам лучше выбрать момент.

Логично. Я говорю:

— Предложи этому, главному... как его, Демеригу — бой один на один. Я против него. Как это называется? Божий суд? Если я нанес ему обиду, я отвечу по справедливости.

Центурион едва заметно качает головой.

— Они не согласятся, легат. Для этих мы, римляне, — не люди. Даже так?

— Попробуйте, Тит.

Центурион начинает говорить. Главный из варваров начинает смеяться, потом что-то отвечает. С презрением. Показывает обрубок и ладонью ударяет себя по локтю.

— И как он нас назвал? — говорю я.

— Говорит, что мы — грязные животные. Что у нас нет чести. — Тит Волтумий некоторое время молчит, затем продолжает: — Поэтому нас убьют и бросят тела в болото. Все просто. Мы просто исчезнем. Им не нужна месть римлян.

Нас никогда не найдут. Эх, а мне только начало нравиться обращение «легат».

— Что ж... — говорю я. Центурион выпрямляется. Вспышка молнии высвечивает все вокруг, делает синим.

На мгновение мне становится видно все. Военная дорога, вымощенная камнем. Ряды крестов над ней...

Распятый труп в кусках разваливающейся плоти смотрит на нас с высоты. Из-за обнажившихся зубов кажется, что мертвый германец улыбается. Если бы это было смешно... Впрочем, может, ему как раз смешно.

Фигурка Воробья холодит мне кожу на груди. А что, если...

Кажется, молния пронзает меня насквозь — от макушки до пят. И уходит в землю. Фигурка на моей груди словно прорастает сквозь грудную кость. Вспышка. Если бы мертвые могли говорить...

Я мысленно произношу приказ, затем пинаю отрубленную голову. Она медленно катится к ногам вожака, подпрыгивает. Наконец, застывает в лужице.

— Тит, приготовься. Сейчас начнем... Теперь переводи.

Центурион кивает. Взгляд его спокойный. Ethos Аристотеля. Взгляд человека за мгновение до того, как все рухнет.

— Готов? Это не мое, — говорю я для варваров. — Это ваше. Посмотри внимательно, варвар.

Однорукий Демериг слушает. Потом начинает смеяться. Ха-ха-ха.

— А ты посмотри, — предлагаю я. — Если осмелишься.

Германец хмыкает. Тянет единственную руку, запускает пальцы в волосы. Поднимает, смотрит. Вглядывается. Уже почти совсем темно, синий сумрак вокруг...

Демериг усмехается.

Голова открывает глаза.

* * *

От слабости я едва не теряю сознание. Проклятье, не время.

Крик вожака звучит над вереском, над холмами, над дорогой, над лесом, гнущимся от ветра, над крестами с мертвыми варварами.

Однорукий вопит. Голова раба падает на дорогу, продолжает несколько мгновений открывать рот, вращать глазами... Жуткое зрелище. У меня самого мороз по коже от этого.

Я кричу:

— Вперед! — и бросаюсь вперед, вытаскивая гладий. Центурион делает то же самое.

Крик Демерига еще не стих, а мы уже врезаемся в строй гемов. Коли, коли, коли! Мы с центурионом успеваем заколоть двоих, прежде чем остальные варвары приходят в себя. Но их четверо, и они заставляют нас отступить.

Короткая передышка. Мы стоим с одной стороны, варвары — с другой. Тяжело дышим. Между нами — мертвые тела.

— Они все равно нас убьют, — говорит старший центурион. — Их слишком много.

Гром грохочет прямо над нашими головами. Я на мгновение гложу. Начинает лить дождь. Первые капли барабанят по моей голове, застревают в бровях.

— Что ж, — говорю я. — Тогда чего тянуть?

Ни к чему теперь вежливость. Ни к чему наши извинения или просьбы... Мы все умрем.

— Сделать сложное — простым, — говорит Тит Волтумий.

Германцы идут на нас, мы идем на них. Медленный, тяжелый блеск клинков.

Льет дождь.

* * *

Они переступают тела убитых. Они все ближе.

— Это мой меч, — говорю я негромко. Центурион вскидывает голову. Я продолжаю произносить слова, словно сейчас это важно: — Таких мечей много, но это меч — мой.

Молитва меча.

Варвары переглядываются. Смятение во взглядах.

Первый германец оскаливается, кричит. Блеску его зубов позавидует любая молния. Он бросается в атаку.

В последний момент я отступаю в сторону, пропускаю его мимо себя. Раз! Разворачиваюсь и бью. Клинок с усилием входит в спину германца, пробивает варвара насквозь. Он кричит. Острие глади на мгновение показывается у него из живота, исчезает. Я выдергиваю глади и говорю:

— Таких мечей много, но этот меч — мой.

Варвар еще стоит.

— Я буду убивать им своих врагов, — говорю я.

Германец медленно падает. В грязь. Брызги разлетаются. Темные, грязные...

Кровь.

Звон клинков, вопли. Быстрый взгляд туда. Центурион сражается с двумя варварами сразу. Он быстр и страшен. Но они все равно теснят центуриона, загоняют в грязь на обочине дороги — там он не сможет маневрировать. Тит уже легко ранен. Держись, думаю я.

Я медленно иду на вожака варваров, струи дождя стекают по моему лицу. С острия глади срываются капли — темные от крови.

Однорукий Демериг шарахается, как та лошадь. В глазах гема я вижу суеверный страх. Я говорю:

— Мой меч — такой же человек, как я, потому что это мой меч.

Я делаю шаг.

— Я должен относиться к нему как к своему брату... — На мгновение я запинаюсь. «К своему брату». Луций. На миг перед глазами вспыхивает картинка: белая рука Тарквиния. «Деда». Вспышка молнии.

Демериг что-то кричит. Его слова заглушаются раскатом грома. Он бросается на меня. Вопит, замахивается... Наверное, он никогда не проигрывал ни одной схватки. Он сильный, храбрый, он самый крутой из германских воинов. Еще совсем юным он убил зубра и принес домой трофей из его рогов.

А я — всего лишь гражданский. «Тога».

Он идет ко мне. Его меч опускается, разбивая на лету стеклянные капли дождя... Брызги.

В следующее мгновение я отбиваю его клинок в сторону, ладонь ноет. Падаю на колено и вонзаю клинок снизу вверх — в живот. Драматическая пауза. Миг настоящей красоты.

Однорукий стоит, замерев. Рот распялен в крике. Совершенно беззвучном. Капли дождя стекают по его лицу, срываются с подбородка. Глаза медленно гаснут — кончено. Он уже почти мертв. Так что пускай немного постоит.

— Мой меч — это мой брат, — говорю я мертвому германцу.

Выдергиваю клинок. С силой — р-раз. «Это за тебя, Луций, — думаю я. — За тебя, Тарквиний».

Встаю. По лезвию моего меча струится дождь. От удара он согнулся.

Германец медленно опускается на колени. Из его единственной ладони вываливается меч, падает в лужу. Варвар хрипит, поднимает изуродованную руку, словно оратор... Наверное, хочет что-то сказать. Но ничего не говорит.

Он плюхается лицом вниз — в грязь, брызги летят в стороны.

— Да будет так, — говорю я. Поворачиваюсь и иду помогать товарищу.

* * *

Наверное, германцы — хорошие воины. Наверное, они сильны и умелы. Но их никогда не учили драться бывшие гладиаторы...

Я кашляю. Бок горит огнем.

Опять ливень. Мир словно обрушивается на наши головы. Оглушительно барабанит по затылкам. Струи воды бегут у меня по лицу. Я промок насквозь. Проклятье, как тут холодно! Дождевая пелена закрывает от моего взгляда лежащие на дороге трупы

германцев. Грохот дождя вокруг такой, что я не слышу стука собственного сердца. Я бреду, шатаюсь от усталости. Меня подташнивает.

В сапогах хлюпает.

Я почти на ощупь пытаюсь убрать гладий в ножны — не идет. Клинок кривой. Выпрямляю его ногой как могу. С железными всегда так, гнутся при первой возможности. Зато они острее бронзовых. «Это мой меч», — повторяю я и вкладываю гладий в ножны. Он не совсем прямой, поэтому входит с усилием.

Дождь слегка стихает.

Центурион сидит на обочине, смотрит на меня. Усмехается. Рука его неловко притянута к телу. Ну, я не особо умелый медик. Рядом на дороге лежит труп последнего германца. Струи воды разбиваются в луже у его лица. Оно искажено судорогой, рот открыт. Его убили в спину. Извините, не до церемоний.

— Как ты, Тит? — спрашиваю. Меня тоже задела, бок пылает.

— Ничего, легат. Могло быть и лучше, конечно.

Он морщится, пытается подняться. Я наклоняюсь и подхватываю его под мышку. Ну, давай! Еще раз! Он встает. Я чувствую мокрое под пальцами. Кровь.

— Это была хорошая молитва, — говорит Тит хрипло. — Так, легат?

— Так, центурион. Самая лучшая.

И тогда снова начинает лить дождь.

* * *

Спустя час мы бредем по военной дороге к городу. Поддерживая друг друга, как два забулдыги после хорошей пьянки. Лошади разбежались во время грозы. Последний раб исчез еще раньше, до появления германцев. Может быть, он тоже мертв.

— Что ты скажешь, если тебя спросят, Тит? О мертвецах и о снятии с креста?

— Не думаю, что вообще стоит об этом что-нибудь рассказывать. — Центурион хмыкает, потом говорит: — О мертвецах уж точно.

Вспышка молнии — где-то далеко отсюда. Но при ее свете я вижу на холме... Да нет, ерунда.

— Что это?

— Где? — Центурион оборачивается, чуть не падает. — Что там, легат?

Я уже сам не уверен. Я вглядываюсь в темноту, напрягаю глаза — до пляшущих отсветов. Вспышка рассекает небо. Проклятье! Отдаленный грохот. Разряд молнии. В этот краткий миг на холме, у деревьев, я увидел прозрачного человека, пронизанного насквозь змеящимися синими разрядами... Он смотрел на меня. Кто это? Бог? Бог из машины?

Я моргаю. Человек исчезает. Наваждение?

Лучше бы так. Я просто устал. Мне просто нужно поспать. И больше не убивать и не оживлять никого хотя бы пару дней. Боги, пожалуйста. Мне нужен отдых.

Прозрачный человек. Сквозь него было видно ствол дерева и качающиеся на ветру ветки. Наверное, так выглядят боги на самом деле. Осталось в них поверить, да, Гай?

— Что это? — говорю я. — Тит, ты видел?

— Где? — Центурион оглядывается. Лицо у него измученное, под глазами темные круги.

Пожалуй, сейчас я как раз могу поверить в богов — слишком многое произошло сегодня. Я поднимаю взгляд — вспышка молнии снова освещает холм. Он совершенно пуст. Показалось? Или это шутки местного Юпитера — как его там зовут? Тиваз?

Смешно. Я хмыкаю.

— Легат?

— Ничего, Тит. Я просто устал.

Старший центурион кивает. Верно. Мы оба просто устали.

ГЛАВА 15

ПРОЩАНИЕ

Я вижу: красная черепица. С края крыши падают отдельные запоздалые капли, разбиваются в лужах. Блестят высыхающие камни мостовой. После ночной грозы Ализон выглядит отмытым и свежим, как младенец. Воздух такой, что хочется его выпить...

Где-то далеко хрипло поют варварские петухи.

Ранним-ранним утром я подъезжаю к дому Вара. На мне теплый солдатский плащ с капюшоном, на ногах — новые калиги.

Бряканье подков по камням мостовой, кобыла неторопливо переставляет ноги. Раз, два. Голова ее уныло качается вверх и вниз. Похоже, мне одолжили самую спокойную из легионных лошадей. Возможно, поэтому у нее кличка — Буря.

— Стой, кто идет! — окликают меня.

Поднимаю голову, щурюсь. Солнце низко и светит именно с той стороны, откуда прозвучал голос, — поэтому я почти слепну. Все тонет в розово-золотой пелене. Ага. Я жмурюсь, потом наконец что-то вижу.

Из арки дома выходит преторианец. Капли дождя сверкают на начищенном шлеме. Он берется за рукоять меча, идет — весь грозный.

— Стоять! Кто такой?! — кричит он.

— Свои, — говорю я. — Легат Семнадцатого. Пароль: протри же глаза, о солдат!

Пока он думает, кобыла идет, я еду. Преторианец подходит ближе. Долго разглядывает меня, словно за прошедшую ночь коренной римлянин, то есть я, настолько изменился, что его можно

перепутать с каким-нибудь германцем. Наконец мой пароль срабатывает.

Он выпрямляется. Четко салютует.

— Легат! Простите, я вас сразу не узнал.

Преторианец в сером шерстяном плаще — на плечах сверкают капли. Из-под подбородка торчит край фокалы — шейного платка, скрученного в жгут. Фокала — пурпурного цвета. Это императорский цвет. Цвет Божественного Августа.

Кобыла порывается идти дальше. Я тяну повод. Тпру, тпру! Стоять, Буря. С трудом слезаю, мой плащ на мгновение распахивается. Отлично. Глаза преторианца делаются круглыми — при виде моей рваной туники, расплывшихся по всей одежде пятен крови и перемотанного бинтом бедра. Он открывает рот...

— Вольно, солдат, — говорю я и вручаю ему повод. — Проследи за моим скакуном. Аккуратней, он мчится как ветер.

Преторианец выглядит слегка обалдевшим. Я прохожу мимо, слегка прихрамывая. Пурпурное пятно маячит в уголке глаза.

Вхожу в вестибул. Выложенная из мозаики черная собака, похожая на Цербера из Преисподней, смотрит на меня с подозрением. Длинный язык змеится из оскаленной пасти.

— Приветствую, коллега! — говорю я. Почему нет? Разве мы не работаем оба с Плутоном? Пес не дает мертвым сбежать из Преисподней, я — наоборот, их оттуда вытаскиваю.

Я вхожу в атриум.

— Есть кто-нибудь? — зову я. — Эй!

Наконец, откуда-то слева появляется распорядитель дома, на ходу натягивая поверх туники шерстяную накидку. Еще бы. Раннее утро, зябко. У него шаркающие шаги.

Квинтилион выглядит хорошо поднятым — потому что стоит на ногах твердо, но плохо разбуженным — потому что пока ничего не понимает. Лысая голова качается из стороны в сторону. На груди распорядителя — бронзовая табличка с именем хозяина.

— Доброе утро, Квинтилион.

— Легат? — Он моргает. — Что вы... где? Почему?

— Прекрасно, Квинтилион. Спасибо за инструменты. Но, боюсь, я не смогу их тебе вернуть. Прошу прощения.

— Э-э... какие инструменты? Про что вы? Так рано?

Инструменты, которые я взял, чтобы снять германца с креста. Впрочем, это сейчас не так важно. Важно доложить Вару раньше, чем это сделают другие...

— Пропретор у себя? — спрашиваю я негромко. Делаю шаг и словно случайно распахиваю плащ.

— Да, но... — Распорядитель замолкает. Глаза его расширяются — все, он увидел. Слова больше не нужны. — Да, легат. Конечно, легат. Я доложу своему господину.

Квинтилион исчезает. Я вижу, как судорожно колыхается за его спиной занавес — вообще-то он должен быть пурпурным, но сейчас, в нежном утреннем свете, он выглядит скорее красноватым...

Занавес закрывает вход в таблиний, кабинет хозяина дома. То есть Вара. А в красный цвет красят публичные дома... Смешно.

Я представляю, что Квинтилий Вар устраивает там у себя, за этим занавесом. Почему нет? Во-первых, пропретор приехал сюда без жены. Во-вторых, в его кабинете каждый день бывают сотни людей — обоего пола. И в-третьих, самое важное: у меня очень богатое воображение. Очень.

Боги, да такого разврата еще не знала Германия!

Пока распорядителя нет, я скучаю. Обвожу взглядом атриум. Непривычно видеть его таким пустым. Через проем в потолке косо падает столб розового света, упирается в стену. Позже, когда солнце окончательно встанет, столб сдвинется и будет освещать центр зала. Пока же сквозь лучи света пролетают капли — они текут с крыши. Она здесь сделана с наклоном к проему, чтобы дождевая вода попадала в бассейн, а оттуда по трубам — в огромную цистерну, что находится в подвале. Эту воду используют для хозяйственных нужд.

Капля срывается, вспыхивает на мгновение — как алмаз — и падает в бассейн. Кап! По поверхности воды бегут слабые круги.

Я задумчиво чешу подбородок — побриться не мешало бы. Зеваю. Потом еще зеваю. От усталости звенит в голове, но спать пока некогда. У меня есть дело, которое нужно завершить...

За окном неторопливо шумит просыпающийся Ализон.

Наконец я слышу шаркающие шаги — они все ближе. Это возвращается Квинтилион, склоняет голову. Даже запыхался, бедняга.

— Легат, пропретор вас сейчас примет.

* * *

Некоторое время Вар молча разглядывает меня, потом говорит:
— М-да.

Еще бы. Мой внешний вид сейчас убедит кого угодно. Туника разодрана на плече и на груди, розовые пятна покрывают некогда белую ткань — кровь расплылась под дождем. Лицо исцарапано, словно я всю ночь гонялся за кошками, а ноги и руки в синяках, словно они меня при этом еще и били. Глаза разного цвета — зеленый и голубой. Бедро перетянута бинтом — царапина, в сущности, но выглядит эффектно.

Да и болит, в общем, не хуже.

Шерстяной солдатский плащ мне одолжили в казармах. Сейчас там Титом Волтумием занимается медик, у центуриона несколько легких ран. А я был насильно перевязан и усиленно накормлен. Теперь я здесь.

— Что это значит? — говорит Вар почти раздраженно.

— Стычка с гемами, пропретор. — Я начинаю рассказывать. В повествовании много места занимает подготовка к бою. Вар устает и решает уточнить:

— Так кто на вас напал? Мятежники?

— Думаю, разбойники. Получилось так, что мы поехали с центурионом Волтумием на прогулку и... — я делаю паузу, — застали варваров за нарушением закона, пропретор.

Квинтилий Вар наконец заинтригован:

— Что? Как?

— Они снимали с креста осужденного преступника, что запрещено законом.

Квинтилий Вар чинно кивает. Он важный и ответственный наместник дикой пока провинции. Поэтому он ждет, что все его подчиненные будут принимать важные и ответственные решения. Он спрашивает:

— И что вы сделали?

— Как сенатор и легат я, конечно, потребовал от них покорности...

— Правильно!

— Но, к сожалению, они не подчинились. Нам пришлось вступить в бой. Их было шестеро...

— Шестеро! — Квинтилий Вар от удивления забывает, что должен быть чинным и важным. Открывает рот, закрывает — как карп в садке. Потом говорит: — Вы должны были сразу отступить и послать отряд в погоню... Не знаю... Послать много отрядов, в конце-то концов! Но не лезть в драку. Вы же образованный человек, Деметрий Целест!

Я поднимаю брови. Нечасто встретишь употребление слов «образованный человек» в качестве замены слова «идиот». Вар продолжает возмущаться:

— И шестеро — это уже попытка мятежа, Деметрий Целест! Вы понимаете?

«В живых не останется ни одного римлянина», — вспоминаю я, но говорю:

— Это были всего лишь разбойники, пропретор.

Вар смотрит на меня испытующе. Потом хмурится:

— Говорите, с вами был еще один раб? И где он?

— Увы, погиб. Он был храбрым и сражался вместе с нами против варваров, но...

Я вижу: отрубленная голова раба открывает глаза. Варвар видит это и кричит.

— Он нам сильно помог, пропретор, — говорю я совершенно честно. — Если бы не он, все могло закончиться гораздо хуже. Второй раб должен был следить за лошадьми. Увы, лошади испугались грозы и разбежались, — заканчиваю я.

— Как же вы с центурионом добрались до города? — Вар крутит в пальцах стеклянное перо — вроде того, что я видел у Августа.

Пропретор старается во всем подражать обожаемому дяде жены. Зайчик отражается от пера, попадает мне в глаза, я щурюсь. Что-то вроде: привет от Божественного Августа, юный легат.

Ну, по сравнению с принцепсом даже Тит Волтумий покажется мальчиком.

Впрочем, пора объясниться. Терпение пропретора не бесконечно.

— Нам повезло, — говорю я. — Из-за грозы его лошадь понесла, он мотался всю ночь. Утром, когда гроза закончилась, лошадь устала и пришла к воротам города — по привычке, видимо. А раб висел на ее шее, вцепился ей в гриву так, что еле расцепили. Там раба нашел патруль всадников. К этому времени бедолага уже был близок к помешательству. Бредил, рассказывал какую-то чушь про снятого с креста германца, оживающих покойников... и прочее.

Декурион сначала решил, что бедняга совсем свихнулся. Но потом он все же решил выслать патруль в нашу сторону. Дальше все просто.

Всадники поехали проверить его слова и встретили нас с Титом Волтумием — бредущих по дороге. Это было как раз вовремя, потому что мы промокли насквозь, выбились из сил и думали, что пора бы замерзнуть насмерть. Всадники нас и довезли до города.

— Зачем вас вообще понесло ночью за город, легат? — Вар поворачивается ко мне. — Это вы мне можете объяснить?

— Знаете, пропретор, — я говорю совершенно серьезно, — я хотел проверить одну старую поговорку — труп врага хорошо пахнет.

— И что? — удивляется пропретор.

«Я не убивал. Я хотел купить подарок невесте», — вспоминаю я слова варвара. Не повезло, друг.

— Оказалось, не очень.

— Так. — Вар медлит. — Я не совсем понимаю... Зачем этим варварам вообще понадобилось снимать распятого? Они его родственники, близкие? Кто?

Я пожимаю плечами. Великолепное, небрежное движение. Я отработывал его перед зеркалом много раз.

— Они разбойники! — говорю я. — Видимо, он был одним из них. Разведчик, что-то в этом духе. Может быть, они хотели узнать расположение комнат вашего дома, пропретор. Где находится охрана... и прочее.

Квинтилий Вар смотрит на меня прямо — с явной тревогой.

— И он рассказал? Разбойники что-то узнали?

— Это невозможно, пропретор. Боюсь, бедняга к тому времени уже скончался. Так что с их стороны это была совершенно

напрасная трата времени... — Я выдерживаю паузу и добавляю: — Мертвые ведь не могут говорить, не так ли?

Публий Квинтилий Вар некоторое время молчит, глядя на меня. С неясным выражением на лице. Потом, что-то для себя решив, пропретор кивает:

— Думаю, так, Деметрий Целест. Думаю, так.

* * *

— Привет, старик! — говорю я. — Просыпайся, просыпайся.

Тарквиний медленно открывает глаза, моргает. В первый момент кажется, что в его зрачках отражается свет подземного огня. Красные сполохи Преисподней. Я придвигаюсь ближе. Даже если на меня оттуда взглянет сама вечность — плевать.

От него пахнет старостью и домом. От него пахнет воском и старыми вещами. Черным африканским деревом и пылью пустыни. От него пахнет Римом.

— Госпо... дин Гай. — Губы с трудом шевелятся. Глаза белесые. Я знаю, что у меня совсем мало времени... а нужно успеть спросить так много...

— Как ты, старик? — говорю я. — Скучал по мне?

Он поводит плечами, пытается встать. Смотрит на меня испуганно.

— Болит, — говорит Тарквиний с каким-то даже удивлением.

У него рана в груди, куда вошел нож убийцы. Она перевязана, но сколько он проживет, я не знаю. Но я знаю, что это больно. Очень больно.

— Старик, — говорю я. — Это важно. Я задам тебе один вопрос... Постарайся ответить, хорошо?

Сейчас я должен спросить: кто тебя убил, старик? Я найду его и распну — как распяли случайного, в сущности, варвара.

А может, наоборот, мертвых возвращают, чтобы что-то им сказать? Люди смертны. Люди смертны внезапно. И слишком много важных слов остаются несказанными.

Сейчас я скажу: я тебя все-таки люблю, дурацкий старикан. Вместо этого я говорю:

— Старик... ну, ты знаешь...

Вспышка молнии. В испуге я просыпаюсь. Темнота. Я лежу на кровати в своей комнате. Разжимаю пальцы, на моей ладони — фигурка из серебристого металла. Воробей. Она совершенно ледяная.

Сон. Это был всего лишь сон, понимаю я. Переворачиваюсь на другой бок. Надо заставить себя уснуть. Иначе я не выдержу и пойду к Тарквинию. Он лежит завернутым в саван в одной из комнат. И скажу: вставай, старик.

И его душа вернется обратно на крыльях воробья.

Нельзя оживлять мертвых, думаю я. Сжимаю зубы и лежу, глядя в темноту. Нельзя.

Что делать живой душе — в мертвом теле? Что?!

Страдать.

* * *

— Да как-то все бестолково в прошлый раз получилось, — говорю я. — С Луцием. Не находишь, старик?

Тарквиний молчит. Лицо спокойное и очень красивое. Седые волосы аккуратно расчесаны.

Я закрываю ему глаза. Вкладываю в рот медную монетку.

* * *

Когда я был маленьким, я мечтал, что однажды приду к своему деду, великому Луцию Деметрию Целесту-Древнему, и скажу: «Вот твоя тога, дед».

И подам ему тогу. Это не простая тога, а важная. Потому что это будет важный день и важная речь.

Дед улыбнется, наденет важную тогу, перекинет белую полу через левую руку и пойдет в сенат произносить важную речь. А я буду гордым, как не знаю кто, потому что это идет мой великий дед.

Но Луций-Древний умер, а я так и не принес ему тогу. За меня это каждое утро делал его дряхлый раб.

Дурацкая мечта, да. Не знаю, почему это было для меня важно. Именно сказать: «Вот твоя тога, дед». Словно без этих слов мечта не работает. Глупо, да?

Позже, когда я уже служил трибуном в Третьем легионе, в Африке, на мавританском базаре мой Тарквиний встретил свою мечту. Мечта была из ярко-красного шелка. Мечта смотрела на Тарквиния с прилавка и обольстительно улыбалась... Она шептала: возьми меня — и все такое о разврате. Тарквиний, наверное, представлял, как наденет ее и пройдет красным щеголем перед соседскими рабынями.

Туника, украшенная золотой вышивкой. Вещь дорогая, но сделанная совершенно без вкуса и чувства меры. Глупее мечты нельзя было и придумать, кажется.

А Тарквиний все ходил и ходил вокруг этой туники. Но так и не купил.

Я только посмеивался тогда. «Ты будешь выглядеть в ней жутко нелепо, — говорил я. — С таким рабом на людях я не появлюсь, так и знай». Тарквиний обижался.

Но как он о ней мечтал! Это было смешно и нелепо. Я даже хотел дать ему денег на покупку, но почему-то забыл. Такое случается. Потом мой год службы в легионе закончился, и я поехал обратно домой, в Рим. Со мной поехал Тарквиний. А его мечта — красная и вульгарная — осталась в Африке. Такое тоже бывает.

Я звал его «деда». Давно, в детстве. Однажды я спросил у своего великого дедушки, Луция-Древнего, почему он выбрал именно Тарквиния в мои воспитатели. «Что в нем особенного?» — спросил я. Дед улыбнулся и ответил: «Он сам».

— Ну что, старик, доволен? — спрашиваю я. — Добился своего, да?!

Тарквиний лежит, завернутый в саван. Поверх савана на нем — красная шелковая туника. Яркая и безвкусная, как африканское лето. Это было просто. Я просто пошел на местный рынок и купил ее. Ничего сложного. Такая ерунда есть даже в Германии, в Ализоне. Твоя мечта, старик, всегда была рядом, надо было просто пойти и купить.

Как он о ней мечтал! Глупый смешной старик. Он выглядит в ней именно так нелепо, как я и думал.

— Вот твоя тога, дед, — говорю я и начинаю смеяться. Слезы текут, а я смеюсь и не могу остановиться. — И она тебе совсем не идет.

Я плачу.

«Это всего лишь раб». Возможно, Тарквиний поэтому не купил сам эту свою мечту, а все надеялся, что это сделаю я и вручу ему с какими-нибудь идиотскими словами вроде «ты будешь там лучшим щеголем»...

Потому что без глупых слов мечта не работает.

— Ты будешь там лучшим щеголем, — говорю я. — Слышишь, старик?

* * *

Я поднимаю факел. Прощай, Тарквиний. Свидимся в другом мире. Пусть воробьи или голуби на этот раз хорошо сделают свое дело. Лети на крыльях — серых или любого другого цвета, — главное, лети. Тебя там ждут.

А я тут постараюсь без тебя. Будет трудно, но я справлюсь. И никаких больше фокусов с возвращением мертвых... Обещаю.

Иду с факелом — сквозь темнеющий вечерний воздух. Что хорошо в Германии — здесь прохладно.

Пламя взбегает по пирамиде из дров, облитых маслом. Огонь неторопливо вцепляется в дерево, начинает разгораться. Я вижу его оранжевые зубцы с синеватым оттенком. Пламя медленно охватывает весь жертвенник. Завернутый в саван и щегольскую красную тунику Тарквиний лежит, положив руки на грудь. Он спокоен.

Я вдыхаю сырой воздух. Дым медленно поднимается в высокое небо.

Прощай, старик.

Почему страшнее всего терять мечту не высокую и светлую, а маленькую и нелепую?

* * *

Пламя поднимается в темнеющее небо.

— Сочувствую твоей потере, Гай. — Рука касается моего плеча. — Я только что узнал о том, что случилось.

Я поворачиваю голову. Передо мной стоит Арминий, царь херусков. Варвар. В руке у него зажат кувшин с вином. Такую печать

я знаю. Фалернское? Почти... Это подделка. Варвары совсем не разбираются в винах.

— Ваши боги примут такую жертву? — говорит Арминий. На его лице пляшут отблески пламени.

— Наши боги примут все, — говорю я. — Они настоящие римляне. Спасибо, что пришел, префект.

Я смотрю на огонь, поднимающийся до фиолетовых небес, и думаю: пора подвести итоги.

Многое случилось за это время. Погиб мой старший брат. Август сделал меня легатом Семнадцатого, я приехал в Германию. Тит Волтумий, старший центурион Семнадцатого, стал моим братом по мечу. Я убивал варваров. Я подружился с царем херусков. Я помог осудить на смерть невиновного. Я снял его с креста... Я хоронил и оживлял мертвецов. В общем, я был сильно занят в последнее время.

Луций, думаю я. Брат, теперь я знаю, кто виноват в твоей смерти. Этот однорукий, завтра его будут искать все римские солдаты... И мы его найдем. Обещаю.

Луций. Не знаю, зачем тебе была нужна эта фигурка, этот Воробей, приносящий души мертвых обратно. Не знаю, зачем она им? Но и это я узнаю...

И мне нравится Туснельда, брат. Действительно нравится. Прекрасная юная германка. Надо подойти к ней и сказать... впрочем, это я еще придумаю.

Все это будет завтра. А сегодня мы сидим с этим варваром рядом, плечом к плечу, будто уже сто лет знакомы...

Мы пьем поддельное фалернское и смотрим, как догорает костер.

ЭПИЛОГ

ЖИЗНЬ В ГЕРМАНИИ

Провинция Германия, окрестности Ализона, 8 дней до сентябрьских календ

Солнце палит так, что спина под туникой мокрая. Наконец-то хоть что-то похожее на лето в этой стране...

Марк Скавр, декурион второй турмы Восемнадцатого легиона, оглядывается. Затем еще оглядывается. Он не может понять, что привлекло его внимание. Что-то его тревожит... Что?

Чутье. Для всадника — вещь нужная и даже необходимая.

Вереница хромающих людей — в темных плащах, несмотря на жару, — тащится по обочине. Колокольчик в руках поводыря изредка уныло позвякивает.

— Командир, это прокаженные, — говорит Галлий.

Марк и сам это знает. Он чувствует, как по спине бегут ледяные мурашки. Проказа, она же финикийская болезнь... что может быть страшнее?

— Вижу.

Он тянет поводья, поворачивая Сомика. Всадники его турмы тоже останавливаются, переглядываются. Что задумал командир?

Марк и сам пока не знает. Уже месяц он ищет германца с одной рукой — Тиу... как его дальше? Но поиски пока ни к чему не привели, гем как сквозь землю провалился. Что же зацепило сейчас? Декурион вдруг понимает — что. Вожак прокаженных. Рост, сложение. Что-то неуловимое в походке...

На первый взгляд это кажется глупостью. Какой идиот станет прятаться среди больных проказой? Тут нужно быть... Марк подбирает нужное слово: достаточно безумным. Как, например, тот голубоглазый гем.

— Марк! — окликает его оптион. — Что ты задумал?

Высокий вожак в капюшоне, закрывающем лицо. Понятно. Проказа съедает мясо, выжирает глаза... руки. Что можно спрятать под плащом?

Марк толкает жеребца пятками, выезжает, перегораживая дорогу прокаженным.

Вереница останавливается.

— Гос-с-сподин. — Высокий вожак поднимает голову. В тени капюшона лица почти не видно, но декурион успевает заметить: сплошные наросты, язвы, мешанина искалеченной плоти. Что-то жуткое.

— Покажите мне руки, — приказывает Марк Скавр. — Вы все. Сделайте это — и можете идти дальше.

— Декурион, что... — начинает опцион, замолкает.

Всадники останавливаются на дороге поодаль от командира, горячат коней. Марк чувствует разлитый в воздухе аромат страха. Всадники в ужасе. Еще бы тут не бояться, достаточно поглядеть на него, Скавра, медленно, но верно превращающегося в бледную тень прежнего человека. А у него всего лишь болотная лихорадка. Не проказа.

— Быстро! — Марк почти кричит. — Ну!

Прокаженные один за другим поднимают руки. Скрюченные, замотанные тряпками, у многих нет пальцев — обрубки. Поток воздуха доносит до декуриона вонь гниющих заживо тел.

Высокий прокаженный, вожак, стоит впереди. Он выше остальных на голову. Марк подает вперед Сомика, опускает ладонь на рукоять спаты. Ну же, покажи мне руки...

Вожак медлит. Декурион уже готов ударить Сомика пятками, чтобы раскроить жожаку череп, когда тот — невыносимо медленно — поднимает одну руку. Левую. Затем, через короткую заминку, другую. Словно издевается.

Правая.

Марк выдыхает.

Две руки. У жожака — две руки. И даже все пальцы на месте — что для прокаженных редкость.

— Свободны, — говорит Марк с облегчением. Откидывается в седле, поворачивает Сомика. — Можете идти.

Он поддает пятками. Быстрее отъезжает, лишь бы не оставаться рядом с прокаженными ни на мгновение дольше...

Кашель настигает его в самый неподходящий момент. Декурион вцепляется в седло пальцами, стараясь не свалиться. В груди что-то рвется. Боль такая, словно его проткнули копьем. Задница Волчицы. И кашлять надо осторожно, чтобы случайно не выплюнуть внутренности. Ха-ха. Тифон стоглавый. Лихорадка обычно настигает его в сырую погоду, декурион с ужасом думает: скоро осень. И зима. Сырость и холод. Проклятая Германия.

Он выпрямляется, от слабости кружится голова. Опцион с ребятами подъехали ближе, стоят, пялятся.

— Да он помер, — говорит Пулион наконец. — Ты мне должен денарий. И не такой фальшивый, как в прошлый раз, а настоящий.

— Не, подожди, вроде еще шевелится...

Придурки, думает Марк. Под беззлобный треп всадников декурион начинает приходить в себя...

Декурион на мгновение оглядывается. Вожак прокаженных идет впереди, покачивая колокольчиком, — тоскливый звук звучит над дорогой. Вожак высокий, широкоплечий. Наверное, был хорошим воином когда-то... жаль.

Марк щурится от солнца, качает головой. Затем толкает Сомика пятками. Тот недовольно вздрагивает, фыркает, затем идет, высоко поднимая колени. Обиделся.

Вереница несчастных остается позади, на мокрой дороге. Негромко стучат копыта. Над всем этим, над всей провинцией Германия — голубое безоблачное небо.

* * *

— Пусть я убит, пусть я убит под Кандагаром, — пробормотал он.

Оперся единственной рукой в край седла, перекинул ногу влево, прыгнул с лошади. Земля больно толкнулась в ступни. «Ох! Когда они наконец выдумают стремя?» — подумал он в раздражении. Вроде не дураки, да и изобретение элементарное — веревка и две петли для ног. Что тут думать? А нет, куда там! Еще лет двести придется подождать. Прогресс, что тут поделаешь.

Так что пока остается держаться коленями. Он застонал сквозь зубы. После скачки мышцы в бедрах болят так, словно их заменили плохими протезами. Кстати, о протезах... Правая рука ныла

невыносимо. Он задрал рукав рубахи — слава богу, в отличие от римлян, германцы носят длинные рукава. Все правое предплечье перетянута ремнями. Тот, кого здесь называли Тиуторигом, потянул за ремень. Нет, не идет.

Правая кисть, сделанная из желтовато-розового, очень твердого пластика, была туго притянута к изуродованной руке, так что сейчас культя пульсировала, как больной зуб. Ремни впились в плоть.

Он поднес руку ко рту, вцепился зубами в ремень. Десять минут мучений — и ремни наконец удалось ослабить. Советская, блин, медицинская техника. Кукольная рука, которую ему выписали в госпитале. А нормальный протез — импортный, удобный — он умудрился расколотить в первый же день здесь. Сейчас остатки протеза хранились, завернутые в тряпку, где-то в доме. Ну, в каком-то из его домов точно...

На голос выглянула женщина.

— Воды, — приказал он. — Васса, васса... Давай шустрее.

Женщина кивнула. Убежала, виляя широкими бедрами. Хорошая баба, только по-русски ни фиги не понимает.

Она принесла деревянную бадью. Вода из реки, проточная, чистая. Приучил уже ее.

Он опустил культю в прохладную воду. От ожидаемого, но все равно внезапного блаженства свело челюсти.

— Пусть я убит, пусть я убит под Кандагаром, — негромко запел он по-русски. — Пусть кровь моя... досталась псам...

Сегодня чуть не досталась. Он негромко засмеялся. Этот римлянин, Марк, — он тоже свой, разведка. Нормальный парень, только больной совершенно. «У нас его бы прокололи антибиотиками, отправили в санаторий — к соснам или на Кавказ, в Минводы. А здесь он загнется... жаль».

А ведь он меня чуть не расколол, подумал Тиуториг. Когда приказал поднять руки. Хороший ход. Могло и выгореть, если бы не протез. Тиуториг с содроганием вспомнил, как шел с прокаженными. Проказа передается не так просто, слава богу. Ну, так по крайней мере говорил тот чудаковатый археолог. Приходится верить.

— В честь императора и Рима... в честь императора и Рима... — Он не заметил, как снова начал напевать. Дурацкий мотив, но прилипчивый. — Шестой шагает... легион.

Или батальон, почему нет? «Был у нас в батальоне один тип, Новиков. Артем, кажется. Или Андрей? — он не помнил точно. — Тоже из студентов-залетчиков. О нем много судачили, должен был быть олимпийцем, а стал снайпером во второй разведроте».

— Орлы Шестого легиона... орлы Шестого легиона...

Эту песню пел тот, археолог, под дурацкое бряканье раздолбанной гитары. Изгиб гитары желтой... тьфу, блин. Костер бросал рваные отблески на лица. Вроде очкарик говорил, что это гимн крымских археологов. Студенты. Они там раскапывали то, что осталось от древних римлян. Бесценные данные, бесценные данные. Тиуториг поморщился. Интересно, как бы он запел, этот бородач, окажись здесь и сейчас? Когда эти «бесценные данные» вокруг тебя — и все время пытаются тебя убить.

...Все так же рвутся...

— К небесам, — сказал он громко и отчетливо.

Женщина в испуге оглянулась, она уже привыкла к его внезапным вспышкам и перепадам настроения. Он успокоил ее жестом. Говорить не хотелось. А мог и ударить, кстати. Было и такое желание...

Над головой все так же плыло безоблачное небо Германии.

— Над всей Испанией безоблачное небо, — сказал он на пробу.

Фраза из учебника истории за седьмой класс средней школы. Какая, черт побери, ирония. К тому, что здесь скоро произойдет, больше всего подходит кодовая фраза к началу фашистского переворота. Франко, Испания. Сколько в памяти всякой фигни, оказывается...

Женщина принесла чашу с пивом. Тот, кого теперь звали Тиуториг, протянул руку, взял чашу и влил в себя сразу половину. Холодное.

Он с омерзением сплюнул. Привкус мочи, что ли, не поймешь. Расскажи он кому из друзей два года назад, что будет пить исключительно немецкое пиво и при этом плевать, — засмеяли бы. Да уж. Ирония судьбы. До нормального пива этому пойлу еще несколько веков.

Прикрыв глаза, он почувствовал, как тело плавно качает алкогольный поток.

Грохот гусениц. Раскаты автоматных очередей. «Духи! Духи справа! Леша, прикрой! Б... ь!» Желтые камни, пыль, оседающая на зубах. Ущелье перекрыли тогда...

Гул взрыва. Звон в ушах. Тишина. Он тянется к автомату. Вкус пыли на языке. Гусеница бээмпэшки, переламывающая его правую руку... легко, как во сне...

Он проснулся тогда с криком. Ташкент, весна. Военный госпиталь. В открытое окно врывается аромат цветущих абрикосов. Он ненавидел этот сладковатый оранжевый запах.

Когда до выписки оставалась пара дней, к нему подошел тот капитан. Можем поговорить? Тиуториг молча показал гэбэшнику свою новую руку — желтовато-розового, поносного цвета, пластик. «Это ничего, — сказал капитан. — Вы еще помните готский?» Он пожал плечами. Идиотский вопрос. Что можно помнить в армии? Готский он, конечно, изучал. На факультете филологии его зубрили в обязательном порядке. «Если бы я доучился...» Он поморщился. Ну и страдал бы какой-нибудь херней там, дома.

Тиуториг открыл глаза, взял чашу и допил остатки пива. Теплое. Передернулся, сплюнул. Водки бы. Или у легионеров вина выменять.

Ирония судьбы, подумал он опять. В Афгане был советский ограниченный, а здесь... Здесь ограниченный контингент — римляне. Которые распяли Спартака, между прочим. У актера, что играл Спартака в фильме, была ямочка на лоснящемся подбородке.

Римский ограниченный контингент. Ха.

Тиуториг откинулся на спину, заложил здоровую руку за голову. Голубое небо плыло в вышине. Хорошо. Теперь он здесь, в Германии, в девятом году от Рождества Христова. То есть, пацану всего девять?. Здесь из кустов не стреляют. Вернее, стреляют, но камнями. «Хотя старикана я, конечно, зря», — подумал он с мимолетным сожалением. Надо было просто вырубить. Но он меня напугал, вылез с ножиком. Ну, что теперь поделаешь. Вот «птичку» не достал, это обидно...

Тиуториг подвигал затылком, устраиваясь в траве поудобнее. «А я уже начинаю забывать русский, — подумал он мимолетно. — Плевать».

Над всей Германией — безоблачное небо.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...



ШИМУН ВРОЧЕК

Родился в 1976 году на Урале, в городе Кунгур, вырос в Нижневартовске. Окончил Университет нефти и газа имени Губкина, начал учебу в аспирантуре, но в 2003 году бросил и поступил в ГИТИС на актерский факультет. Через год перешел в Щукинское училище на режиссуру драматического театра (курс Леонида Хейфеца). В 2005 году, после рождения дочери, из училища ушел. В литературе дебютировал в 2001 году, рассказом «Три мертвых бога», напечатанным на страницах газеты «Фантаст». Первая книга, сборник рассказов «Сержанту никто не звонит», вышла в 2006 году. Автор романов «Дикий Талант» (совместно с Валентином Обединым) и «Метро 2033: Питер», нескольких десятков повестей и рассказов. Победитель конкурса «Рваная грелка» (2005), лауреат премий журнала «Мир фантастики» за лучший отечественный сборник (2006), «Золотой кадудей» (2006) и «Золотой Роскон» (2011). Живет в Москве.

АВТОР О СЕБЕ

По опроснику Марселя Пруста

1. Какие добродетели Вы цените больше всего?

Список добродетелей в студию, пожалуйста. За тысячи лет все так изменилось. Теперь умение съесть врага целиком, не оставив даже косточек, уже не считается добродетелью. Странно. Ну... тогда я еще подумаю. Ладно?

2. Качества, которые Вы больше всего цените в мужчине?

Ум, честь, упрямство и чувство юмора.

3. Качества, которые Вы больше всего цените в женщине?

Красивые ноги и чувство юмора. Это сексуально.

4. Ваше любимое занятие?

Писать книги...

Что, поверили?

5. Ваша главная черта?

Упрямство.

Вспомним 300 спартанцев. Когда умные, храбрые, сильные уже умерли, упрямые продолжают бить наступающих персов.

6. Ваша идея о счастье?

Счастье — это процесс, а не результат. Иначе люди бы гораздо реже занимались сексом. Да и детей было бы гораздо меньше...

7. Ваша идея о несчастье?

Отсутствие секса. И детей.

8. Ваш любимый цвет и цветок?

Цвет бедра испуганной нимфы... не знаю, что это. Но мне нравится название.

Наверное, роза. Потому что это единственный цветок, который я могу назвать в магазине, когда меня спрашивают: что вам?

9. Если не собой, то кем Вам бы хотелось бы быть?

Спартакским царем Леонидом. Он совершенно круто сказал «This is SPARTAAAA!»

Вот с такой фразой можно войти в вечность.

10. Где Вам хотелось бы жить?

В Ирландии, на берегу холодного моря, в каком-нибудь старинном замке... Нет.

Не знаю где, но в деревянном доме, точно. В большом деревянном доме.

11. Ваши любимые писатели?

Хемингуэй.

Фолкнер.

Джеймс Эллрой.

Василий Шукшин.

Стивен Кинг.

Антон Чехов.

И сукин сын Чак Паланик!

12. Ваши любимые поэты?

Маяковский.

Киплинг.

Том Уэйтс.

И тот, кто написал «... мои ты топчешь грезы. Ступай же осторожно, я стреляю!»

13. Ваши любимые художники и композиторы?

Из композиторов Врубель, а художников не помню.

А если без шуток, то:
художники: Дега, Веласкес, Ван Гог;
композиторы: Carlos Libedinsky.
Сейчас, наверное Andrew Lloyd Webber с его «Иисус Христос — Суперзвезда»;
Чайковский, его первый концерт охренителен совершенно.

14. К каким порокам Вы чувствуете наибольшее снисхождение?

К собственным.
И еще к порокам Мэла Гибсона. Я их понимаю.
И к порокам Скарлетт Йохансон. Она вся состоит из пороков.
Просто вся. И она прекрасна.

15. Каковы Ваши любимые литературные персонажи?

Капитан Блад.
Капитан Ахав.
Джеймс Бонд.
Скарамуш.
Крутой главный герой из любого романа Хэммета.
Граф Монте-Кристо.

16. Ваши любимые герои в реальной жизни?

Че Гевара.
Элвис Пресли.
Пожарные.
Клинт Иствуд.

17. Ваши любимые героини в реальной жизни?

Скарлетт Йохансон. Она мне нравится.

18. Ваши любимые литературные женские персонажи?

Анжелика, маркиза Ангелов.
Джейн Эйр.
Скарлетт Йо... простите, О'Хара.
Роковая блондинка из любого нуар-романа Хэммета.

19. Ваше любимое блюдо, напиток?

Фенотропил.

Чай с сахаром.

20. Ваши любимые имена?

Скарлетт Йохансон.

Василиса (это моя дочь).

Лариса (это на случай, если моя жена меня прочитает).

21. К чему Вы испытываете отвращение?

К вопроснику Пруста. Нет, к самому Прусту...

Такого претенциозного товарища, к тому же совершенно лишённого чувства юмора, ещё надо поискать.

А в целом: к человеческой глупости и жадности.

22. Какие исторические личности вызывают Вашу наибольшую антипатию?

Марсель Пруст... хотя нет.

Тот идиот, что приказал бельгийским миротворцам сдать оружие, когда повстанцы пришли вырезать семью премьер-министра Руанды. Которую (премьер-министр была женщина), между прочим, бельгийцы должны были охранять. Но они сдали оружие, повстанцы на их глазах изнасиловали и убили женщин и детей, а потом — кастрировали, пытали и убили самих миротворцев.

Это, извините, цензурными словами не называется.

Бельгийцы могли умереть мужчинами, а умерли с собственными членами во ртах.

23. Ваше состояние духа в настоящий момент?

СПАТЬ.

24. Ваше любимое изречение?

Поехали!

25. Ваше любимое слово?

Скарлетт Йохансон.

26. Ваше нелюбимое слово?

Опросник Пруста! А черт, это же два слова. Я тогда еще подумаю, ладно?

27. Если бы дьявол предложил Вам бессмертие, Вы бы согласились?

... ..!

(с) Эту фразу я только что продал Квентину Тарантино для нового сценария, за пятьдесят тысяч долларов.

28. Что Вы скажете, когда после смерти встретитесь с Богом?

Да... не вовремя я купил Ferrari.

АВТОР О «РИМЕ»

1. Давай начнем с самого начала: Шимун Врочек — это на каком языке?

На польском! Вернее, там интересней: Шимун — это ассирийская форма имени Симон, Врочек — «жучок» (это на чешском).

А взял я псевдоним в честь героя одного польского фильма. Фильм был очень хороший, только я не помню, как он называется. Иногда мне кажется, что я его просто придумал.

2. Почему именно Рим?

Потому что я его обожаю! В детстве я зачитывался книгами об Античности, читал все, что можно было найти на эту тему. В Риме есть нечто потрясающее — некая трудноуловимая красота строгости, величия и силы духа.

Многие думают, что Рим непрерывно побеждал, поэтому стал самой огромной державой мира на тот момент. Но если разобраться — ничего подобного! Римляне проиграли больше битв, чем все остальные народы мира вместе взятые. Если посмотреть статистику переписи населения Рима по годам, то цифры покажут, что порой численность жителей падала в два-три раза.

Но у римлян было одно потрясающее качество — после каждого поражения они вставали на ноги. Это как боксер, который в каждом раунде получает в челюсть, падает, но каждый раз упорно

поднимается. И на последней минуте укладывает соперника в нокаут. Все. В жизни победа по очкам не засчитывается. Только нокаут.

Рим одолел Пирра, победил в Пунических войнах, справился с нашествием галлов. А однажды напали варвары, не помню, где именно, где-то в Африке. Лишних войск на тот момент не было, а варвары идут. Что делать? Тогда из Рима послали одного (!) старого сенатора, который, не заморачиваясь, вышел к царю варваров, стоявшему во главе войска, и сказал: «Это владение Рима. Валите». Царь варваров посмотрел на несгибаемого старого хрыча, поскрипел зубами... И варвары свалили.

Вот это и называется: пассионарность.

3. Говоришь, Пунические войны, Пирр. А какой период, на твой взгляд, в истории Древнего Рима самый интересный?

В детстве больше всего меня интересовала борьба римлян с Карфагеном. И, конечно, я болел за Ганнибала. До сих пор помню: Ганнибал Барки, Ганнибал Молния! Это был мой герой. Великий полководец, громивший римлян, где только можно. Думаю, на свой счет как полководца Ганнибал мог записать примерно двести тысяч убитых врагов. И еще у него были слоны!

В детстве я до смешного переживал, что Ганнибал в итоге проиграл. Это я сейчас понимаю, что Карфаген был ничем не лучше Рима... Такие же захватчики, оккупанты и рабовладельцы, в сущности.

Так что следующим моим героем стал восставший раб.

Это был Спартак, великолепная книга Джованьоли о нем — моя любимая. Я до сих пор с удовольствием ее перечитываю. А дальше...

Я был в классе третьем, когда увидел в магазине двухтомник Плутарха «Сравнительные жизнеописания». А я о нем только слышал. В городской библиотеке Нижневартовска Плутарха не было. Пришлось выпросить у мамы деньги, чтобы купила. Я прочитал два тома за один день и стал фанатом Гая Юлия Цезаря. Впрочем, я до сих пор восхищен этим человеком.

Так что времена поздней Республики, время перелома, гражданских войн и начала принципата — мои любимые, пожалуй.

4. Наверное, когда ты писал роман, смотрел какие-то фильмы про Рим? Чтобы проникнуться.

Было дело, да.

Помню, в пионерском лагере нам показывали фильм «Спартак» с Кирком Дугласом. Тогда он казался мне шедевром. А недавно пересмотрел — скучно, наивно, бестолково, зато о свободе. В отличие от «Бен-Гура», который до сих пор отлично смотрится. Какая там гонка на колесницах! Чистый адреналин. «Формула-1» отдыхает. Посмотрите обязательно. Сейчас такого не делают. Там все настоящее: настоящие лошади, живые люди, страх, азарт, столкновения колесниц... Боюсь, даже травмы настоящие. Тогда все делалось вживую, ни грана компьютерной графики там нет.

А вообще классический набор: пеплумы, «Спартак», недавние «Гладиатор» и «Орел Девятого легиона». И еще очень хороший английский сериал «Рим». В нем есть атмосфера и жестокость нравов того времени.

5. В самом начале книги описываются похороны брата героя. Актер надевает восковую маску с лицом умершего и участвует в похоронном шествии, подражая его походке и голосу. Это авторская выдумка или римляне действительно так поступали?

Правда! Римляне действительно так делали.

Конечно, далеко не все. У бедняков похоронные обряды были намного проще: умершего сжигали на маленьком костре или закапывали в землю. Никаких речей, восковых масок или гладиаторских боев. Зато похороны сенатора или консула — о, здесь целое представление! Весь город шел смотреть, как на спектакль.

В атриуме каждого римского дома — то есть, по-нашему, в гостиной — обязательно была стена с восковыми масками предков. Римляне чтили усопших, спрашивали у них совета, делали

приношения. Эти же маски надевали на мимов для шествия на похоронах. Таким образом, предки участвовали во всей жизни римлянина. Знатного римлянина хоронили по-особому, тут нельзя ударить лицом в грязь.

Как правильно заметил главный герой книги, Гай, «похороны — это очень дорогое удовольствие».

6. В книге упоминается, что отец Гая погиб во время «проскрипций». Что это вообще такое?

Проскрипции — это римский вариант репрессий. Карательный механизм придумали, увы, задолго до товарища Сталина.

Вспомним, что это было за время. Римская Республика перестала существовать. Разрушитель ее, диктатор Гай Юлий Цезарь, убит в сенате. После этого несколько десятилетий шла гражданская война. В итоге выиграл Октавиан Август (император Август — в романе).

Когда идет гражданская война, появляются и репрессии — известная штука.

Временный победитель возмещает свои убытки за счет временно побежденного. Римляне подошли к организации такого избияния со свойственной им дотошностью. Фактически, проскрипции (от слова «скрипа» — «список») — это список тех, кто объявлен на данный момент врагом «сената и народа Рима». Список высекали в гипсе и оглашали на Форуме. Граждане, чьи имена были названы, считались с этого момента вне закона. Им давали выбор — покончить жизнь самоубийством или попытаться бежать. На принятие решения у них было несколько дней — до момента, как списки будут высечены в граните.

Странный выбор, думаете? Конечно, нужно бежать, спасаться! Увы, не все так просто. Подвох в том, что «список» составлялся победителями в первую очередь для того, чтобы возместить собственные расходы и нажиться. (Именно поэтому богатые люди рисковали угодить в список, даже не будучи врагами победителя.)

Фактически это настоящий шантаж. Те, кто выбирал самоубийство, тем самым сохраняли для близких свое состояние.

Имущество и владения тех, кто бежал или пытался бежать, — конфисковывались. Дети и близкие родственники приговоренного оказывались на улице без медного обола в кармане.

То есть, убивая себя, человек сознательно шел на жертву ради своих детей. Своего будущего.

Это важно. Чтобы в Риме сыну сенатора стать сенатором, недостаточно просто родства и связей. Нужно владеть определенным состоянием. Это называется «ценз» — не меньше миллиона сестерциев. Поэтому ради будущего детей многие действительно выбирали самоубийство.

Отец Гая был убит вольноотпущенниками императора Августа. К этому моменту лазейку с самоубийством уже закрыли.

Самое жуткое в этом, что пассионарность — то, что Лев Гумилев определяет как «способность к самопожертвованию», — использовали для того, чтобы заставить пассионариев уничтожать самих себя. Вместо того чтобы жертвовать собой на поле боя ради будущего, они были поставлены в ситуацию, когда только их жертва и требуется.

Гражданские войны выкосили почти всех римских пассионариев. Некому стало толкать дальше эту махину, Рим. Хотя она еще катилась по инерции долгих три столетия.

Это так по-человечески: лучшее в людях — использовать против них самих.

7. Почему же тогда варварами в книге называют германцев, а не римлян?

Повествование в романе идет от имени Гая, римлянина. Было бы странным называть варваром самого себя, нет? :)

8. Книга начинается со сцены казни — легионеры распинают германцев. Вообще тема распятия красной нитью идет через весь роман. Не боишься трогать святое?

Не боюсь. Конечно, меня очень интересует тема Христа и то, как символ позора стал символом святости, но роман — не об этом.

Распятие — это обычная казнь в те времена. Хотя сознаюсь, без некоторых намеков не обошлось.

9. «В синем плаще с алым подбоем...», будущий центурион Марк Крысобой — это намеренные отсылки к истории Иешуа из романа Булгакова «Мастер и Маргарита»?

Конечно! Очень люблю этот роман, линия Понтия Пилата и Иешуа там совершенно потрясающая.

10. Что будет в продолжении первой книги?

Многое. История Гая не закончена, ему еще предстоит встретиться с убийцей брата — и это будет встреча, которая перевернет в жизни Гая все... Впрочем, не буду спойлерить. Варвар Тиуториг, который здесь пока на вторых ролях, появится снова, человек в серебряной маске выйдет на первый план, а римские солдаты Марк и Тит Волтумий будут и дальше нести службу. Прекрасная Туснельда станет еще прекрасней... Многое случится, и многое изменится в Германии.

И, конечно же, будет рассказана дальнейшая судьба трех римских легионов — Семнадцатого, Восемнадцатого и Деятнадцатого.

СОДЕРЖАНИЕ

Пролог	
Смерть в Германии.....	3
Глава 1	
Воля богов	24
Глава 2	
Граница мира	44
Глава 3	
Первое испытание	60
Глава 4	
Арминий и Вар	75
Глава 5	
Однорукий.....	92
Глава 6	
Игры	109
Глава 7	
Пир в доме Вара	124

Глава 8	
Предупреждение	139
Глава 9	
Опасное сходство	158
Глава 10	
Семнадцатый	179
Глава 11	
Тишина в эфире	200
Глава 12	
Римский суд	216
Глава 13	
Бог из машины	226
Глава 14	
Молитва меча	239
Глава 15	
Прощание	255
Эпилог	
Жизнь в Германии	266

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА

ПРИБОРЕТАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ **буква**

МОСКВА:

- м. «Алексеевская», Звездный б-р, д. 21, стр.1, т. (495) 323-19-05
- м. «Алексеевская», пр-т Мира, д. 114, стр. 2 (Му-Му), т. (495) 687-57-56
- м. «Алтуфьево», ТРЦ «РИО», Дмитровское ш., вл. 163, 3 этаж, т. (495) 988-51-28
- м. «Бауманская», ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1, т. (499) 267-72-15
- м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 22, ТЦ «Александр», 0 этаж, т. (499) 206-92-65
- м. «ВДНХ», ТЦ «Золотой Вавилон - Ростокино», пр-т Мира, д. 211, т. (495) 665-13-64
- м. «ВДНХ», г. Мытиши, ул. Коммунистическая, д. 1, ТРК «XL-2», 3 этаж, т. (495) 641-22-89
- м. «Домодедовская», Ореховый б-р, вл. 14, стр. 3, ТЦ «Домодедовский», 3 этаж, т. (495) 983-03-54
- м. «Каховская», Чонгарский б-р, д. 18а, т. (499) 619-90-89
- м. «Коломенская», ул.Судостроительная, д. 1, стр. 1, т. (499) 616-20-48
- м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 109, к. 2, т. (495) 429-72-55
- м. «Крылатское», Рублевское ш., д. 62, ТРК «Евро Парк», 2 этаж, т. (495) 258-36-14
- м. «Марксистская/Таганская», Большой Факельный пер., д. 3, стр. 2, т. (495) 911-21-07
- м. «Новые Черемушки», ТЦ «Черемушки», ул. Профсоюзная, д. 56, 4 этаж, пав. 4а-09, т. (495) 739-63-52
- м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 17, т. (499) 246-99-76
- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, к. 2, т. (499) 306-18-98
- м. «Петровско-Разумовская», ТРК «XL», Дмитровское ш., д. 89, 2 этаж, т. (495) 783-97-08
- м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 26, ТЦ «Пражский Пассаж», 2 этаж, т. (495) 721-82-34
- м. «Преображенская площадь», ул. Большая Черкизовская, д. 2, к. 1, т.(499) 161-43-11
- м. «Сокол», ТК «Метромаркет», Ленинградский пр-т, д.76, к.1, 3 этаж, т. (495) 781-40-76
- м. «Теплый Стан», Новоясеневский пр-т, вл.1, ТРЦ «Принц Плаза», 4 этаж, т. (495) 987-14-73
- м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., 15/1, т. (499) 977-74-44
- м. «Третьяковская», ул. Большая Ордынка, вл.23, пав. 17, т. (495) 959-40-00
- м. «Тульская», ул. Большая Тульская, д.13, ТЦ «Ереван Плаза», 3 этаж, т. (495) 542-55-38
- м. «Университет», Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00
- м. «Царицыно», ул. Луганская, д. 7, к.1, т. (495) 322-28-22
- м. «Шукинская», ТЦ «Шука», ул. Шукинская, вл. 42, 3 этаж, т. (495) 229-97-40
- м. «Юго-Западная», Солнцевский пр-т, д. 21, ТЦ «Столица», 3 этаж, т.(495) 787-04-25
- м. «Ясенево», ул. Паустовского, д.5, к.1, т.(495) 423-27-00
- М.О., г. Железнодорожный, ул. Советская, д.9, ТЦ «Эдельвейс», 1 этаж, т. (498) 664-46-35
- М.О., г. Зеленоград, ТЦ «Зеленоград», Крюковская пл., д. 1, стр. 1, 3 этаж, т. (499) 940-02-90
- М.О., г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 4, ТЦ «Дарья», 2 этаж, т. (496) (24) 6-55-57
- М.О., г. Коломна, Советская пл., д. 3, ТД «Дом торговли», 1 этаж, т. (496) (61) 50-3-22
- М.О., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 151/9, т. (495) 554-61-10
- М.О., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32а, ТРЦ «Счастливая семья», 2 этаж
- М.О., г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТРЦ «Поворот»

Регионы:

- г. Архангельск, ул. Садовая, д. 18, т. (8182) 64-00-95
- г. Астрахань, ул. Чернышевского, д. 5а, т. (8512) 44-04-08
- г. Белгород, Народный б-р, д. 82, ТЦ «Пассаж», 1 этаж, т.(4722) 32-53-26
- г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10, т. (4922) 42-06-59
- г. Волгоград, ул. Мира, д. 11, т. (8442) 33-13-19
- г. Воронеж, пр-т Революции, д. 58, ТЦ «Утюжок», т. (4732) 51-28-94
- г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32, ТРЦ «Серебряный город», 3 этаж, т. (4932) 93-11-11 доб. 20-03
- г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 3а, ТРЦ «Столица», 2 этаж, т. (3412) 90-38-31
- г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, ТРЦ «ГРИНВИЧ», 3 этаж, т. (343) 253-64-10
- г. Калининград, ул. Карла Маркса, д.18, т. (4012) 66-24-64
- г. Краснодар, ул. Головатого, д. 313, ТЦ «Галерея», 2 этаж, т. (861) 278-80-62
- г. Красноярск, пр-т Мира, д. 91, ТЦ «Атлас», 1, 2 этаж, т. (391) 211-39-37
- г. Курск, ул. Ленина, д. 31, ТРЦ «Пушкинский», 4 этаж, т. (4712) 73-45-30
- г. Курск, ул. Ленина, д.11, т. (4712) 70-18-42
- г. Липецк, угол Коммунальная пл., д. 3 и ул. Первомайская, д. 57, т. (4742) 22-27-16
- г. Орел, ул. Ленина, д. 37, т. (4862) 76-47-20
- г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 31, т. (3532) 31-48-06
- г. Пенза, ул. Московская, д. 83, ТЦ «Пассаж», 2 этаж, т. (8412) 20-80-35
- г. Пермь, ул. Революции, д. 13, 3 этаж, ТЦ «Семья», т. (342) 238-69-72
- г. Ростов-на-Дону, г. Аксай, Новочеркасское ш., д. 33, ТЦ «Мега», 1 этаж, т. (863) 265-83-34
- г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 70, к. 1, ТЦ «Виктория Плаза», 4 этаж, т. (4912) 95-72-11
- г. С.-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 15, ТК «Измайловский», 1 этаж, т. (812) 325-09-30
- г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 98, т. (8652) 26-16-87
- г. Тверь, ул. Советская, д. 7, т. (4822) 34-37-48
- г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 55, т. (8482) 28-37-68
- г. Тула, ул. Первомайская, д. 12, т. (4872) 31-09-22
- г. Тула, пр-т Ленина, д. 18, т. (4872) 36-29-22
- г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 44, ТРЦ «Гудвин», 2 этаж, т. (3452) 79-05-13
- г. Уфа, пр-т Октября, д. 34, ТРК «Семья», 2 этаж, т. (347) 293-62-88
- г. Чебоксары, ул. Калинина, д.105а, ТЦ «Мега Молл», 0 этаж, т. (8352) 28-12-59
- г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 68, т. (351) 263-22-55
- г. Череповец, Советский пр-т, д. 88, т. (8202) 20-21-22
- г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 29/18, т. (4852) 30-47-51
- г. Ярославль, ул. Свободы, д. 12, т. (4852) 72-86-61

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте www.elkniga.ru

Заказывайте книги почтой в любом уголке России
123022, Москва, а/я 71 «Книги – почтой»
или на сайте: shop.avanta.ru

Курьерская доставка по Москве и ближайшему Подмосквью:
Тел/факс: +7(495)259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в Интернете на сайте: www.ozon.ru

Издательская группа АСТ www.ast.ru
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж
Информация по оптовым закупкам: (495) 615-01-01, 232-17-06
факс 615-51-10
E-mail: zakaz@ast.ru

www.etnogenez.ru

Литературно-художественное произведение

Шимун Врочек

РИМ

Книга первая

Последний легат

Автор идеи Константин Рыков

Главный редактор Кирилл Бенедиктов

Редактор Вадим Нестеров

Корректоры: Наталья Витько, Майяна Аркадова

Выпускающий редактор Дмитрий Гусев

Арт-концепт Алексей Маслов

Арт-директор Алексей Гонтов

Аудиоверсия: Андрей Градобоев, Роман Галушкин

Хранители идеи: Елена Кондратьева, Александр Шмелев,

Сергей Пименов

Правовое сопровождение Алексей Наказной-Хоменко

ООО Издательско-торговый дом «Этногенез»

Россия, 107031, г. Москва, Звонарский пер., д. 4, стр. 1,

тел./факс: +7 (495) 668-37-40 (41)

www.etnogenez.ru

Подписано в печать 10.06.11 г. Формат 164x215

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура CharterC 11,8 pt

Условных печатных листов — 18

Заказывайте книги почтой в любом уголке России:

123022, Москва, а/я 71 «Книги-почтой»

или на сайте www.shop.avanta.ru

Курьерская доставка по Москве и ближайшему Подмосквью:

тел./факс: +7 (495) 259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в интернете на сайте www.ozon.ru

Издательская группа АСТ

www.ast.ru

129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж

Информация по оптовым закупкам: +7 (495) 615-01-01, факс: +7 (495) 615-51-10

zakaz@ast.ru

Отпечатано в полном соответствии

с качеством предоставленного электронного оригинал-макета

в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»

432980 Россия, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14

тел: (8422) 41-11-07

факс: (8422) 41-11-32